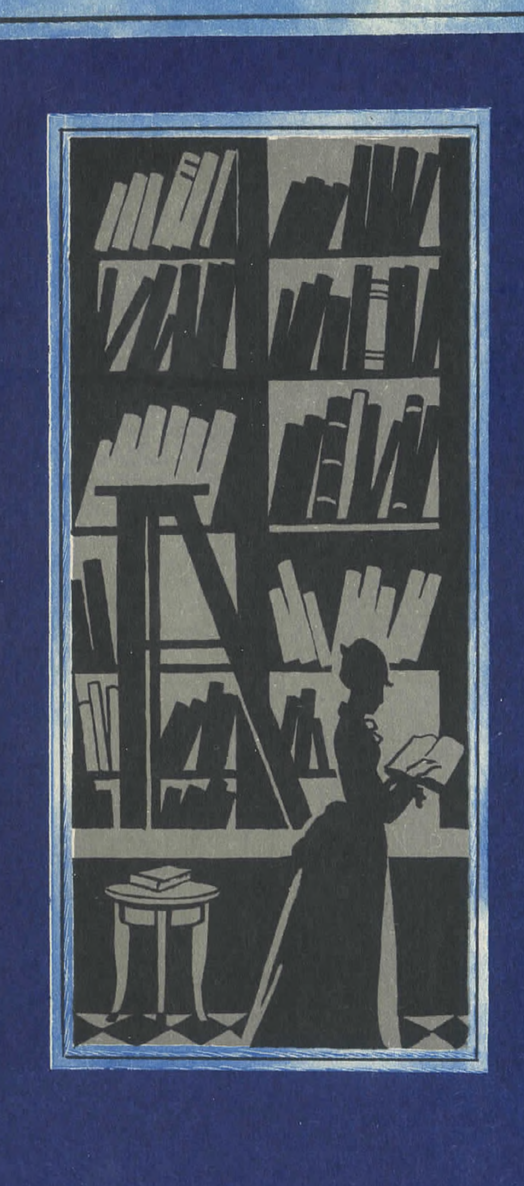
ПУБЛИЦИСТЫ «СОВРЕМЕННИКА»



Издательство „Детская литература"





ПУБЛИЦИСТЫ «СОВРЕМЕННИКА»



Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

Р1
П88

Составление, вступительная статья,
биографические очерки и примечания
Н. И. Якушина

Художник В. Митченко

П88 Публицисты «Современника» / Сост., вступит. ст., биографич. очерки и примеч. Н. И. Якушина.— М.: Дет. лит., 1985.— 255 с.

В пер.: 75 к.

Книга дает представление школьникам о ведущих публицистах революционно-демократического журнала «Современник» (40—60-е годы XIX века): Белинском, Герцене, Некрасове, Панаеве, Чернышевском, Добролюбове, Михайлове, Елисееве, Салтыкове-Щедрине, Слепцове.

П $\frac{4801000000-285}{М101(03)85}$ 134—85 Р1

Живой голос эпохи

> ...Литература была для них драгоценна преимущественно в том отношении, что они понимали ее как могущественнейшую из сил, действующих на развитие нашей общественной жизни.
>
> *Н. Г. Чернышевский. Очерки гоголевского периода русской литературы.*

Со словом «публицистика» мы сталкиваемся постоянно, на каждом шагу. И не только при знакомстве с современной журнальной и газетной прессой, но и при чтении литературных произведений прошлого и настоящего.

Публицистика — это особый род литературы и журналистики. Она обладает своими особенными специфическими чертами и свойствами. В публицистических произведениях освещаются актуальные вопросы политики, права, философии, экономики, педагогики, печати, литературы, искусства с целью укрепить или изменить существующие политические порядки, оказать воздействие на формирование общественного сознания, способствовать выработке определенных социальных и нравственных идеалов. Предметом публицистики является в первую очередь современная жизнь во всех ее проявлениях и аспектах. Публицистика — это живой голос эпохи, своеобразная летопись определенного этапа развития общества. Ее «постоянное дело», по словам В. И. Ленина, «писать историю современности и стараться писать ее так..., чтобы способствовать расширению движения, сознательному выбору средств, приемов и методов борьбы, способных при наименьшей затрате сил дать наибольшие и достаточно прочные результаты»*.

Знакомство с публицистикой того или иного периода в жизни любой страны позволяет глубже понять сущность

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 8, с. 84.

происходивших общественных и литературных процессов, потому что именно в ней находили свое наиболее полное отражение все сложности и перипетии открытой борьбы, скрытой полемики, ожесточенных споров, которые велись в обществе по самым различным вопросам: политическим, экономическим, религиозным, философским, этическим, эстетическим, литературным и т. д.

В свое время В. Г. Белинский писал о том, чем отличаются друг от друга литература и искусство, художественное произведение и научное исследование. Великий критик отмечал, что «искусство и наука не одно и то же... их различие вовсе не в содержании, а только в способе обрабатывать данное содержание. Философ говорит силлогизмами, поэт — образами и картинами, а говорят оба они одно и то же... Один *доказывает*, другой *показывает*, и оба убеждают, только один логическими доводами, другой — картинами».

Публицистика в определенной мере сближается с наукой. Она также пользуется силлогизмами, логическими размышлениями, сопоставлениями, ассоциациями, научно-теоретическими обобщениями. Но помимо этого публицистика широко использует художественно-изобразительные средства, пропагандистский материал, гораздо чаще обращается к полемике, спорам. Ей свойственны приемы ораторской речи, страстность и эмоциональность. Она более оперативно и непосредственно, чем наука, откликается на происходящие события общественной жизни, стремится уловить в них самое главное, наиболее существенное и по горячим следам высказать о них свое мнение.

Формы публицистики необычайно разнообразны. Они во многом определяются тем, кто берется за перо публициста: профессиональный публицист, ученый, литературный критик или писатель. Каждый из них стремится выразить свои суждения и мысли по различным вопросам общественно-политической, литературной, журнальной жизни в близкой себе по духу форме. Публицист выступает с политическими обозрениями, с заметками и размышлениями о текущих событиях, фельетонами и т. п. Литературный критик использует жанры литературных и журнальных обозрений, литературно-критических обзоров, статей и рецензий, посвященных творчеству какого-либо писателя или отдельному произведению. Ученый обращается к научно-популярным статьям, к рецензиям на то или иное научное исследование. Писатель больше тяготеет к очеркам, путевым заметкам и письмам.

Возникновение публицистики уходит в глубь веков. В русской литературе элементы публицистичности можно наблюдать уже в «Слове о законе и благодати Илларнона» (XI век) и в других произведениях древнерусской литературы. Однако бурное развитие публицистики началось в России с конца 1820-х годов в связи с появлением значительного количества газет и журналов. К середине XIX века публицистика стала неотъемлемой частью русской литературы и журналистики. Это в свою очередь вызвало необходимость разработки теоретических основ журналистики вообще и публицистики в частности. Впервые это сделал великий революционер-демократ, критик и публицист В. Г. Белинский. Опираясь на свой опыт идейного руководителя лучших печатных органов 1840-х годов — журналов «Отечественные записки» и «Современник», он выработал стройную систему взглядов на значение журнального дела в условиях русской действительности и сущность публицистики как особого вида творчества.

Главную задачу публицистики критик видел в том, чтобы, опираясь на глубокое изучение явлений общественной и политической жизни, внимательно следя за движением умственной и практической деятельности общества, развитием литературы и искусства, за новейшими научными открытиями, обобщать и осмысливать все увиденное, делать определенные выводы и выносить их на суд читателя. Публицистика, писал Белинский, «это живой пульс общества, по биению которого вернее, нежели по какому-нибудь другому признаку, можно судить о состоянии общества в отношениях: политическом, административном, ученом, литературном, эстетическом, нравственном, в отношении к народному духу, богатству, промышленности, ремеслам, и пр., и пр.».

По мнению Белинского, публицист должен обладать обширными знаниями, свободно оперировать фактами, уметь анализировать и обобщать их, высказывать свои собственные суждения по самым различным вопросам, уметь пробудить активность читателя, заинтересовать его, заставить мыслить. В публицисте, отмечал критик, «должны быть соединены строгое изучение фактов и материалов исторических, критический анализ, холодное беспристрастие с поэтическим воодушевлением и творческою способностью сочетать события».

По глубокому убеждению Белинского, публицист, точно так же как поэт, писатель, критик, ученый, должен

«отразиться в своем произведении как человек, как характер, как натура,— словом, как личность!» Все, о чем пишет публицист, должно быть пропущено через его сознание, согрето жаром его души, окрашено его темпераментом. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» критик писал: «Идея, вычитанная или услышанная и, пожалуй, понятая, как должно, но не проведенная через собственную натуру, не получившая отпечатка вашей личности, есть мертвый капитал не только для поэтической, но и для высокой литературной деятельности».

Большой вклад в разработку теории публицистики вслед за Белинским внес Н. Г. Чернышевский, видевший главную задачу публицистики в руководстве общественным мнением, в пробуждении политической активности масс, в борьбе против реакции во всех проявлениях духовной жизни общества, в организации пропаганды передовых идей.

Свои мысли о сущности публицистики, ее задачах и месте в обществе Чернышевский обобщил в статье «Г. Чичерин как публицист». По его убеждению, публицист должен «выражать и пояснять те потребности, которыми занято общество в данную минуту». Но этого мало. «Для публициста,— писал Чернышевский,— кроме знания потребностей общества, нужно также понимание форм, по которым движется общественный прогресс». И это еще не все. Публицист обязан четко и последовательно выражать свои взгляды и убеждения, поскольку «не проводить убеждений могут только те, которые не имеют их; а не иметь убеждений могут только или люди необразованные, или люди неразвитые, или люди тупые, или люди бессовестные...».

Чернышевский отстаивал мысль о том, что публицистика не может не быть тенденциозной, так как всегда связана с убеждениями определенного класса, определенных общественных прослоек и групп, с убеждениями конкретных лиц. «Отвлеченные истины могут быть уместны в ученом трактате,— писал критик,— но слова публициста должны прежде всего сообразовываться с живыми потребностями известного общества в данную минуту». При этом публицист не может оставаться равнодушным к тому, о чем он пишет. Нельзя быть публицистом, писал Чернышевский, не имея «в груди живого сердца».

Все эти теоретические положения легли в основу деятельности публицистов-демократов, сотрудничавших

в журнале «Современник» в период с 1847 по 1866 год.

История и деятельность некрасовского «Современника» к настоящему времени в достаточной степени изучена. Самым значительным и капитальным исследованием о «Современнике» является трехтомный труд В. Евгеньева-Максимова *, не утративший своего значения до наших дней. В нем обстоятельно рассмотрены все стороны и аспекты деятельности журнала за двадцать лет существования: история создания, характеристика всех отделов, цензурная история, внутриредакционные отношения и т. д. В истории «Современника» В. Евгеньев-Максимов выделил три периода: с 1847 по 1855 год, с 1856 по 1862 год и с 1863 по 1866 год. В своем рассказе о публицистике и публицистах журнала мы также будем придерживаться этой периодизации.

Характер публицистики (как, впрочем, и всего содержания «Современника») в каждый из этих периодов имел свои особенности, имел свои цели и задачи, менялся в зависимости от изменений общественной обстановки и требований, выдвигавшихся временем, от состава сотрудников и т. д.

Круг публицистов, выступавших в «Современнике» со своими произведениями, был весьма широк и неоднороден по своему составу. Но основной тон в журнале задавали публицисты-демократы. Правда, были годы (например, в период «мрачного семилетия» 1848—1855 гг.), когда в «Современнике» печатались публицистические статьи литераторов-либералов.

В настоящем сборнике публикуются произведения представителей демократической и прежде всего революционно-демократической публицистики, в которых нашли отражение важные вопросы, которыми жило передовое русское общество середины XIX века. При этом была сделана попытка включить в сборник произведения разных публицистических жанров — от различного рода литературных и журнальных обозрений до проблемных статей и рецензий.

---

* «Современник» в 40-е и 50-е гг.» (1934), «Современник» при Чернышевском и Добролюбове» (1936), «Последние годы «Современника» 1836—1866» (1939).

* * *

В одном из ноябрьских номеров газеты «Русский инвалид» за 1846 год появилось объявление, начинавшееся словами:

СОВРЕМЕННИК

Литературный журнал
на 1847 год.

А далее говорилось, что журнал, основанный в свое время А. С. Пушкиным и после его смерти издававшийся профессором С.-Петербургского университета П. А. Плетневым, отныне «подвергается совершенному преобразованию». В обстоятельно изложенной программе, в частности, отмечалось, что редакция реорганизованного «Современника» «употребит все зависящие от нее меры, чтобы он оправдывал свое заглавие и представлял верную и, по возможности, полную картину современного состояния науки, искусства и литературы как отечественной, так и вообще европейской. Все, могущее интересовать публику и соответствующее программе, направлению и достоинству журнала, будет постоянно иметь место на страницах «Современника». Главная заботливость редакции обращена будет на то, чтобы журнал наполнялся произведениями преимущественно русских ученых и литераторов,— произведениями, достоинством и направлением своим вполне соответствующими успехам и потребностям *современного* образования...»

Появление нового журнала совпало со временем, когда передовое русское общество несколько оправилось после поражения декабрьского восстания 1825 года. Несмотря на то, что правительство Николая I по-прежнему беспощадно расправлялось с любыми проявлениями свободомыслия, в стране усиливалось освободительное движение, направленное против самодержавия и крепостничества. Активизация революционных настроений была вызвана кризисом феодально-крепостнической системы в России, развитием капиталистических отношений и ростом недовольства народных масс своим бесправным положением, нередко переходившего в открытые выступления крестьян против своих угнетателей. В 1840-е годы активизируется общественно-политическое сознание, бурно развивается философская мысль, наука, литература и искусство. Особое значе-

ние в это время начинают приобретать литературные журналы. «Для нашего общества журнал все...— писал В. Г. Белинский,— нигде в мире не имеет он такого важного и великого значения, как у нас... Журнал поглотил у нас всю литературу — публика не хочет книг — хочет журналов».

Журналы превратились в важный фактор социально-политического и литературного движения. В них сосредоточилась почти вся умственная жизнь страны. Каждый журнал становился выразителем взглядов определенных общественных групп и прослоек. На их страницах велась полемика по общественно-политическим, социальным, философским, историческим и литературным вопросам.

Лучшим журналом первой половины 1840-х годов были «Отечественные записки», идейным руководителем которых почти на протяжении семи лет являлся Белинский. Однако к середине 1845 года редактор журнала А. А. Краевский, человек весьма умеренных либеральных взглядов, напуганный усилением пропаганды Белинским революционно-демократических идей, стал подумывать о том, как избавиться от своего «беспокойного» сотрудника. «Слышал я,— писал Белинский в самом начале 1846 года А. И. Герцену,— что он распространяет слухи, что хочет мне отказать, как человеку беспокойному и его изданию опасному». Но критик и сам решил расстаться с «Отечественными записками», так как ему стали тесны рамки, в которые поставил его Краевский, к тому же немилосердно эксплуатировавший Белинского. Недаром критик в одном из писем с горечью писал: «Я — Прометей в карикатуре: «Отечественные записки» — моя скала. Кр⟨аевский⟩ — мой коршун. Мозг мой сохнет, способности тупеют...»

Весной 1846 года Белинский оставил «Отечественные записки», но он отнюдь не собирался прекращать журнальную деятельность, так как понимал, что теперь русскому обществу как никогда раньше нужен журнал с ярко выраженным прогрессивным направлением, способный противостоять реакции. Нужен был только человек, который мог бы возглавить такой журнал. Каким он должен быть, Белинский знал. Еще в статье «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» (1837) он изложил свое представление о редакторе литературно-общественного журнала и о своих требованиях к нему. Это должен быть человек, писал критик, «со всеми средствами для издания журнала, с вещественным и невещественным

капиталом, то есть деньгами, вкусом, познаниями, талантом публициста, светлостью мысли и огнем слова, деятельный, весь преданный журналу, потому что журнал, так же как искусство и наука, требует всего человека, без раздела, без измен себе; надобно, чтобы этот человек умел возбудить общее участие к своему журналу, завоевать в свою пользу общественное мнение, наделать себе тысячи читателей...»

К роли такого редактора как нельзя лучше подходил Н. А. Некрасов, зарекомендовавший себя к тому времени не только как прекрасный поэт, но и замечательный организатор литературных сил и талантливый редактор. Сам Некрасов уже давно думал об издании журнала. Уход Белинского из «Отечественных записок» заставил его активизироваться. Он сознавал, что Белинский как один из авторитетнейших литературных деятелей своего времени не мог остаться без журнальной трибуны. Но о том, чтобы получить разрешение на создание нового журнала нечего было и думать. Еще в 1836 году вышло правительственное распоряжение, запрещающее выдавать разрешения на издание новых литературных журналов. Нужно было искать какой-нибудь другой путь. И он был найден. Тогда существовала практика перепродажи прав на издание печатных органов; этим и решил воспользоваться Некрасов. Вместе с писателем И. И. Панаевым он решил взять в аренду журнал «Современник».

В начале осени 1846 года договор об аренде был заключен. В качестве официального редактора был приглашен профессор С.-Петербургского университета и цензор А. В. Никитенко, поскольку ни Некрасов, ни Панаев, ни тем более Белинский, как люди в глазах правительства «неблагонадежные», не могли рассчитывать на утверждение на этом посту. Но было оговорено, что Никитенко не будет вмешиваться во внутриредакционную жизнь журнала.

Идейным руководителем «Современника» стал Белинский. Без его ведома и совета Некрасов и Панаев не принимали никаких решений, его голос был главным в решении всех редакционных дел. Много лет спустя Некрасов писал: «Никто, кроме Белинского, не был хозяином содержания журнала, пока он мог заниматься».

Белинский просматривал и редактировал почти все материалы журнала, вел постоянную переписку с авторами. В «Современнике» критик получил, наконец, полную свободу писать о том, что считал нужным и необходимым.

«Я могу делать, что хочу,— говорил он в письме своему приятелю В. П. Боткину.— Вследствие моего условия с Некрасовым, мой труд более качественный, нежели количественный; мое участие более нравственное, нежели деятельное... Не Некрасов говорит мне, что я должен делать, а я уведомляю Некрасова, что хочу или считаю нужным делать».

Высокий авторитет Белинского, его активная работа и хлопоты по привлечению к новому журналу лучших литературных сил привели к тому, что «Современник» сразу же занял ведущее место среди печатных органов своего времени и смог конкурировать даже с «Отечественными записками» Краевского.

Утвержденная правительством программа предусматривала наличие в «Современнике» следующих отделов: «Словесность», «Науки и художества», «Критика и библиография», «Смесь» и «Моды». Публицистический отдел включить в программу журнала долгое время не удавалось, хотя редакция неоднократно обращалась с просьбой разрешить иметь особый отдел, в котором могли бы освещаться вопросы внутренней и зарубежной жизни. Поэтому публицистические материалы печатались во всех разделах «Современника». И только начиная с 1859 года публицистика стала группироваться в специальном отделе – «Современное обозрение».

Состав сотрудников, выступавших на страницах «Современника» с публицистическими произведениями, был неоднороден. Среди них были люди с разными взглядами: от умеренно-либеральных (например, А. В. Дружинин, В. П. Боткин, П. В. Анненков) до революционно-демократических (А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов и др.). Отличались сотрудники журнала друг от друга и по роду своей основной деятельности. Среди них были писатели и поэты (Н. А. Некрасов, А. И. Герцен, И. И. Панаев, А. В. Дружинин, М. Л. Михайлов, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. А. Слепцов и др.), ученые и критики (В. Г. Белинский, В. П. Боткин, П. В. Анненков, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, М. А. Антонович, А. Н. Пыпин и др.), публицисты (Г. З. Елисеев, С. И. Сераковский, Н. В. Шелгунов, Н. Серно-Соловьевич, Э. К. Ватсон).

Удивительно разнообразна была в «Современнике» и жанровая палитра публицистических выступлений. Трудно назвать жанр публицистики, который не был бы

представлен в журнале. На его страницах печатались литературно-публицистические, журнальные, внутриполитические обозрения, обзоры зарубежных событий, публицистические статьи, посвященные проблемам общественной жизни, памфлеты, фельетоны, очерки и т. д.

Выход в свет первого номера обновленного «Современника» явился выдающимся событием в истории русской журналистики. Впервые в России появился журнал с четко выраженной революционно-демократической программой, в каждом отделе которого прослеживалась единая позиция в освещении всех вопросов: общественно-политических, философских, исторических, этических, эстетических, литературных и др. На протяжении первых полутора лет «Современник» с завидной последовательностью и принципиальностью выступал в защиту интересов народа, резко осуждал все виды угнетения и произвола, ратовал за развитие просвещения и образования, отстаивал принципы материалистической философии, боролся за реалистическое, подлинно народное искусство, искусство идейное и общественно значимое.

Уже в первых номерах журнала было опубликовано несколько содержательных публицистических статей и заметок, главное место среди которых занимали литературно-публицистические обозрения Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года», которое сам критик назвал «внутренней программой» журнала, и написанное позднее «Взгляд на русскую литературу 1847 года».

В своих обозрениях Белинский коснулся многих проблем общественной и литературной жизни России. Они полны политических намеков, иносказаний, недоговоренностей. Так, говоря о том, что «теперь Европу занимают новые великие вопросы» и что «интересоваться ими... нам можно и должно, ибо ничто человеческое не должно быть чуждо нам, если мы хотим быть людьми», Белинский намекал на проблемы, которые волновали западноевропейских социалистов-утопистов. Освещая полемику, развернувшуюся вокруг слова «прогресс», критик давал понять, что речь в данном случае идет не о лингвистическом споре, а о политическом. Белинский отмечал, что враги «прогресса» чувствуют к этому слову сильную ненависть, поскольку понимают его истинный смысл и значение. И эта ненависть у них, продолжал критик, «собственно не к слову, а к идее, которую оно выражает, и на невинном слове вымещается досада на его значение».

Таким образом, отстаивая необходимость включения слова «прогресс» в живой разговорный русский язык, Белинский боролся за развитие общественной мысли.

Под углом зрения поступательного развития общества Белинский рассматривал сложившиеся к тому времени общественные течения и явления литературной жизни. Так, он резко выступал против славянофилов, звавших вернуться к формам жизни допетровской Руси, и одновременно Белинский осуждал западников, отрицавших национальное своеобразие исторического развития русской нации. «Одни бросились в фантастическую народность,— писал он,— другие в фантастический космополитизм...»

Белинский выступал за самобытное развитие России. «...Пора нам перестать *казаться*, а начать быть... пора нам перестать восхищаться европейским потому только, что оно не азиатское, но любить, уважать его, стремиться к нему потому только, что оно *человеческое*, и, на этом основании, все европейское, в чем нет человеческого, отвергать с такою же энергиею, как и все азиатское, в чем нет человеческого».

Белинский свято верил в могучие силы своего народа, в его одаренность, способность к великим делам и свершениям. «Русскому,— писал он,— равно доступны и социальность француза, и практическая деятельность англичанина, и туманная философия немца». Великий критик был убежден, что в недалеком будущем Россия скажет свое слово. «Да, в нас есть национальная жизнь,— восклицал он,— мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль; но какое это слово, какая мысль — об этом пока еще рано нам хлопотать. Наши внуки и правнуки узнают это без всяких усилий напряженного разгадывания, потому что это слово, эта мысль будет сказана ими...» Многоточие, которым заканчивается это высказывание Белинского заставляло читателя задуматься и самим догадаться, что хотел, но не мог сказать критик.

Важная мысль, которая отчетливо прослеживается в литературно-публицистических обозрениях Белинского,— это мысль о связи литературы с жизнью. Говоря об истории развития русской литературы, состоянии современной ему беллетристики, давая оценку тем или иным литературным явлениям, критик всегда соотносил творчество писателя или поэта с действительностью и каждое произведение рассматривал с точки зрения его влияния на развитие общественного сознания. Наиболее отчетливо

связь с жизнью выражалась, по мнению Белинского, в произведениях так называемой натуральной школы. В своих обозрениях критик раскрыл сущность натуральной школы, проследил историю ее возникновения, показал ее эстетическую ценность, ее роль и значение в развитии русской литературы. Критик страстно проповедовал мысль об общественном назначении искусства. «Отнимать у искусства право служить общественным интересам, — писал он, — значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит — лишать его самой живой силы, т. е. мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкою праздных ленивцев».

Литературно-публицистические обозрения Белинского стали своеобразными манифестами революционного демократизма и надолго определили идейную программу и направление «Современника».

Не имея возможности открыто ставить и решать общественно-политические и социальные вопросы, сотрудники «Современника» тем не менее использовали любую возможность, чтобы высказать свое негативное отношение к существующим порядкам в России. Так, Н. М. Сатин, бывший участник кружка Герцена и Огарева в Московском университете, в статье «Ирландия», рассказывая о нищете и угнетении ирландских крестьян, довольно прозрачно намекал на бедственное положение крепостных в России и ставил вопрос о необходимости изменения общественного устройства, в основе которого лежит эксплуатация трудящихся масс. Автор статьи писал: «Необходимы средства решительные: нужно изменить право на законодательство, организацию политическую, административную, судебную и религиозную, нужно изменить условия собственности и промышленности, отношения богатого и бедного, нужно создать тем и другим новые обязанности в соединении с новыми правами; словом, необходим коренной переворот, и если для Ирландии такой переворот не придет сверху, то он не замедлит прийти снизу».

Печатались на страницах «Современника» и произведения, в которых содержался анализ явлений западноевропейской действительности. В период, предшествовавший революционным событиям 1848 года в Европе, царское правительство сквозь пальцы смотрело на статьи, где содержалась критика буржуазных отношений. Этим не преминула воспользоваться редакция «Современника» и опубликовала в журнале «Письма из Avenue Marigny»

Герцена, где были затронуты многие злободневные вопросы, касающиеся не только западноевропейской, но и русской жизни. «Письма из Avenue Marigny» написаны в излюбленной Герценом форме писем-фельетонов, которая позволяла в свободной и не стесненной никакими строгими рамками изложения касаться самых различных вопросов и проблем. В своих «Письмах» Герцен поделился впечатлениями о политической и культурной жизни Европы, и прежде всего Франции. Важной особенностью произведения было то, что Герцен высказал в нем мысль о том, что Россия в своем историческом развитии должна учитывать опыт Западной Европы и одновременно искать свой собственный путь. В этом отношении взгляды Герцена перекликались с убеждениями Белинского.

Наблюдая жизнь Франции периода июльской монархии, Герцен пришел к выводу, что все сферы духовной жизни французов находятся в руках буржуазии, о которой он писал с нескрываемым презрением. Писатель стремился выработать у русского читателя критическое отношение к буржуазии, поскольку Россия является духовной наследницей Европы и вполне вероятно, что ей в недалеком будущем самой придется столкнуться со всеми «прелестями» капиталистических отношений. Герцен изобразил французскую буржуазию морально растленной, беспринципной, безыдейной. Она, по его мнению, «смеется над самоотвержением и хлопочет только о пользе... Она эгоистически труслива и может подняться до геройства, только защищая собственность, рост, барыш».

Все симпатии Герцена на стороне простого народа, «низших классов». «Парижские бедняки,— писал он,— имеют, сверх затаенного негодования, голову поднятую вверх, они психически развиты гораздо более, чем вы предполагаете... Парижский воздух — великое дело; он во все шесть или семь этажей, в чердаки и подвалы, в трубы, в щели дует одним и тем же; буржуазия закрывает ставни, конопатит дыры от него, но бедняк не прячется, и он им навевает идеи, мысли...», поддерживающие «лихорадочное и болезненное состояние духа».

Герцен ратовал за переустройство общества на социалистических началах, утверждал, что «все несчастье прежних переворотов (имея в виду революции во Франции 1789 и 1830 годов.— *Н. Як.*) состояло в упущении экономической стороны», и предсказывал то время, когда трудящиеся сокрушат буржуазию и возьмут власть в свои руки.

Особое значение для обновленного «Современника» имел отдел «Смесь», в котором печатались материалы самого различного характера: статьи, рецензии, очерки, путевые заметки и письма и т. п. В них затрагивалось множество вопросов и проблем, связанных с русской и зарубежной жизнью, говорилось о невыгодности и нерентабельности крепостного труда, о телесных наказаниях, о жестокой эксплуатации крестьян помещиками, о необходимости развивать в стране науку и образование и т. д. Конечно, обо всем этом приходилось говорить осторожно, исподволь, мимоходом. Но сотрудники «Современника» использовали малейший предлог, чтобы коснуться запретных тем и выйти за рамки утвержденной журналу программы. Отдел «Смесь» таким образом в первые годы существования реорганизованного «Современника» в известной степени выполнял функции политического отдела. Причем важная роль в этом отделе отводилась разделу «Современные заметки», где помещались материалы, позднее печатавшиеся в отделах «Внутреннее обозрение» и «Политика». Правда, в силу цензурных условий «Современные заметки» не могли освещать внутренние и внешнеполитические события с такой обстоятельностью, с какой это стало возможно в середине 50-х годов, однако такого рода попытки предпринимались.

С первых месяцев своего существования обновленный «Современник» находился под пристальным наблюдением правительства. Цензура беспощадно кромсала произведения, в которых содержалась критика существующих порядков и выражалось сочувственное отношение к борьбе за права трудящихся масс. Поэтому сотрудникам журнала приходилось всячески маскировать свои мысли, прибегать к нейтральным формулировкам и изворачиваться, чтобы не привлекать внимание цензуры. Недаром в одном из писем Белинский жаловался: «Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лисьи».

Но обмануть бдительное око цензуры удавалось далеко не всегда. В начале 1848 года официальный редактор журнала А. В. Никитенко был вызван в III отделение, где ему было заявлено, что «Современник» проповедует коммунизм и революцию, и с него потребовали придать журналу направление «совершенно согласное с видами нашего правительства». Не желая подвергать себя опасности, Никитенко счел за благо вообще отказаться от поста ре-

дактора. С большим трудом удалось добиться, чтобы временно, «в виде опыта», редактором «Современника» был назначен Панаев.

Издавать журнал в таких условиях было неимоверно трудно. К тому же весной 1848 года «Современник» понес тяжелую невосполнимую утрату: после тяжелой болезни скончался Белинский. Журнал потерял своего самого талантливого и наиболее революционного сотрудника.

Прошло немного времени, и под давлением революционных событий, прокатившихся по Европе, в России наступил период реакции. С 1848 по 1855 год в стране царила гнетущая обстановка. «Семь лет... образованная Россия, с ядром на ногах, влачила жалкое существование в глубоком, унизительном, оскорбительном молчании»,— писал Герцен. Особенно в трудном положении оказалась литература и журналистика. На «Современник» посыпались доносы. Реакционный критик и журналист Ф. В. Булгарин доносил, что Некрасов «самый отчаянный коммунист» и «страшно вопиет в пользу революции». Управляющий III отделением Л. Дубельт официально заявил, что «шеф жандармов имеет неблагоприятные сведения насчет образа мыслей Некрасова, и посему следует за ним наблюдать».

Теперь один неверный шаг, одно высказывание, идущее вразрез с политикой правительства, могли привести к гибели журнала. И все-таки «Современник» порой осмеливался весьма критически высказываться о существующем положении. Так, в рецензии на учебник истории С. Н. Смарагдова говорилось: «Вы хотите новых романов, хотите ученых статей, хотите умных рецензий и критик? Но подумали ли вы хоть раз о положении вашей литературы, вашей журналистики? Кто нынче пишет? Нынче решительно век книгоненавидения». Этот намек на цензурный гнет не ускользнул от внимания правительства. По указанию Николая I издателям «Современника» было заявлено, что «тайная мысль их не осталась скрытой от правительства» и что если они и в дальнейшем позволят нечто подобное, то будут сурово наказаны.

Тяжело приходилось в это смутное время Некрасову. Не было рядом Белинского, которого он искренне любил и глубоко уважал. Лишь Панаев во многом разделял его тяготы и невзгоды по журналу.

Идейный и эстетический уровень материалов «Современника» периода «мрачного семилетия» был несравненно ниже, чем в первые годы существования журнала. Все его

отделы потускнели. Настроения растерянности, разочарования, пессимизма, стремление уйти, отгородиться от жизни, царившие в обществе, проникли и на страницы «Современника». Особенно это отразилось на публицистике. Боевой дух, внесенный в журнал Белинским, постепенно стал исчезать из него. Объяснялось это не только цензурными притеснениями. Если раньше основное направление «Современника» выражал Белинский, умевший проводить в своих статьях идеи демократии и социализма, то теперь позиции журнала определялись во многом такими весьма умеренными и либерально настроенными литераторами, как А. В. Дружинин, П. В. Анненков, В. П. Боткин.

Вместо глубоких и содержательных публицистических и литературно-критических статей на страницах «Современника» все чаще стали печататься фельетоны, объединенные в целые циклы. Так, Дружинин с 1849 и по 1854 год публиковал свои «Письма иногороднего подписчика в редакцию «Современника» о русской журналистике», Анненков — «Провинциальные письма» (1849—1851) и «Письма пустого человека о петербургской жизни» (1852—1853), Панаев — «Заметки Нового поэта о русской журналистике» (начиная с 1851 года).

Вот что писал Панаев в это время о фельетонах: «Мне... грустно и жалко видеть, когда вся литература превращается в фельетон, добровольно отказывается от собственного высокого призвания и назначения, когда она служит только одним пустым развлечением, одною забавою праздного любопытства».

Конечно, фельетон (кстати, этот жанр имел в то время совсем иной, нежели теперь, характер) отнюдь не исключал возможность откликаться на важные вопросы современной жизни. Но фельетоны Дружинина и Анненкова уводили читателей от решения острых социально-политических проблем. Так, Дружинин в своих «Письмах иногороднего подписчика...» призывал уйти от «смутной и угрюмой действительности» в «тихую обитель словесности» и декларировал объективное беспристрастие. «Жизнь — странная вещь,— писал он,— не подходи очень близко, а встань на известную точку, и картина станет очень порядочная». По мнению Дружинина, художник — не общественный деятель и не обличитель зла, царящего вокруг, а примиритель, стремящийся сгладить противоречия между разными социальными группами.

«Письма иногороднего подписчика...» шли вразрез со многими идейными и эстетическими заветами Белинского. Дружинин выступал против споров и полемики, весьма критически высказывался о натуральной школе, призывал отказаться от «сатирического элемента» в литературе, от изображения «современной жизни».

Позицию Дружинина, его взгляды на общественную и литературную жизнь никоим образом нельзя отождествлять с общим направлением «Современника» в эти годы. Об этом говорят многие материалы, печатавшиеся на страницах журнала. Да и редакция не разделяла убеждений Дружинина, о чем свидетельствуют, например, слова Панаева, высказанные им в «Заметках Нового поэта...». «Смешивать иногороднего подписчика с редакцией «Современника»,— писал он,— совершенно несправедливо... Она предоставила ему полную свободу в своем журнале, как вежливый хозяин предоставляет в своем доме гостю свободу, и считала неуместным прерывать его своими примечаниями и оговорками...»

В своих «Заметках Нового поэта...» Панаев стремился в какой-то мере нейтрализовать выступления Дружинина. Конечно, обозрениям Панаева недоставало глубины и содержательности выступлений Белинского, его «Заметки Нового поэта...» не затрагивали (в силу цензурных условий и сравнительно умеренных взглядов писателя) многих вопросов русской жизни. Но тем не менее Панаев последовательно отстаивал реалистические принципы в искусстве, боролся за гоголевское направление, за литературу, которая «изображает жизнь без прикрас, *сквозь видимый миру смех и невидимые слезы*», выступал против произведений, приукрашивающих действительность, идеализирующих крестьянскую жизнь. «Всякая ложная идеализация в деле искусства,— писал он,— неприятна; ничего не может быть оскорбительнее идеализации крестьянского быта».

Панаев вел последовательную борьбу против реакционной журналистики, против сторонников «чистого искусства», писал злые и остроумные пародии на их произведения.

Выступления Панаева-публициста были пронизаны любовью к русской литературе, заботой о ее будущем. Именно поэтому он горячо приветствовал появление сочинений новых писателей-реалистов: Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, А. Ф. Писемского, видя в них продолже-

ние и укрепление принципов реалистического искусства.

В трудные годы «мрачного семилетия» редакция «Современника» в лице Некрасова и Панаева прилагала огромные усилия, чтобы журнал сохранил направление и содержательность, которые были определены Белинским. И это им в известной мере удалось, хотя «Современник» и утратил во многом свой прежний боевой дух и революционно-демократический характер.

Значительным событием, сыгравшим огромную роль в дальнейшей судьбе «Современника», явилось появление на его страницах произведений нового сотрудника — Н. Г. Чернышевского. В его лице журнал приобрел критика, в котором блестяще сочетались тонкий эстетический вкус, глубокое знание и понимание литературы, солидность научных познаний в области истории, экономики, философии.

Чернышевский пришел в «Современник» с уже вполне сложившимися материалистическими философскими и эстетическими взглядами. Он был противником самодержавия и крепостного права, сторонником преобразования общества на социалистических основах.

Невозможно перечислить все вопросы, которых касался Чернышевский в своих статьях и рецензиях. Его первые рецензии, опубликованные в «Современнике», были направлены на развенчание таких дворянских писателей, как М. В. Авдеев и Евг. Тур, в произведениях которых критик не нашел «ни мысли, ни правдоподобия в характерах, ни вероятности в ходе событий».

В других статьях Чернышевский высказал свои мысли о задачах литературной критики и ее общественной миссии («Об истинности в критике»), свое отношение к славянофилам, прославлявшим старозаветную русскую жизнь («Песни разных народов»), писал об эксплуататорской сущности современных экономических учений («О земле как элементе богатства») и т. д. Уже в этих первых произведениях великого критика проявилось его яркое дарование публициста. В них чувствовалось стремление использовать любую возможность, чтобы затронуть злободневные вопросы общественной и литературной жизни и высказать о них свои суждения.

Чернышевский внес в «Современник» новую живую струю, боевой дух, утраченный журналом в начале 1850-х годов. Передовые читатели того времени почувствовали в нем мудрого теоретика, страстного пропагандиста,

продолжателя дела Белинского. Приход Чернышевского в «Современник» знаменовал собой новый этап в жизни журнала.

* * *

«Мрачное семилетие» осталось позади. После смерти Николая I и окончания Крымской войны, которая показала всему миру гнилость и бессилие самодержавно-крепостнической России, правительство, напуганное ростом крестьянских волнений, заявило о своем намерении отменить самое страшное зло российской действительности — крепостное право и провести ряд других реформ. «Под давлением военного поражения, страшных финансовых затруднений и грозных возмущений крестьян,— писал В. И. Ленин,— правительство прямо-таки *вынуждено* было освободить их. Сам царь признался, что надо освободить сверху, пока не стали освобождать снизу»*.

Страна вступила в новый период своего исторического развития. Начался буржуазно-демократический, или разночинский, этап в революционно-освободительном и литературном движении.

В. И. Ленин охарактеризовал разночинцев как «образованных представителей либеральной и демократической буржуазии, принадлежавших не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству, купечеству, крестьянству»**, которые «старались просветить и разбудить спящие крестьянские массы»***. Это были люди, воспринимавшие страдания народа как свои собственные, мечтавшие о коренных общественных преобразованиях, об уничтожении всех форм насилия и произвола. Они явились создателями оригинальных социальных и философско-этических концепций, страстными пропагандистами борьбы за счастье трудящихся масс. Из среды разночинцев вышли многие выдающиеся деятели науки, искусства, многие писатели и публицисты, которые привнесли в литературу новое ви́дение мира, ненависть к крепостному праву, страстное желание сделать свои произведения рупором пробуждающегося сознания социальных низов.

Начиная с середины 1850-х годов идейное направление

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 4, с. 430.
** В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, с. 93—94.
*** В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 24, с. 333.

«Современника» стали определять разночинцы. Вслед за Чернышевским в журнал пришли Н. А. Добролюбов и целая плеяда молодых писателей и публицистов — М. Л. Михайлов, Г. З. Елисеев, М. А. Антонович, Н. В. Шелгунов, А. Н. Пыпин, Н. Г. Помяловский, Н. В. Успенский, Ф. М. Решетников, В. А. Слепцов и др. Все новые сотрудники «Современника» в той или иной мере разделяли революционно-демократические взгляды Чернышевского и Добролюбова. Многие из них, например Н. А. Серно-Соловьевич, Н. В. Шелгунов, М. Л. Михайлов, В. А. Обручев, Г. З. Елисеев, были связаны с деятельностью революционного подполья 1860-х годов.

Появление в «Современнике» разночинцев и их все возрастающее влияние на направление журнала вызвало недовольство со стороны либерально настроенных писателей: А. В. Дружинина, И. С. Тургенева, В. П. Боткина, Д. В. Григоровича. Им «претил мужицкий демократизм» (В. И. Ленин) новых сотрудников, страшила борьба, которую они вели против основ самодержавного строя. Их пугала проповедь идей крестьянской революции и выступления против дворянского либерализма.

Уже первые статьи Чернышевского были встречены ими в штыки. А когда появилась его диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности», направленная против идеалистического представления о происхождении, роли и значении искусства, разногласия еще больше обострились.

Пользуясь своим влиянием, писатели-либералы попытались убедить Некрасова отказаться от сотрудничества Чернышевского. Но сделать это не удалось. Некрасов высоко ценил своего нового сотрудника и всецело доверял ему. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что, уезжая в 1856 году лечиться за границу, Некрасов именно на Чернышевского возложил редакторские обязанности.

Еще более непримиримо встретили дворянские писатели приход в «Современник» Н. А. Добролюбова.

Некрасов оказался в затруднительном положении. С одной стороны, он очень дорожил участием в «Современнике» Тургенева и Толстого, тем более что с первым его связывала многолетняя дружба, а с другой — Некрасов отчетливо сознавал, что именно Чернышевский и Добролюбов придали его журналу направление, которое было ему близко и которое он всецело разделял. И в то же время он понимал, что рано или поздно ему придется сде-

лать выбор между старыми и новыми сотрудниками журнала. А это неминуемо должно было привести к расколу редакции «Современника». Этот раскол произошел в 1860 году. Поводом послужила статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», посвященная роману Тургенева «Накануне», в которой, отдавая должное таланту писателя, его умению угадывать новые идеи и веяния, едва нарождавшиеся в обществе, и обращать на них внимание читающей публики, критик упрекал его за непонимание того, что теперь «нужны люди дела, а не отвлеченных, всегда немножко эпикурейских рассуждений». В статье Добролюбова прозвучала надежда на то, что пройдет ночь и наступит, наконец, «настоящий день», день революции.

Познакомившись с рукописью статьи, Тургенев попросил Некрасова не печатать ее. Некрасов попытался уговорить Добролюбова сделать некоторые уступки и смягчить отдельные положения статьи. Однако критик категорически отказался что-либо изменить. Некрасов оказался перед необходимостью сделать выбор между Тургеневым и Добролюбовым. И он сделал этот выбор. Статья «Когда же придет настоящий день?», хотя и с некоторыми сокращениями, была опубликована в «Современнике». Это привело к тому, что Тургенев отказался от дальнейшего участия в журнале. Ушли из «Современника» И. А. Гончаров, Д. В. Григорович, А. А. Фет, А. Н. Майков (Л. Н. Толстой покинул журнал еще в 1858 году).

После раскола в «Современнике» была создана новая редакция в составе Некрасова, Чернышевского и Добролюбова.

Первые годы общественного подъема, несмотря на некоторое ослабление цензурного гнета, «Современнику» по-прежнему приходилось быть очень осторожным и все время приспосабливаться к требованиям цензуры. Но жизнь диктовала необходимость перестройки и изменения характера некоторых отделов журнала. Так, в конце 1855 года «Заметки о журналах» перешли от Панаева к Некрасову. Это было вызвано тем, что Панаев в своих оценках литературных явлений и журналов не всегда был последователен.

Журнальные обозрения Некрасова отличались глубиной и четко выраженной идеологической позицией. В них содержались не только обстоятельные характеристики произведений современной литературы и отдельных жур-

налов, но и мысли об общественном значении литературы, критика теории «чистого искусства», разъяснялись и популяризировались взгляды на искусство, изложенные Чернышевским в его знаменитой диссертации. Так, вслед за великим демократом Некрасов провозглашал: «Нет науки для науки, нет искусства для искусства — все они существуют для общества, для облагорожения, для возвышения человека, для его обогащения знанием...»

Более острый и социальный характер приобрели и выступления Панаева. Начиная с декабря 1855 года он стал вести новые фельетонные обозрения «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта». Это были не просто картины нравов столичной жизни. Панаев стремился в них отразить социальные контрасты большого города (например, очерк «Галерная гавань»), обличал самоуправство помещиков-крепостников, уродливое воспитание в дворянских семьях, взяточничество чиновников, вскрывал антинародную сущность дворянского либерализма, выступал против продажной журналистики и т. д. При этом писатель не скрывал, что его симпатии находятся на стороне представителей социальных низов и на стороне прогрессивно настроенной молодежи. «Заметки» Панаева были во многом созвучны взглядам Чернышевского и Добролюбова, и это в немалой степени способствовало их популярности среди читателей «Современника».

Существенные изменения претерпел и отдел «Иностранные известия», освещавший события зарубежной жизни. Если в период «мрачного семилетия» там публиковались сообщения, затрагивающие лишь самые общие, носившие информационный характер вопросы западноевропейской действительности, то теперь в нем (он стал называться «Заграничные известия») стали появляться материалы аналитического характера. Особенно это проявилось в «Заграничных известиях», написанных польским революционером и публицистом С. И. Сераковским. Рассказывая о различных сторонах жизни Западной Европы и Америки, Сераковский постоянно обращал внимание читателей на глубокий нравственный кризис, охвативший буржуазное общество, подчеркивал стремление буржуазных деятелей уйти от решения экономических и социально-политических проблем. По его мнению, общественное устройство стран Европы и Америки далеко от выработанных человечеством идеалов добра и справедливости. Сераковский выступал с резкой критикой

буржуазной парламентской системы, при которой основная масса народа не только не принимает участия в управлении государством, но и вообще лишена избирательных прав. Особенно резкому осуждению публицист подвергал политическое устройство Соединенных Штатов Америки, где сохранилось рабство, которое, по его мнению, ведет к усилению гнета, росту невежества не только среди цветных, но и белых. Осуждая рабство в США, Сераковский выступал против всех видов угнетения народа, в том числе и против крепостничества в России.

Еще более острый характер приобрело освещение зарубежных событий в обозрениях «Политика», которые с 1859 по 1862 год вел Чернышевский. Главной их особенностью было то, что политическую жизнь Западной Европы великий революционер-демократ очень тонко и умело связывал с вопросами русской действительности. Анализируя в одном из обозрений расстановку классовых сил в западноевропейских странах, Чернышевский отметил, что «все европейское общество разделено на две половины: одна живет чужим трудом, другая своим собственным; первая благоденствует, вторая терпит нужду». Это разделение общества, основанное на материальном интересе, отражено и в политической деятельности. В связи с этим, говорил Чернышевский, в европейском обществе определились три партии. Одна стремится к сохранению «нынешнего порядка вещей» — это консерваторы, неизбежно превращающиеся в «реакционеров и обскурантов». Другая понимает «несправедливость и беззаконие» существующего положения и стремится к социальным реформам путем убеждения консерваторов в необходимости их проведения — это модерантисты, то есть либералы. И наконец, третьи находятся в состоянии «непримиримой вражды» как с консерваторами, так и с либералами, это — революционеры.

Чернышевский очень тонко ушел от ответа, на чьей стороне его симпатии. Но всем ходом своих рассуждений он дал понять, что ни консерваторы, ни либералы не пользуются его расположением.

К политическим обозрениям Чернышевского примыкают «Парижские письма» и «Лондонские заметки» М. Л. Михайлова, знакомясь с которыми читатели не могли не понимать, что их автор, обличая нравственное разложение буржуазного французского общества, показывая кричащие противоречия Лондона, где «невиданное

богатство» уживается с «невиданной нищетой», говорил не столько о Франции и Англии, сколько о России.

С середины 1850-х годов, благодаря усилиям Чернышевского и Добролюбова, «Современник» окончательно оформился как орган революционной демократии. Это проявилось прежде всего в позиции журнала к широко обсуждавшемуся тогда крестьянскому вопросу и в более жесткой и непримиримой позиции по отношению к либерализму.

Во многих публицистических статьях, печатавшихся в «Современнике», подвергались острой критике чудовищная эксплуатация крестьян помещиками, экономическая и культурная отсталость страны, явившаяся результатом господства феодально-крепостнических порядков. Особое место среди них занимали статьи Чернышевского и Добролюбова, в которых последовательно отстаивались интересы русского крестьянства, содержалось требование не только отменить крепостное право, но и наделить крестьян землей без всякого выкупа.

Вместе с тем Чернышевский понимал, что готовившаяся царским правительством реформа не решит крестьянский вопрос, что благосостояние народа может быть завоевано только путем народной революции, что и подтвердилось «Положением» об освобождении крестьян в 1861 году.

Признание неизбежности крестьянской революции заставило Чернышевского и Добролюбова внимательно отнестись к изучению особенностей народной жизни, моральных и социальных качеств народа. В своих публицистических статьях они выступили против представления о крестьянстве как о тупой, невежественной и забитой массе. Так, Чернышевский еще в 1856 году писал, что темнота и забитость русского крестьянства является ничем иным, как следствием условий его жизни.

О высоких моральных качествах народа неоднократно писал Добролюбов. Например, в статье «Деревенская жизнь помещика в старые годы...» он отмечал: «Много сил должно таиться в том народе, который не опустился нравственно среди такой жизни, какую он вел много лет...»

К концу 1860-х годов, когда в России стала складываться революционная ситуация, важное место в публицистике Чернышевского и Добролюбова занял вопрос о готовности крестьян к вооруженным выступлениям. Этому, в частности, были посвящены статьи Чернышевского

«Не начало ли перемены?» и Добролюбова «Черты для характеристики русского простонародья».

Чернышевский писал о том, что пришло время, когда в литературе о народе надо писать «правду без всяких прикрас», не идеализировать его, показывать его со всеми положительными и отрицательными сторонами. Только таким образом можно «глубоко заглянуть в народную жизнь», показать «коренную причину ее тяжелого хода», помочь крестьянам осознать свое бедственное и бесправное положение и поднять их на борьбу против угнетателей. В статье Чернышевского прослеживается мысль о том, что освобождение от гнета — это дело самих крестьян, которые должны понять, что «не так следует жить».

В свою очередь Добролюбов, обращаясь к передовым людям своего времени, к «русским Инсаровым», призвал их «действовать... прямо и решительно», чтобы «вызвать на живое дело крепкие силы». Иными словами говоря, призвал готовить народ к восстанию.

Мысль о приближающейся крестьянской революции отчетливо звучала и в таких статьях Добролюбова, как «Темное царство», «Луч света в темном царстве» и «Когда же придет настоящий день?».

Рисуя в статье «Темное царство» страшную картину крепостной России, где господствует произвол и насилие, где человеческая личность подавлена и унижена, Добролюбов говорил, что существует ведь возможность и другой жизни — «светлой, опрятной, образованной». При этом он весьма прозрачно намекал, что путь к ней лежит через борьбу, через революцию.

В статье «Луч света в темном царстве» Добролюбов указывал, что «темное царство» непрочно, что в недрах его зреет протест против невыносимых условий жизни. Такой протест, пусть стихийный и неосознанный, критик увидел в героине пьесы А. Н. Островского «Гроза» Катерине. Ее самоубийство, по мысли Добролюбова, свидетельствовало о том, что для нормального человека жить в «темном царстве» «хуже смерти». Появление в русской литературе таких характеров, как Катерина, Добролюбов рассматривал как убедительное доказательство неминуемой гибели «темного царства».

Начиная с середины 50-х годов прошлого века публицисты «Современника» во главе с Чернышевским и Добролюбовым вели ожесточенную полемику как с откровенными крепостниками, которые всячески противились про-

ведению каких бы то ни было реформ, так и с либералами, выступавшими за сохранение помещичьего землевладения и предлагавшими освободить крестьян без наделения их землей. «Последовательные демократы Добролюбов и Чернышевский,— писал В. И. Ленин,— справедливо высмеивали либералов за *реформизм*, в подкладке которого было всегда стремление укоротить активность масс и отстоять кусочек привилегий помещиков...»*

В статьях Чернышевского «Русский человек на rendez-vous», Добролюбова «Что такое обломовщина», «Черты для характеристики русского простонародья» и др., Салтыкова-Щедрина «Скрежет зубовный» были убедительно показаны неспособность либералов к «настоящему делу», их беспочвенные претензии на руководящую роль в общественном движении, их бессилие в решении важнейших вопросов современности и, наконец, близость их идеологических позиций к взглядам убежденных крепостников.

В условиях самодержавного гнета, в атмосфере «рабского молчания», царивших в стране, Чернышевский и Добролюбов далеко не всегда имели возможность в открытой публицистической форме излагать свои взгляды на происходящие события общественно-политической жизни. Поэтому очень часто они использовали для пропаганды своих идей жанры литературно-критических статей, в которых, отталкиваясь от оценки творчества того или иного писателя или отдельного произведения, делали выводы социального характера и излагали свои политические взгляды. Под пером революционеров-демократов литературно-критические статьи превращались в ярко и страстно написанные публицистические произведения, в которых глубокое содержание сочеталось с доступностью и ясностью изложения.

Целям пропаганды революционных идей на страницах «Современника» служили также разного рода научные статьи, касавшиеся вопросов философии, экономики, социологии и истории. Причем большинство из них было написано в отчетливо выраженном публицистическом духе. Это особенно ясно можно видеть в статьях на философские темы, в которых революционеры-демократы вели борьбу против идеализма и пропагандировали материалистические идеи, составлявшие теоретическую основу революционно-демократического мировоззрения. С фило-

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 23, с. 113.

софскими статьями в «Современнике» выступали преимущественно Чернышевский (например, «Антропологический принцип в философии» и др.), а также М. А. Антонович.

Самое серьезное внимание публицисты «Современника» уделяли вопросам воспитания подрастающего поколения, связывая его с подготовкой активных борцов против самодержавия. В этом отношении весьма показательна статья Добролюбова «О значении авторитета в воспитании», в которой критик подверг суду всю существующую систему воспитания, являвшуюся, по его мнению, «врагом усовершенствования и успеха», ведущую «к мертвой неподвижности и застою» не только отдельной личности, но и «целого общества».

Среди других проблем, которые затрагивали в своих выступлениях публицисты «Современника», особое место занимал так называемый женский вопрос. В разное время Белинский, Чернышевский и Добролюбов писали о необходимости вести борьбу за освобождение женщин, за предоставление им гражданских прав, рассматривая это как одно из необходимых условий перестройки общественных отношений на основе равенства и свободы. Наиболее полно взгляды революционеров-демократов по вопросу о положении женщины нашли свое отражение в цикле статей М. Л. Михайлова «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе». Эти статьи, по словам Н. В. Шелгунова, «произвели в русских умах землетрясение» и сделали их автора одним из самых популярных публицистов «Современника». Главный тезис, который выдвигал Михайлов в своей работе,— это требование признания за женщиной полного гражданского и общественного равноправия, их право на труд и общественную деятельность. Автор резко осудил укоренившиеся взгляды на женщину как на существо физически, умственно и нравственно неполноценное, и потребовал коренного изменения воспитания женщины в семье, предоставления им права на высшее образование, допуска ко всем видам общественной деятельности.

Основные положения статей Михайлова были тесно связаны с общей борьбой, которую вел «Современник» против всякого угнетения и порабощения. Вместе с тем нельзя не отметить, что Михайлов ошибался, считая семью главным основанием любого общества. По его мнению, социальное переустройство общественных отно-

шений нужно начинать с семьи. Эту мысль Михайлова не разделял Чернышевский, который считал женский вопрос хотя и очень важным, однако имеющим подчиненное значение в борьбе против самодержавия и крепостничества.

Круг вопросов, которых касались в своих произведениях публицисты «Современника», был чрезвычайно обширен, и просто не представляется возможным даже перечислить их. Но нельзя не упомянуть большую статью Шелгунова «Рабочий пролетариат в Англии и Франции», где впервые в нашей литературе был освещен «рабочий вопрос» и содержалась критика капиталистической эксплуатации рабочих в западноевропейских странах. Эта статья представляла собой популярный перевод работы Ф. Энгельса «Положение пролетариата в Англии», дополненной примерами из жизни французских трудящихся. Она явилась одной из первых попыток познакомить русского читателя с идеями марксизма.

В эпоху общественного подъема ведущие сотрудники «Современника» настойчиво искали новые формы и жанры публицистики. Они понимали, что мало только наблюдать и фиксировать события общественной жизни. Нужно изучать ее исторические предпосылки, социальные закономерности, активно воздействовать на сознание читателей, указывать им формы политической борьбы, воспитывать молодое поколение граждан в духе непримиримости ко всему старому, отжившему. Для этой цели как нельзя лучше подходил жанр обозрения. С литературно-публицистическими, литературными и журнальными обозрениями на страницах «Современника» в конце 40-х и начале 50-х годов выступали Белинский, Некрасов, Панаев и другие, но жесточайший цензурный гнет вынуждал обозревателей журнала обходить молчанием многие вопросы как общественно-политической, так и литературной жизни. Теперь появилась возможность касаться многих тем и проблем, находившихся ранее под запретом. И обозреватели «Современника» не преминули этим воспользоваться. В журнале стали печататься обозрения новых видов: «Современное обозрение», «Заграничные известия», «Политика», «Внутренние известия».

Жанр обозрения обладал большими возможностями. Он предполагал свободную манеру изложения, не связанную ни с какими определенными схемами, что позволяло обозревателю вести с читателем непринужденную

беседу по злободневным вопросам текущей жизни, включать его в процесс познания и осмысления фактов действительности, воссоздавать яркую картину событий во всех проявлениях. Но все это было по силам только обозревателю, обладавшему глубокими познаниями, широтой взгляда, умением находить связь между событиями, объединять разрозненные факты в единое целое, убеждением в правоте идеалов, которые он отстаивал. Такими качествами обозревателя в полной мере обладали Чернышевский и Добролюбов. Но оба они, занятые другими видами деятельности в журнале и практической революционной работой, не имели возможности постоянно выступать в роли внутренних обозревателей. Поэтому, когда после долгих и настойчивых хлопот «Современнику» наконец разрешили открыть отдел «Внутреннее обозрение», то редакция стала подыскивать подходящего для него руководителя.

Сначала «Внутреннее обозрение» поручили вести С. Т. Славутинскому, автору повестей и рассказов из крестьянской жизни. Но уже первое обозрение, написанное им, вызвало серьезную критику со стороны Добролюбова. В своем письме к Славутинскому он писал: «Помилуйте, мы вот уже третий год из кожи лезем, чтоб не дать заснуть обществу... мы всеми способами смеемся над «нашим великим временем, когда...», над «исполинскими шагами», над бумажным ходом современного прогресса. И вдруг Вы начинаете гладить современное общество по головке, оправдывать его переходным временем... видеть в нем какое-то сознательное и твердое следование к какой-то цели... У нас другая задача, другая идея. Мы знаем... что современная путаница не может быть разрешена иначе, как самобытным воздействием народной жизни. Чтобы возбудить это воздействие хоть в той части общества, какая доступна нашему влиянию, мы должны действовать не усыпляющим, а совсем противным образом. Нам следует группировать факты русской жизни, требующие поправок и улучшений, надо вызывать читателей на внимание к тому, что их окружает, надо колоть в глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху — до того, чтобы противно стало читателю все это богатство грязи и чтобы он, задетый наконец за живое, вскочил с азартом и вымолвил: «Да что же, дескать, это наконец за каторга! Лучше пропадай моя душонка, жить в этом омуте не хочу больше». Вот чего надобно добиться и вот чем объясняется и тон критик моих, и политические статьи «Современника».

Недовольство обозрениями Славутинского высказывал не только Добролюбов, но и Чернышевский. Однако лишь спустя несколько месяцев «Внутреннее обозрение» было передано Г. З. Елисееву, талантливому публицисту, глубокому знатоку жизни России того времени, человеку всесторонне образованному, разделявшему взгляды революционеров-демократов.

В своих ежемесячных обозрениях Елисеев касался множества вопросов: он писал о политическом положении в стране и о нуждах крестьянства, о русской истории и о земстве, о гласности и откупах, об эмансипации женщин и о воспитании в семье, о журнальной борьбе и о студенческих волнениях и о многом другом.

В период революционной ситуации 1859—1861 годов усилились цензурные преследования «Современника». Собственно говоря, цензура и раньше не оставляла без своего внимания ни один номер журнала. Почти не было случая, чтобы красный карандаш цензора не прошелся по страницам «Современника». Бывали случаи, когда цензура изымала из журнала по 5—6 печатных листов уже набранного текста. И редакции приходилось в срочном порядке готовить новые материалы. Руководители «Современника» вынуждены были прибегать ко всякого рода уловкам, чтобы обмануть бдительность цензуры, чтобы донести до читателя основные положения своей революционно-демократической программы. Но делать это с каждым разом было все труднее. Среди цензурных деятелей были люди в достаточной степени проницательные. Они понимали и порой разгадывали приемы, к которым прибегали сотрудники журнала (и в первую очередь публицисты), чтобы обмануть цензуру. Так, председатель С.-Петербургского цензурного комитета Медем писал в Главное управление цензуры: «Предосудительность общего направления и духа «Современника» не подлежит сомнению. Сколько бы цензура в подобном журнале ни старалась о зачеркивании и смягчении предосудительных мест, ей никогда не удастся уничтожить в нем все следы и всякое проявление того духа, который предгосподствовал при выборе и составлении статей. Неизгладимые эти следы заключаются во множестве мелких частностей, которые в отдельности кажутся позволительными и безвредными, но в совокупности статей, целой книги или нескольких книг, явно обнаруживают предосудительность общего направления и делаются вредными».

Вслед за этим представлением Медема на имя С.-Петербургского цензурного комитета было направлено пространное отношение, где, в частности, отмечалось, что статьи «Современника» «в религиозном отношении лишены всякого христианского значения, в законодательном — противоположны настоящему устройству, в философском — полны грубого материализма, в политическом — одобряют революции, отвергают даже умеренный либерализм, в социальном — представляют презрение к высшим классам общества, странную идеализацию женщины и крайнюю привязанность к низшему классу народа. Направление это проявляется не столько в отдельных статьях, сколько выражается общностью всех статей журнала». А в заключение говорилось, что редактору «Современника» (а также редактору журнала «Русское слово») «сделать строжайшие выговоры» и предупредить, что «если журналы будут издаваемы ими и впредь в том же духе, как ныне, то это поведет к прекращению выхода журналов в свет».

В самый разгар революционной ситуации помимо цензурных гонений на «Современник» один за другим обрушились жестокие удары: в сентябре 1861 года за составление подпольных прокламаций был арестован один из самых активных сотрудников журнала М. Л. Михайлов, а в середине ноября умер Добролюбов. В столице стали распускаться слухи, что в следующем году «Современник» издаваться не будет. Редакция журнала была вынуждена выступить с обращением к читателям, где заявила, что «покамест ни желания с нашей стороны ни какой-либо другой причины к прекращению «Современника» не существует, и журнал наш в следующем году будет издаваться на прежних основаниях».

Однако над «Современником» продолжали сгущаться тучи: не прекращались цензурные преследования, все ожесточеннее становились атаки либерально-монархической прессы на журнал, в III отделение один за другим поступали доносы, требовавшие расправиться с Чернышевским и с «Современником».

Воспользовавшись паникой, охватившей обывательские круги столицы после опустошительных майских пожаров 1862 года, и слухами, будто виновниками их были революционеры, правительство перешло в наступление. В июне 1862 года «Современник» был приостановлен на восемь месяцев «за вредное направление», а 7 июля был арестован

Чернышевский и сотрудники «Современника» Серно-Соловьевич и Обручев.

Правительство надеялось, что после всего этого «Современник» не сумеет оправиться. Но прошло немного времени, и Некрасов, воспользовавшись некоторым ослаблением правительственных репрессий, начал хлопотать о возобновлении издания своего журнала. 13 ноября 1862 года в газете «Санкт-Петербургские ведомости» появилось объявление, в котором сообщалось, что «Современник» с начала будущего года будет издаваться по прежней программе.

* * *

Первый сдвоенный январско-февральский номер возобновленного «Современника» вышел в начале февраля 1863 года. С этого времени начинается новый период деятельности журнала. В состав его редакции помимо Некрасова вошли ведущие сотрудники «Современника»: Салтыков-Щедрин, Антонович, Пыпин и Елисеев. Новая редакция была преисполнена желания сохранить прежнее направление журнала, сделать его пропагандистом идей Чернышевского и Добролюбова. Однако осуществить это не удалось. В своих воспоминаниях Елисеев позднее был вынужден признать, что «прежней души «Современника», в нем действовавшей, всем управляющей и направляющей, уже не было. Этою душою «Современника» был до сих пор Н. Г. Чернышевский».

Внутри новой редакции не стало того единства, той сплоченности, которая была раньше. Это привело к тому, что в конце 1864 года из «Современника» ушел самый талантливый сотрудник журнала Салтыков-Щедрин. Причиной послужили неоднократные столкновения сатирика с соредакторами Антоновичем и Пыпиным, которые довольно часто не только переделывали его статьи, а иногда и просто отказывались их печатать.

Сложные взаимоотношения внутри новой редакции «Современника» не могли не сказываться и на характере журнала. Если вначале в нем чувствовалось определенное единство, то после выхода из редакции Салтыкова это единство было нарушено. На страницах журнала стали печататься материалы, иной раз идущие вразрез с прежним направлением «Современника» и идеями Чернышевского (например, статья Ю. Г. Жуковского «Затруднение

женского дела»), а также статьи, полемизирующие друг с другом. А это, конечно, не могло способствовать успеху журнала.

Все отделы «Современника» в значительной степени потеряли прежнюю остроту и идейную цельность. И только отдел словесности, руководимый Некрасовым, оставался на высоте. Основной темой художественных произведений, печатавшихся в «Современнике», оставалась беспросветно тяжелая жизнь теперь уже «освобожденных» крестьян, а также борьба с реакцией и разоблачение исконных врагов народа дворян-помещиков и представителей нарождающейся буржуазии.

Содержание первого номера возобновленного «Современника» было пронизано мыслью показать читателям, что новая редакция полна готовности продолжать дело Чернышевского и Добролюбова. Почти все материалы вновь вышедшей книжки были направлены против надвигающейся реакции, устроившей подлинное гонение на все передовое и прогрессивное в обществе, и прежде всего на так называемых «нигилистов».

Общие программные установки новой редакции «Современника» наиболее последовательно были разработаны во «Внутреннем обозрении» Елисеева, где отчетливо прозвучала мысль о том, что репрессии, обрушившиеся на журнал, ни в коей мере не изменили и не изменят его направления. Уже в самом начале своего обозрения публицист писал, что возвратившийся в журнальный строй «Современник» убежден в своей необходимости для читающей публики, что он нужен такой же, как прежде, без «плетения высоких речей», с правдивым рассказом о том, как «мучатся люди».

Елисеев не только декларировал верность новой редакции прежнему направлению журнала. Он много внимания уделил характеристике места, которое занимал «Современник» в общественной и литературной жизни страны, и выступил в защиту «нигилистов». Сравнивая их с «постепеновцами», Елисеев сделал вывод далеко не в пользу последних. Если у «нигилистов» публицист видел вполне определенную программу действий, последовательность поступков, внутреннее единство «как в целой партии, так и в каждом ее члене», то у «постепеновцев» нет ни четкой программы, ни определенного мировоззрения. «Постепеновцы,— говорит обозреватель,— то и дело расползаются врозь в своих воззрениях и выводах не только один с

другим, но и каждый сам с собою». Одним словом, «постепеновцы» и «прогрессисты», по мысли Елисеева, отнюдь не те люди, на которых можно рассчитывать и которые могут указать обществу путь к прогрессу.

Любой выпад, любое обвинение, направленное против «нигилистов», Елисеев рассматривал как попытку подорвать авторитет революционно-демократического лагеря в глазах общества.

Обозревателя «Современника» серьезно волнует вопрос о современном состоянии умственной жизни, просвещения и образования. Неразвитость мысли, например, Елисеев связывал с тем общественным застоем, который он видел вокруг, и с той пропастью, которая разделяла народ и образованные сословия. Публицист вынужден был снова выступить в защиту русского мужика от несправедливых, а иногда и от откровенно клеветнических обвинений в лени, невежестве, грубости и т. п. «Наш народ,— писал Елисеев,— умен и практичен. Но ему не хватает образования. Просветите же его!.. Десяток, мало два лет совершенно свободного просвещения, свободных учреждений, свободной деятельности, и народ позабудет тяжелое настоящее, как давно минувший сон».

Как видим, «свободное просвещение» публицист связывал с необходимостью «свободных учреждений» и «свободной деятельности». Одним словом, с необходимостью общественного переустройства.

«Внутреннему обозрению» Елисеева в первом номере возобновленного «Современника» во многом была созвучна и статья Антоновича «Литературный кризис», в которой дан глубокий анализ состояния литературы того времени, показано идейное размежевание в ней, происшедшее после кризиса революционной ситуации 1859—1861 годов, и подвергнуты уничтожающей критике печатные органы реакционно-охранительного лагеря, а также газеты и журналы либералов, совсем недавно кичившиеся своим «обличительным» направлением, а ныне оказавшиеся в одном ряду с консервативной прессой.

Наиболее активную роль в отражении наступления реакции играли публицистические выступления Салтыкова-Щедрина. В течение 1863 и первых месяцев 1864 года он почти ежемесячно печатал на страницах «Современника» хроники «Наша общественная жизнь». Интересной особенностью его хроник было то, что публицистический материал в них часто излагался в форме сатири-

ческих очерков, содержащих многие характеры и типы будущих произведений великого сатирика.

В своих хрониках Салтыков-Щедрин освещал важнейшие события общественной борьбы. В частности, он дал обстоятельный анализ политической обстановки, сложившейся в стране после победы реакции, осудил правительственные репрессии, направленные против представителей революционно-демократического лагеря, вел полемику с реакционной и либеральной печатью, в ходе которой раскрыл подлинную сущность «благонамеренности» и выступил в защиту так называемого «мальчишества» и «нигилизма», в которых видел воплощение прогрессивных устремлений передовой части русского общества. Кроме того, в «Нашу общественную жизнь» сатирик включал свои размышления о положении народа, о жизни пореформенной деревни, мысли об университетском образовании, о состоянии современного искусства, литературы и журналистики и о многом другом.

Большой интерес представляет мартовская хроника «Наша общественная жизнь» за 1864 год, в которой Салтыков-Щедрин противопоставил «мальчишек» и «нигилистов» благонамеренным «мальчикам». «Мальчики» — это молодые силы реакции, представители новой пореформенной администрации, стремившиеся, по словам сатирика, «насильственно остановить развитие действительно живых сил общества».

Желая вскрыть генеалогию этого «нового» типа, появившегося на горизонте русской общественной жизни, Салтыков-Щедрин нарисовал необычайно выразительный обобщенный образ «мальчика» Васи Чубикова. Он проследил процесс формирования его личности, показал его цинизм, беспринципность, алчность, его тесную связь со старым дореформенным временем, которое писатель презрительно называл «яичницей». Салтыков-Щедрин говорил, что в настоящее время к власти пришли такие вот Васи, стремящиеся сохранить старую «яичницу» и пытающиеся представить ее как «нечто новое». Их деятельность сатирик называл «безнравственной», «напрасной», «вредной» и «опасной».

Под пером Салтыкова-Щедрина образ Васи Чубикова вырастал в фигуру огромного социального обобщения, вобравшую в себя все самые отвратительные качества нового царского бюрократа.

Важное место в публицистике возобновленного «Совре-

менника» занимала полемика против всех видов либерально-монархической журналистики от откровенно реакционных «Русского вестника» и «Московских ведомостей» М. Н. Каткова до славянофильского «Дня» К. С. Аксакова (например, статья Антоновича «Сусмудрие «Дня»). В 1863—1866 годах была продолжена также полемика с журналами братьев Ф. М. и М. М. Достоевских «Время» и «Эпоха», стоявших на позициях «почвенничества». Эта полемика была начата еще в 1861 году Антоновичем. Теперь в нее включился и Салтыков-Щедрин. В своих статьях они раскрыли реакционную сущность «почвенничества», проповедовавшего идеи примирения трудящихся масс с их угнетателями, показали растерянность его идеологов перед наступлением реакции, враждебность идейного направления журналов братьев Достоевских идеологическим устремлениям «Современника».

Вместе с публицистами «Современника» борьбу против либерально-монархической прессы вели и сотрудники другого журнала революционно-демократического направления, «Русское слово». Однако в 1864 году между этими журналами вспыхнула резкая полемика, которая, вне всякого сомнения, ослабила лагерь революционной демократии и дала повод реакции заявить о «расколе в нигилистах». В основе разногласий «Современника» и «Русского слова» лежал принципиально отличный подход к вопросу об общественной деятельности в период наметившегося спада революционного движения. Если «Современник» по-прежнему делал ставку на развитие массового революционного движения крестьян, то «Русское слово» стало возлагать надежды на медленное и постепенное воспитание масс в революционном духе. Причем этот процесс должны осуществлять и возглавлять представители демократически настроенной интеллигенции.

Расходясь в вопросах выбора тактики революционного движения, «Современник» и «Русское слово» были, однако, едины в борьбе против реакции, философского идеализма и антинигилистической литературы.

Со стороны «Современника» в полемике приняли участие Салтыков-Щедрин и Антонович, а в «Русском слове» ее вели, кроме В. А. Зайцева, Д. И. Писарев, Г. Е. Благосветлов и Н. В. Соколов.

Помимо вопросов общеполитического характера полемика развернулась вокруг оценки творчества некоторых писателей и их произведений.

Нельзя не отметить, что симпатии многих передовых русских читателей, внимательно следивших за полемикой, оказались на стороне «Русского слова». Этому в немалой степени способствовали блестящие и талантливо написанные статьи Писарева. Ведущий полемист «Современника» Антонович, к сожалению, оказался не на высоте. Его излишне резкие, а порой грубые выпады против «Русского слова», отсутствие достаточно веских аргументов в доказательстве своих положений вызывали у читателей чувство неудовлетворенности и осуждения. Это и привело в конечном итоге к значительному снижению популярности «Современника», о чем свидетельствовало и падение подписки на него.

Среди публицистических жанров возобновленного «Современника» особое место занимал очерк. Он стал важным средством художественно-публицистического воспроизведения жизни народа в наиболее характерных ее проявлениях. В очерках В. А. Слепцова, Ф. М. Решетникова, Г. И. Успенского, П. И. Якушкина и других писателей-демократов нашли свое отражение быт и нравы, интересы и предрассудки, надежды и чаяния народных масс, и в первую очередь крестьянства. В яркой публицистической форме эти писатели знакомили русского читателя с истинным положением в деревне, вскрывали грабительский характер правительственных реформ, показывали хищническую сущность деятельности всякого рода буржуазных воротил, проникновение в деревню капиталистических отношений. В этой связи весьма характерен цикл очерков Слепцова «Письма об Осташкове», в котором писатель смело и убедительно разоблачил легенду о том, что и в условиях самодержавного правления возможен культурный прогресс.

Осташковские «редкости» — всеобщая грамотность, публичная библиотека, театр, оркестр, пожарная команда и пр.— все это, по мнению Слепцова, искусственно создано на русской почве и ни в коей мере не удовлетворяет действительные потребности города. Писатель проницательно заметил, что Осташков отличается от других русских уездных городов только тем, что бедность в нем искусно спрятана от глаз постороннего наблюдателя. «Но вы не знаете, какая это бедность! — восклицал Слепцов.— Это бедность какая-то особенная, подрумяненная бедность, похожая на нищего в новом жилете и напоминающая вам отлично вычищенный сапог с дырой».

Писатель показал, что под внешним лоском скрывается страшная неприглядная действительность, что существует глубокая пропасть между внешней и внутренней сторонами осташковской жизни, что в городе процветает «невежество полнейшее», дикость и неразвитость.

«Письма об Осташкове» — это блестящий образец художественного изображения жизни с глубоким публицистическим анализом. Слепцов показал, что в основе капиталистического «культурничества» лежит более изощренная и еще более жестокая эксплуатация трудящихся.

Направление «Современника» в 1863—1866 годах претерпело серьезные изменения по сравнению с тем временем, когда в нем сотрудничали Чернышевский и Добролюбов. Усиление реакции в стране, недостаточно четкая и последовательная линия журнала в решении отдельных вопросов общественно-политической и литературной жизни, вызванная разногласиями среди членов редакции, не во всех аспектах оправданная полемика с «Русским словом» — все это ослабило идейные позиции «Современника», хотя он по-прежнему оставался верен революционно-демократическим началам.

Этим и объяснялись те беспрестанные гонения, которые обрушивало царское правительство на «Современник». Цензура задерживала любые материалы, в которых она усматривала враждебные выпады против основ существующего строя. Так, в 1863 году было запрещено свыше 1200 страниц различных материалов, подготовленных редакцией к публикации в «Современнике», а в 1864-м — свыше 900 страниц. Некрасову приходилось вести поистине титаническую борьбу, чтобы как-то обойти цензурные рогатки. Но даже ему, испытанному журнальному бойцу, далеко не всегда удавалось это сделать.

Одно за другим «Современник» получал предостережения и предупреждения, и к концу 1865 года сложилась ситуация, при которой продолжать издание журнала оказалось практически невозможным. В письме к начальнику Главного управления по делам печати Некрасов писал: «Существование журнала с двумя «предупреждениями» немыслимо, подобно существованию человека с пораженными легкими». И далее он просил дать возможность продолжить выпуск «Современника» в течение 1866 года с тем, чтобы потом прекратить его издание. Однако развязка наступила раньше.

4 апреля 1866 года студент Д. В. Каракозов совершил неудачное покушение на царя Александра II, вслед за которым по стране прокатилась волна репрессий и полицейских преследований. Были произведены многочисленные аресты. В частности, был арестован ведущий сотрудник «Современника» Елисеев.

Некрасов понимал, что над его журналом нависла смертельная угроза, и хотел отвести от него удар. Вместе с другими литераторами он подписал верноподданнейший адрес Александру II, прочитал в Английском клубе хвалебную оду Муравьеву-«вешателю», напечатал в «Современнике» стихи, посвященные «спасителю» царя О. Комиссарову. Эти свои поступки Некрасов мучительно переживал всю жизнь. Но «Современник» уже ничто не могло спасти: в июне 1866 года за «доказанное с давнего времени... вредное направление» он был закрыт навсегда.

«Современник» сыграл выдающуюся роль в истории русского освободительного движения и журналистики. В течение двадцати лет он оставался лучшим демократическим журналом своего времени, ведя последовательную борьбу против реакции, отстаивая идеи революционной демократии. И огромная заслуга в этом принадлежала публицистам-демократам, сотрудничавшим в журнале.

По-разному сложилась их судьба. Одни рано умерли, другие погибли на каторге, третьи оказались на долгие годы вырванными из общественной и литературной жизни, четвертые, пройдя через аресты и административные кары, продолжали борьбу в новых условиях, сотрудничая в новых изданиях. Не все из них сумели сохранить верность прежним идеалам. Но подавляющее большинство остались убежденными противниками самодержавия и до конца своих дней продолжали вести неустанную борьбу за освобождение своего народа от гнета и насилия, свято веря в грядущую победу идеалов добра и справедливости, в светлое будущее своей страны.

Н. Якушин

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

1811–1848

Я рожден для печатных битв...

В. Г. Белинский

Сохранившиеся портреты Виссариона Григорьевича Белинского лишь в незначительной степени передают действительный его облик. Наиболее полное описание внешности критика дал близко знавший его И. С. Тургенев. «Это был человек среднего роста,— писал он в своих воспоминаниях о Белинском,— на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, с впалой грудью и понурой головой... Лицо имел небольшое... нос неправильный... рот слегка искривленный... густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хоть и низкий лоб. Я не видел глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. Голос у Белинского был слаб, с хрипотою, но приятен... Между чужими людьми, на улице, Белинский легко робел и терялся».

Но в этом скромном и застенчивом человеке, избегавшем шумных сборищ, обитала, говоря словами А. И. Герцена, «мощная, гладиаторская натура». Говорил Белинский мало. Он не любил проповедовать, поучать и никогда не стремился привлечь к себе внимание. Но если кто-нибудь затрагивал его убеждения и пытался нападать на дорогие ему верования, он буквально преображался. Вот как описывал Белинского Герцен в такие минуты: «Он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль».

Белинский прожил трудную жизнь. Все в ней было: безрадостное детство, полуголодная юность, материальная необеспеченность, вечная зависимость от литературных подрядчиков, беспрестанные цензурные гонения, мешав-

шие ему высказать то, что накипало на душе. Только в самом конце жизни, когда Белинский стал сотрудником «Современника», он вздохнул свободнее. Критик получил наконец возможность работать спокойно, не думать о заработке, писать о предметах ему дорогих и близких. Но силы были уже подорваны. Сказались годы нужды, непосильный труд, вконец расстроившие его здоровье. Прожив всего 37 лет, Белинский скончался.

По своей натуре Белинский был прирожденным общественным деятелем. Недаром Чернышевский говорил о нем: «Нам кажется, что в Англии этот человек был бы парламентским оратором, в Германии... философом, во Франции — публицистом; в России он сделался автором статей о Пушкине».

В условиях русской действительности критика для Белинского стала особой формой общественной деятельности. Лишенный возможности непосредственно откликаться на события общественно-политической и социально-экономической жизни своего времени, Белинский использовал любую возможность для того, чтобы затронуть животрепещущие вопросы современной ему действительности. Он, по словам Чернышевского, относился к числу тех критиков, которые «заботились не столько о чисто эстетических вопросах, сколько вообще о развитии общества... Эстетические вопросы были... по преимуществу только полем битвы, а предметом борьбы было влияние вообще на умственную жизнь». Поэтому литературно-критические статьи Белинского были одновременно и публицистическими.

Не было, пожалуй, ни одной проблемы, ни одного мало-мальски важного вопроса, волновавшего русскую читающую публику, которых бы не касался Белинский в своих статьях. Его журнальные выступления — это своеобразный сплав политических, социологических, философских, этических и эстетических идей. Каждая статья критика, по его собственным словам, была плодом «глубокого убеждения, горячего чувства выражения тех внутренних духовных интересов, которые занимают все существо человека наяву, тревожат его сон, отрывают его от выгод внешней жизни, от забот о своем житейском благосостоянии, заставляют приносить в жертву всю свою жизнь, все удобства в настоящем, все надежды в будущем».

Для всех выступлений Белинского была характерна предельная искренность, убежденность в правоте своих

взглядов, бескомпромиссность. Он никогда не лукавил, не хитрил, писал как думал, заботясь только о правде. «Я знаю,— писал он в одном из писем,— что моя сила... в страсти, в субъективном характере моей натуры и личности, в том, что моя статья и я — всегда нечто нераздельное».

Статьи Белинского — это то лирические размышления о важнейших проблемах современности, то серьезная и обстоятельная беседа с читателем по самым различным вопросам, стоявшим на повестке дня, то полемически заостренные разоблачения негативных сторон русской жизни, то яркая и образная характеристика какого-нибудь литературного или общественного явления, писателя, поэта, ученого.

Белинский был активным журнальным бойцом и страстным полемистом. «Я рожден для печатных битв, мое призвание, моя жизнь, счастье, воздух, пища — полемика»,— писал он о себе. Обращаясь к читателям и своим предполагаемым оппонентам, Белинский задавал им вопросы, втягивал их в обсуждение затрагиваемых проблем, как бы прислушивался к возможным возражениям, приводил новые дополнительные и убедительные аргументы и факты, подтверждавшие его мысль. В каждом слове критика, по словам Герцена, «чувствуешь, что человек этот пишет своею кровью, чувствуешь, как он расточает свои силы и как сжигает себя...».

На всю страну звучал страстный и взволнованный голос Белинского. Его статьи с жадностью читались в самых отдаленных уголках России. Передовые читатели искали в них ответы на волновавшие их вопросы, внимательно прислушивались к горячей проповеди идеалов правды, добра и справедливости.

Деятельность Белинского была теснейшим образом связана с подъемом революционных настроений в русском обществе. «Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении»*, назвал великого критика В. И. Ленин. Политические и философские взгляды Белинского стали теоретической основой для разработки Чернышевским идей крестьянской революции. В своих мечтах великий демократ видел Россию «стоящею во главе образованного мира, дающею законы и науке и искусству и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества».

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, с. 93.

Взгляд на русскую литературу 1847 года

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Когда долго не бывает тех замечательных событий, которые резко изменяют в чем-нибудь обычное течение дел и круто поворачивают его в другую сторону, все года кажутся похожими один на другой. Новый год празднуется как условный календарный праздник, и людям кажется, что вся перемена, все новое, принесенное истекшим годом, состоит только в том, что каждый из них и еще одним годом стал старее —

И хором бабушки твердят:
«Как наши годы-то летят!» [1]

А между тем, как оглянется человек назад и пробежит в своей памяти несколько таких годов, то и видит, что все стало с тех пор как-то не так, как было прежде. Разумеется, тут у всякого свой календарь, свои люстры, олимпиады, десятилетия, годины, эпохи, периоды, определяемые и назначаемые событиями его собственной жизни. И поэтому один говорит: «Как все переменилось в последние двадцать лет!» Для другого перемена произошла в десять, для третьего — в пять лет. В чем заключается она, эта перемена, не всякий может определить, но всякий чувствует, что вот с такого-то времени точно произошла какая-то перемена, что и он как будто не тот, да и другие не те, да не совсем тот порядок и ход самых обыкновенных дел на свете. И вот одни жалуются, что все стало хуже; другие в восторге, что все становится лучше. Разумеется, тут зло и добро определяется большею частию личным положением каждого, и каждый свою собственную особу ставит центром событий и все на свете относит к ней: ему стало хуже, и он думает, что все и для всех стало хуже, и наоборот. Но так понимает дело большинство, масса; люди наблюдающие и мыслящие в изменении обычного хода житейских дел видят, напротив, не одно улучшение или понижение их собственного положения, но изменение понятий и нравов общества, следовательно, развитие общественной жизни. Развитие для них есть ход вперед, следовательно, улучшение, успех, *прогресс*. ⟨...⟩

Слово «прогресс» естественно должно было встретить особенную неприязнь к нему со стороны пуристов русского языка, которые возмущаются всяким иностранным словом, как ересью или расколом в ортодоксии родного языка. Подобный пуризм имеет свое законное и дельное основание; но тем не менее он — односторонность, доведенная до последней крайности. Некоторые из старых писателей, не любя современной русской литературы (потому что она их далеко обошла, а они от нее далеко отстали и таким образом лишились всякой возможности играть в ней сколько-нибудь значительную роль), прикрываются пуризмом и твердят беспрестанно, что в наше время прекрасный русский язык всячески искажается и уродуется, особенно введением в него иностранных слов. Но кто же не знает, что пуристы говорили то же самое об эпохе Карамзина? Стало быть, *наше время* терпит тут совершенную напраслину, и если оно виновато в том, в чем его обвиняют, то отнюдь не больше всякого другого времени, предшествовавшего ему. Если бы употребление в русском языке иностранных слов и было злом,— оно зло необходимое, корень которого глубоко лежит в реформе Петра Великого, познакомившей нас со множеством до того совершенно чуждых нам понятий, для выражения которых у нас не было своих слов. Поэтому необходимо было чужие понятия и выражать чужими готовыми словами. Некоторые из этих слов так и оставались непереведенными и незамененными и потому получили право гражданства в русском словаре. Все к ним привыкли, и все их понимают; за что же гнать их? Конечно, простолюдин не поймет слов: «инстинкт», «эгоизм», но не потому, что они иностранные, а потому, что его уму чужды выражаемые ими понятия, и слова «побудка», «ячество» не будут для него нисколько яснее «инстинкта» и «эгоизма». Простолюдины не понимают многих чисто русских слов, которых смысл вне тесного круга их обычных житейских понятий, например: «событие», «современность», «возникновение» и т. п., и хорошо понимают иностранные слова, выражающие относящиеся к их быту или не чуждые его понятия, например: «пачпорт», «билет», «ассигнация», «квитанция» и т. п. Что же касается до людей образованных, то «инстинкт» для них — воля ваша — яснее и понятнее «побудки», «эгоизм» — «ячества», «факты» — «бытей». Но если одни иностранные слова удержались и получили в русском языке право гражданства, зато другие с течением времени были удачно заменены русскими, большею частию

вновь составленными. Так, Тредьяковский[2], говорят, ввел слово «предмет», а Карамзин — «промышленность». Таких русских слов, удачно заменивших собою иностранные, множество. И мы первые скажем, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово,— значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус. Так, например, ничего не может быть нелепее и диче, как употребление слова «утрировать» вместо «преувеличивать». Каждая эпоха русской литературы ознаменовалась наплывом иностранных слов; наша, разумеется, не избегла его. И это еще не скоро кончится: знакомство с новыми идеями, выработавшимися на чуждой нам почве, всегда будет приводить к нам и новые слова. Но чем дальше, тем менее это будет заметно, потому что до сих пор мы вдруг знакомились с целым кругом дотоле чуждых нам понятий. По мере наших успехов в сближении с Европою, запасы чуждых нам понятий будут все более и более истощаться, и новым для нас будет только то, что ново и для самой Европы. Тогда естественно и заимствования пойдут ровнее, тише, потому что мы будем уже не догонять Европу, а идти с нею рядом, не говоря уже о том, что и язык русский с течением времени будет все более и более выработываться, развиваться, становиться гибче и определеннее.

Нет сомнения, что охота пестрить русскую речь иностранными словами без нужды, без достаточного основания противна здравому смыслу и здравому вкусу, но она вредит не русскому языку и не русской литературе, а только тем, кто одержим ею. Но противоположная крайность, то есть неумеренный пуризм, производит те же следствия, потому что крайности сходятся. Судьба языка не может зависеть от произвола того или другого лица. У языка есть хранитель надежный и верный: это — его же собственный дух, гений. Вот почему из множества вводимых иностранных слов удерживаются только немногие, а остальные сами собою исчезают. Тому же самому закону подлежат и новосоставляемые русские слова: одни из них удерживаются, другие исчезают, неудачно придуманное русское слово для выражения чуждого понятия не только не лучше, но решительно хуже иностранного слова. Говорят, для слова «прогресс» не нужно и выдумывать нового слова, потому что оно удовлетворительно выражается словами: «успех», «поступательное движение» и т. д. С этим нельзя согласиться. Прогресс относится только к тому, что развивается само из себя. Прогрессом может быть и то, в чем вовсе нет успеха, приоб-

ретения, даже шагу вперед; и напротив, прогрессом может быть иногда неуспех, упадок, движение назад. Это именно относится к историческому развитию. Бывают в жизни народов и человечества эпохи несчастные, в которые целые поколения как бы приносятся в жертву следующим поколениям. Проходит тяжелая година — из зла рождается добро. Слово «прогресс» отличается всею определенностию и точностию научного термина, а в последнее время оно сделалось ходячим словом, его употребляют все — даже те, которые нападают на его употребление. Потому, пока не явится русского слова, которое бы вполне заменило его собою, мы будем употреблять слово «прогресс».

Всякое органическое развитие совершается через прогресс, развивается же органически только то, что имеет свою историю, а имеет свою историю только то, в чем каждое явление есть необходимый результат предыдущего и им объясняется. Если можно представить себе литературу, в которой являются от времени до времени сочинения замечательные, но чуждые всякой внутренней связи и зависимости, обязанные своим появлением внешним влияниям, подражательности,— у такой литературы не может быть истории. Ее история — каталог книг. К такой литературе слово «прогресс» неприложимо, и появление нового, почему-нибудь замечательного произведения в ней не есть прогресс, потому что это произведение не имеет корня в прошедшем и не даст плода в будущем. Тут время и годы ничего не значат: они могут идти себе, ничего не изменяя. Не так бывает в литературе, развивающейся исторически: тут каждый год что-нибудь да приносит с собою,— и это что-нибудь есть прогресс. ⟨...⟩

Натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы. С одной стороны, нисколько не преувеличивая дела по каким-нибудь пристрастным увлечениям, мы можем сказать, что публика, то есть большинство читателей, за нее: это факт, а не предположение. Теперь вся литературная деятельность сосредоточилась в журналах, а какие журналы пользуются большею известностию, имеют более обширный круг читателей и большее влияние на мнение публики, как не те, в которых помещаются произведения натуральной школы? Какие романы и повести читаются публикою с особенным интересом, как не те, которые принадлежат натуральной школе, или, лучше сказать, читаются ли публикою романы и повести, не принадлежащие к натуральной школе? Какая критика пользуется

большим влиянием на мнение публики, или, лучше сказать, какая критика более сообразна с мнением публики, как не та, которая стоит за натуральную школу против реторической? С другой стороны, о ком беспрестанно говорят, спорят, на кого беспрестанно нападают с ожесточением, как не на натуральную школу? Партии, ничего не имеющие между собою общего, в нападках на натуральную школу действуют согласно, единодушно, приписывают ей мнения, которых она чуждается, намерения, которых у ней никогда не было, ложно перетолковывают каждое ее слово, каждый ее шаг, то бранят ее с запальчивостию, забывая иногда приличие, то жалуются на нее чуть не со слезами. Что общего между заклятыми врагами Гоголя, представителями побежденного реторического направления, и между так называемыми славянофилами? — Ничего! — и однако ж последние, признавая Гоголя основателем натуральной школы, согласно с первыми нападают, в том же тоне, теми же словами, с такими же доказательствами на натуральную школу и почли за нужное отличиться от своих новых союзников только логическою непоследовательностию, вследствие которой они поставили Гоголю в заслугу то самое, за что преследуют его школу, на том основании, что он писал по какой-то «потребности внутреннего очищения». К этому должно прибавить, что школы, неприязненные натуральной, не в состоянии представить ни одного сколько-нибудь замечательного произведения, которое доказало бы делом, что можно писать хорошо, руководствуясь правилами, противоположными тем, которых держится натуральная школа. Все попытки их в этом роде послужили к торжеству натурализма и падению реторизма. 〈...〉

Литература наша была плодом сознательной мысли, явилась как нововведение, началась подражательностию. Но она не остановилась на этом, а постоянно стремилась к самобытности, народности, из реторической стремилась сделаться естественною, *натуральною*. Это стремление, ознаменованное заметными и постоянными успехами, и составляет смысл и душу истории нашей литературы. И мы не обинуясь скажем, что ни в одном русском писателе это стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе. Это могло совершиться только через исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов. Для этого нужно было обратить все внимание на толпу, на массу, изображать людей обыкновенных, а не приятные только исключения из общего правила, которые всегда соб-

лазняют поэтов на идеализирование и носят на себе чужой отпечаток. Это великая заслуга со стороны Гоголя, но это-то люди старого образования и вменяют ему в великое преступление перед законами искусства. Этим он совершенно изменил взгляд на самое искусство. К сочинениям каждого из поэтов русских можно, хотя и с натяжкою, приложить старое и ветхое определение поэзии, как «украшенной природы»; но в отношении к сочинениям Гоголя этого уже невозможно сделать. К ним идет другое определение искусства — как воспроизведение действительности во всей ее истине. Тут все дело в *типах*, а *идеал* тут понимается не как украшение (следовательно, ложь), а как отношения, в которые автор становит друг к другу созданные им типы, сообразно с мыслию, которую он хочет развить своим произведением. 〈...〉

Влияние Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только все молодые таланты бросились на указанный им путь, но и некоторые писатели, уже приобретшие известность, пошли по этому же пути, оставивши свой прежний. Отсюда появление школы, которую противники ее думали унизить названием натуральной. После «Мертвых душ» Гоголь ничего не написал. На сцене литературы теперь только его школа. Все упреки и обвинения, которые прежде устремлялись на него, теперь обращены на натуральную школу, и если еще делаются выходки против него, то по поводу этой школы. В чем же обвиняют ее? Обвинений не много, и они всегда одни и те же. Сперва нападали на нее за ее будто бы постоянные нападки на чиновников. В ее изображениях быта этого сословия одни искренно, другие умышленно видели злонамеренные карикатуры. С некоторого времени эти обвинения замолкли. Теперь обвиняют писателей натуральной школы за то, что они любят изображать людей низкого звания, делают героями своих повестей мужиков, дворников, извозчиков, описывают углы, убежища голодной нищеты и часто всяческой безнравственности. 〈...〉

«...Прежние поэты представляли и картины бедности, но бедности опрятной, умытой, выражающейся скромно и благородно; притом же к концу повести всегда являлась чувствительная молодая дама или девица, дочь богатых и благородных родителей, а не то благодетельный молодой человек,— и во имя милого или милой сердца водворяли довольство и счастие там, где была бедность и нищета, и благодарные слезы орошали благодетельную руку — и чи-

татель невольно подносил свой батистовый платок к глазам и чувствовал, что он становится добрее и чувствительнее... А теперь! — посмотрите, что теперь пишут! Мужики в лаптях и сермягах, часто от них несет сивухою, баба — род центавра, по одежде не вдруг узнаешь, какого это пола существо; *углы* — убежища нищеты, отчаяния и разврата, до которых надо доходить по двору грязному по колени; какой-нибудь пьянюшка — подьячий или учитель из семинаристов, выгнанный из службы,— все это списывается с натуры, в наготе страшной истины, так что если прочтешь — жди ночью тяжелых снов...» Так или иначе говорят маститые питомцы старой пиитики. В сущности, их жалобы состоят в том, зачем поэзия перестала бесстыдно лгать, из детской сказки превратилась в быль, не всегда приятную, зачем отказалась она быть гремушкою, под которую детям приятно и прыгать и засыпать. Странные люди! счастливые люди! им удалось на всю жизнь остаться детьми и даже в старости быть несовершеннолетними, недорослями,— и вот они требуют, чтобы и все походили на них! Да читайте свои старые сказки — никто вам не мешает; а другим оставьте занятия, свойственные совершеннолетию. Вам ложь — нам истина: разделимся без спору, благо вам не нужно нашего пая, а мы даром не возьмем вашего... Но этому полюбовному разделу мешает другая причина — эгоизм, который считает себя добродетелью. В самом деле, представьте себе человека обеспеченного, может быть, богатого; он сейчас пообедал сладко, со вкусом (повар у него прекрасный), уселся в спокойных вольтеровских креслах с чашкою кофе, перед пылающим камином, тепло и хорошо ему, чувство благосостояния делает его вечно веселым,— и вот берет он книгу, лениво переворачивает ее листы,— и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезает с румяных губ, он взволнован, встревожен, раздосадован... И есть от чего! Книга говорит ему, что не все на свете живут так хорошо, как он, что есть *углы*, где под лохмотьями дрожит от холоду целое семейство, может быть, недавно еще знавшее довольство, что есть на свете люди, рождением, судьбою обреченные на нищету, что последняя копейка идет на зелено вино не всегда от праздности и лени, но и от отчаяния... И нашему счастливцу неловко, как будто совестно своего комфорта... А все виновата скверная книга: он взял ее для удовольствия, а вычитал тоску и скуку... Прочь ее! «Книга должна приятно развлекать; я и без того знаю, что

в жизни много тяжелого и мрачного, и если читаю, так для того, чтобы забыть это!» — восклицает он.— Так, милый, добрый сибарит, для твоего спокойствия и книги должны лгать, и бедный забывать свое горе, голодный — свой голод, стоны страдания должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетит, не нарушился твой сон... Представьте теперь в таком же положении другого любителя приятного чтения. Ему надо было дать бал, срок приближался, а денег не было; управляющий его, Никита Федорыч[3], что-то замешкался высылкою. Но сегодня деньги получены, бал можно дать; с сигарой в зубах, веселый и довольный, лежит он на диване, и от нечего делать руки его лениво протягиваются к книге. Опять та же история! Проклятая книга рассказывает ему подвиги его Никиты Федорыча, подлого холопа, с детства привыкшего подобострастно служить чужим страстям и прихотям, женатого на отставной любовнице родителя своего барина. И ему-то, не знакомому ни с каким человеческим чувством, поручена судьба и участь всех Антонов... Скорее прочь ее, скверную книгу!.. Представьте теперь еще в таком комфортном состоянии человека, который в детстве бегал босиком, бывал на посылках, а лет под пятьдесят как-то очутился в чинах, имеет «малую толику». Все читают — надо и ему читать; но что находит он в книге? — свою биографию, да еще как верно рассказанную, хотя, кроме его самого, темные похождения его жизни — тайна для всех, и ни одному *сочинителю* неоткуда было узнать их... И вот он уже не взволнован, а просто взбешен и с чувством достоинства облегчает свою досаду таким рассуждением: «Вот как пишут ныне! вот до чего дошло вольнодумство! Так ли писали прежде? Штиль ровный, гладкий, все о предметах нежных или возвышенных, читать сладко и обидеться нечем!»

Есть особенный род читателей, который, по чувству аристократизма, не любит встречаться даже в книгах с людьми низших классов, обыкновенно не знающими приличия и хорошего тона, не любят грязи и нищеты по их противоположности с роскошными салонами, будуарами и кабинетами. Эти отзываются о натуральной школе не иначе, как с высокомерным презрением, ироническою улыбкою... Кто они такие, эти феодальные бароны, гнушающиеся «подлою чернью», которая в их глазах ниже хорошей лошади? Не спешите справляться о них в геральдических книгах или при дворах европейских: вы не найдете их гербов, они не

ездят ко двору и если видали большой свет, то не иначе, как с улицы, сквозь ярко освещенные окна, насколько позволяли сторы и занавески... Предками они не могут похвалиться; они обыкновенно — или чиновники, или из нового дворянства, богатого только плебейскими преданиями о дедушке управляющем, о дядюшке откупщике, а иногда и о бабушке просвирне и тетушке торговке. Автор этой статьи считает при этом обязанностию довести до сведения своих читателей, что упрекать ближнего незнатностью происхождения вовсе не в его привычках и положительно противно всем его убеждениям и что он сам отнюдь не может похвалиться знатностью происхождения и отнюдь не стыдится признаться в этом. Но он думает,— и, вероятно, читатели его согласятся с ним,— что ничего нет приятнее, как оборвать с вороны павлиные перья и доказать ей, что она принадлежит к той породе, которую вздумала презирать. Человек простого звания еще не ворона потому, что он простого звания; вороною делает не звание, а природа, и вороны так же бывают во всех званиях, как во всех же званиях бывают и орлы; но, конечно, только вороне свойственно рядиться в павлиные перья и величаться ими. Так почему же не сказать вороне, что она — ворона? Презрение к низшим сословиям в наше время отнюдь не есть порок высших сословий; напротив, это болезнь выскочек, порождение невежества, грубости чувств и понятий. Умный и образованный человек, если б он был одержим этою болезнью, никогда не обнаружит ее, потому что она не в духе времени, потому что показать ее — значит каркнуть о себе во все воронье горло[4]. Нам кажется, что как ни гадко лицемерие, но в этом случае оно даже лучше вороньей откровенности, потому что свидетельствует об уме. Павлин, горделиво распускающий пышный хвост свой перед другими птицами, слывет животным красивым, но не умным. Что же сказать о вороне, спесиво выказывающей заимствованный наряд? Подобная спесь всегда чужда ума и есть порок по преимуществу плебейский. Где больше ломанья и притязаний, как не в тех слоях общества, которые начинаются тотчас после самых низших? А это потому, что тут всего больше невежества. Посмотрите, как глубоко презирает лакей мужика, который во всех отношениях лучше, благородней, человечней его! Откуда эта гордость в лакее? — Он перенял пороки своего барина и оттого считает себя далеко образованнее мужика. Внешний лоск грубыми натурами всегда принимается за образованность.

«Что за охота наводнять литературу мужиками?» — восклицают аристократы известного разряда. В их глазах писатель — ремесленник, которому как что закажут, так он и делает. Им в голову не входит, что в отношении к выбору предметов сочинения писатель не может руководствоваться ни чуждою ему волею, ни даже собственным произволом, ибо искусство имеет свои законы, без уважения которых нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требует, чтобы писатель был верен собственной натуре, своему таланту, своей фантазии. А чем объяснить, что один любит изображать предметы веселые, другой — мрачные, если не натурою, характером и талантом поэта? Кто что любит, чем интересуется, то и знает лучше, а что лучше знает, то лучше и изображает. Вот самое законное оправдание поэта, которого упрекают за выбор предметов; оно не удовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслят в искусстве и грубо смешивают его с ремеслом. Природа — вечный образец искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе — человек. А разве мужик — не человек? — Но что может быть интересного в грубом, необразованном человеке? — Как что? — Его душа, ум, сердце, страсти, склонности,— словом, все то же, что и в образованном человеке. Положим, последний выше первого; но разве ботаник интересуется только садовыми, улучшенными искусством растениями, презирая их полевые, дико растущие первообразы? Разве для анатомика и физиолога организм дикого австралийца не так же интересен, как и организм просвещенного европейца? На каком же основании искусство в этом отношении должно так разниться от науки? А потом — вы говорите, что образованный человек выше необразованного. С этим нельзя не согласиться с вами, но не безусловно. Конечно, самый пустой светский человек несравненно выше мужика, но в каком отношении? Только в светском образовании, и это нисколько не помешает иному мужику быть выше его, например, со стороны ума, чувства, характера. Образование только развивает нравственные силы человека, но не дает их; дает их человеку природа. И в этой раздаче драгоценнейших даров своих она действует слепо, не разбирая сословий... Если из образованных классов общества выходит больше замечательных людей,— это потому, что тут больше средств к развитию, а совсем не потому, чтобы природа была для людей низших классов скупее в раздаче даров своих. «Чему можно научиться из книги, в которой

описывается какой-нибудь спившийся с кругу горемыка?»,— говорят еще эти аристократы средней руки.— Как чему? — Разумеется, не светскому обращению и не хорошему тону, а знанию человека в известном положении. Один спивается от лености, от дурного воспитания, от слабости характера, другой — от несчастных обстоятельств жизни, в которых он, может быть, нисколько не виноват. В обоих случаях эти примеры поучительные и любопытные для наблюдения. Конечно, отвернуться с презрением от человека падшего гораздо легче, нежели протянуть ему руку на утешение и помощь, так же как осудить его строго, во имя нравственности, гораздо легче, нежели с участием и любовью войти в его положение, исследовать до глубины причину его падения и пожалеть о нем, как о человеке, даже и тогда, когда он сам окажется много виноватым в своем падении. 〈...〉

Остается упомянуть еще о нападках на современную литературу и на натурализм вообще с эстетической точки зрения во имя чистого искусства, которое само себе цель и вне себя не признает никаких целей. В этой мысли есть основание, но ее преувеличенность заметна с первого взгляда. Мысль эта чисто немецкого происхождения; она могла родиться только у народа созерцательного, мыслящего и мечтающего и никак не могла бы явиться у народа практического, общественность которого для всех и каждого представляет широкое поле для живой деятельности. Что такое чистое искусство,— этого хорошо не знают сами поборники его, и оттого оно является у них каким-то идеалом, а не существует фактически. Оно, в сущности, есть дурная крайность другой дурной крайности, то есть искусства дидактического, поучительного, холодного, сухого, мертвого, которого произведения не иное что, как риторические упражнения на заданные темы. Без всякого сомнения, искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выражением духа и направления общества в известную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии,— в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить в нем,— это разве прекрасное намерение, дурно выполненное. Когда в романе или повести нет образов и лиц, нет характеров, нет ничего *типического*,— как бы верно и тщательно ни было списано с натуры все, что в нем рассказывается,

читатель не найдет тут никакой натуральности, не заметит ничего верно подмеченного, ловко схваченного. Лица будут перемешиваться между собою в его глазах; в рассказе он увидит путаницу непонятных происшествий. Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства. Чтобы списывать верно с натуры, мало уметь писать, то есть владеть искусством писца или писаря; надобно уметь явления действительности провести через свою фантазию, дать им новую жизнь. Хорошо и верно изложенное следственное дело, имеющее романтический интерес, не есть роман и может служить разве только материалом для романа, то есть подать поэту повод написать роман. Но для этого он должен проникнуть мыслию во внутреннюю сущность дела, отгадать тайные душевные побуждения, заставившие эти лица действовать так, схватить ту точку этого дела, которая составляет центр круга этих событий, дает им смысл чего-то единого, полного, целого, замкнутого в самом себе. А это может сделать только поэт. Кажется, чего бы легче было верно списать портрет человека. И иной целый век упражняется в этом роде живописи, а все не может списать знакомого ему лица так, чтобы и другие узнали, чей это портрет. Уметь списать верно портрет есть уже своего рода талант, но этим не оканчивается все. Обыкновенный живописец сделал очень сходно портрет вашего знакомого; сходство не подвергается ни малейшему сомнению в том смысле, что вы не можете не узнать сразу, чей это портрет, а все как-то недовольны им, вам кажется, будто он и похож на свой оригинал, и не похож на него... Но пусть с него же снимет портрет Тыранов [5] или Брюллов [6] — и вам покажется, что зеркало далеко не так верно повторяет образ вашего знакомого, как этот портрет, потому что это будет уже не только портрет, но и художественное произведение, в котором схвачено не одно внешнее сходство, но вся душа оригинала. Итак, верно списывать с действительности может только талант, и как бы ни ничтожно было произведение в других отношениях, но чем более оно поражает верностию натуре, тем несомненнее талант его автора. ⟨...⟩

Но, вполне признавая, что искусство прежде всего должно быть искусством, мы тем не менее думаем, что мысль о каком-то чистом, отрешенном искусстве, живущем в своей собственной сфере, не имеющей ничего общего с другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда и нигде не бывало. Без всякого сомнения, жизнь разделяется и подразде-

ляется на множество сторон, имеющих свою самостоятельность; но эти стороны сливаются одна с другою живым образом, и нет между ними резкой разделяющей их черты. Как ни дробна жизнь, она всегда едина и цельна. Говорят, для науки нужен ум и рассудок, для творчества — фантазия, и думают, что этим порешили дело начисто, так что хоть сдавай его в архив. Для искусства не нужно ума и рассудка? А ученый может обойтись без фантазии? Неправда! Истина в том, что в искусстве фантазия играет самую деятельную и первенствующую роль, а в науке — ум и рассудок. Бывают, конечно, произведения поэзии, в которых ничего не видно, кроме сильной блестящей фантазии; но это вовсе не общее правило для художественных произведений. В творениях Шекспира [7] не знаешь, чему больше дивиться — богатству ли творческой фантазии, или богатству всеобъемлющего ума. Есть роды учености, которые не только не требуют фантазии, в которых эта способность могла бы только вредить; но никак этого нельзя сказать об учености вообще. Искусство есть воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир: может ли же оно быть какою-то одинокою, изолированною от всех чуждых ему влияний деятельностию? Может ли поэт не отразиться в своем произведении как человек, как характер, как натура,— словом, как личность? Разумеется, нет, потому что и самая способность изображать явления действительности без всякого отношения к самому себе — есть опять-таки выражение натуры поэта. Но и эта способность имеет свои границы. Личность Шекспира просвечивает сквозь его творения, хотя и кажется, что он так же равнодушен к изображаемому им миру, как и судьба, спасающая или губящая его героев. В романах Вальтера Скотта [8] невозможно не увидеть в авторе человека более замечательного талантом, нежели сознательно широким пониманием жизни тори [9], консерватора и аристократа по убеждениям и привычкам. Личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, вне всяких влияний извне. Поэт прежде всего — человек, потом гражданин своей земли, сын своего времени. ⟨...⟩

Отнимать у искусства право служить общественным интересам — значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит — лишать его самой живой силы, то есть мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкою праздных ленивцев. Это значит даже убивать его, чему доказательством может служить жалкое положе-

ние живописи нашего времени. Как будто не замечая кипящей вокруг него жизни, с закрытыми глазами на все живое, современное, действительное, это искусство ищет вдохновения в отжившем прошедшем, берет оттуда готовые идеалы, к которым люди давно уже охладели, которые никого уже не интересуют, не греют, ни в ком не пробуждают живого сочувствия. ⟨...⟩

Теперь многих увлекает волшебное словцо: «направление»; думают, что все дело в нем, и не понимают, что в сфере искусства, во-первых, никакое направление гроша не стоит без таланта, а во-вторых, самое направление должно быть не в голове только, а прежде всего в сердце, в крови пишущего, прежде всего должно быть чувством, инстинктом, а потом уже, пожалуй, и сознательною мыслию,— что для него, этого направления, так же надобно родиться, как и для самого искусства. Идея, вычитанная или услышанная и, пожалуй, понятая, как должно, но не проведенная через собственную натуру, не получившая отпечатка вашей личности, есть мертвый капитал не только для поэтической, но и всякой литературной деятельности. Как ни списывайте с натуры, как ни сдабривайте ваших списков готовыми идеями и благонамеренными «тенденциями», но если у вас нет поэтического таланта,— списки ваши никому не напомнят своих оригиналов, а идеи и направления останутся общими реторическими местами. ⟨...⟩

В лице писателей натуральной школы русская литература пошла по пути истинному и настоящему, обратилась к самобытным источникам вдохновения и идеалов и через это сделалась и современною и русскою. С этого пути она, кажется, уже не сойдет, потому что это прямой путь к самобытности, к освобождению от всяких чуждых и посторонних влияний. Этим мы отнюдь не хотим сказать, что она всегда останется в том состоянии, как теперь; нет, она будет идти вперед, изменяться, но только никогда уже не оставит быть верною действительности и натуре. Мы нисколько не обольщены ее успехами и вовсе не хотим преувеличивать их. Мы очень хорошо видим, что наша литература и теперь еще на пути стремления, а не достижения, что она только устанавливается, но еще не установилась. Весь успех ее заключается пока в том, что она нашла уже свою настоящую дорогу и больше не ищет ее, но с каждым годом более и более твердым шагом продолжает идти по ней. Теперь у ней нет главы, ее деятели — таланты не первой степени, а между тем она имеет свой характер и уже без помочей идет по настоящей дороге, которую ясно видит сама. ⟨...⟩

А. И. ГЕРЦЕН

1812–1870

Он поднял знамя революции.

В. И. Ленин

19 января 1847 года к станции Черная Грязь на почтовом тракте, ведущем из Москвы в Петербург, где по традиции устраивались проводы отъезжающих, подъехало несколько троек. Был ясный морозный день. Под лучами солнца все вокруг сверкало и искрилось. Но лица приехавших были грустны и печальны: вместе со своей семьей уезжал за границу Александр Иванович Герцен. Правда, никто еще тогда не предполагал, что предстояла вечная разлука, что он уже никогда не вернется в Россию.

Двойственное чувство испытывал Герцен. Он оставлял на родине самое дорогое: здесь прошли его детство и юность, здесь началась его литературная деятельность, здесь оставались его ближайшие друзья — Н. П. Огарев, Т. Н. Грановский, М. С. Щепкин и другие, в кругу которых формировались его общественные и политические убеждения. И вместе с тем Герцен не мог забыть свой арест, годы ссылки, проведенные сначала в Вятке и Владимире, а затем в Новгороде, невозможность открыто говорить и писать о том, что переполняло душу: о самодержавном гнете, царящем в стране, о народных бедствиях, об отсутствии в России элементарных свобод.

Ко времени отъезда Герцен был уже убежденным материалистом и социалистом. Его философские труды «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы», повести «Записки одного молодого человека», «Сорока-воровка», роман «Кто виноват?» снискали ему широкую популярность в кругу передовых русских читателей. Он уезжал за границу полный желания работать на благо своей родины и ее многострадального народа, надеясь использовать для своей революционной деятельности те возможности, которых не было в России.

Первые зарубежные впечатления Герцена нашли отражение в «Письмах из Avenue Marigny»*, опубликован-

* Улица Мариньи *(франц.)*.

ных в «Современнике». Это было единственное произведение, написанное за границей, которое он сумел опубликовать на родине. Лишь много лет спустя (в 1869 году) ему удалось напечатать в газете «Неделя» цикл очерков «Скуки ради», скрыв свое имя под псевдонимом «Нионский».

Покидая Россию, Герцен не знал, что вся его дальнейшая общественно-политическая и литературная деятельность пройдет вдали от родины. Впереди его ожидали «духовный крах» и «глубокий скептицизм и пессимизм» (В. И. Ленин), вызванный поражением революции 1848 года, тяжелая семейная драма, активная революционная и публицистическая деятельность, организация в Лондоне Вольной русской типографии, издание журнала «Полярная звезда» и газеты «Колокол», вставшей «горой за освобождение крестьян» (В. И. Ленин), создание величайшего произведения русской литературы «Былое и думы».

Широка и многогранна была деятельность Герцена. Он был пламенным революционером и выдающимся общественным деятелем, всю жизнь боровшимся с самодержавием, замечательным философом, во многом развившим и углубившим материалистическую философию, талантливым писателем, создавшим высокохудожественные произведения, глубоким и наблюдательным критиком, отстаивавшим принципы реалистического искусства, пронизанного идеями общественного служения, великолепным публицистом, свыше двадцати лет обличавшим в своих статьях несправедливость социальных отношений, выступавшим против всех форм угнетения, насилия и произвола.

О чем бы ни писал Герцен, его никогда не оставляла мысль о России, которую он бесконечно и преданно любил.

Сложен и порой противоречив был путь идейных исканий Герцена. Иной раз он допускал либеральные колебания, но, по словам В. И. Ленина, «при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же в нем брал верх», а в 1860-е годы «он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма. Он боролся за победу народа над царизмом... Он поднял знамя революции» *.

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 261.

Письма из Avenue Marigny

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Париж, 15 сентября 1847 г.

⟨...⟩ Как спокойно и весело жить где-нибудь — в Неаполе, например,— куда не проникает всякое утро серая стая журналов всех величин, всех цветов, с отравляющим запахом голландской сажи и гнилой бумаги, с грозным premier-Paris * в начале и с крупными объявлениями в конце,— стая влажная, мокрая, как будто кровь событий не обсохла еще на ее губах, саранча, поедающая происшествия прежде, нежели они успеют созреть,— ветошники и мародеры, идущие шаг за шагом по следам большой армии исторического движения.

В Неаполе журналы ясны, как вечноголубое небо Италии, они на своих чуть не розовых листиках приносят новости успокоительные, улыбающиеся — весть о прекрасном урожае, об удивительном празднике на такой-то вилле, у такой-то дукецци, на которой месяц светил сверху, а волны Средиземного моря плескали сбоку... Не лучше ли в милом неведении сердца верить в аркадские нравы на земле, в кроткое счастие лаццарона, в официальную нравственность и людское бескорыстие? Зачем, когда так много прекрасного в божием мире,— зачем знать, что в нем есть бешеные собаки, злые люди, тифоидные горячки, горькое масло и поддельное шампанское?

Все журналы виноваты! Зачем всякий вздор доводить до общего сведения?

Я вам рассказывал, как один поврежденный доктор [1] принимал журналы за бюллетени сумасшедших домов; это был человек отсталый, теперь журналы — бюллетени смирительных домов и галер.

В самом деле, Франция ни в какое время не падала так глубоко в нравственном отношении, как теперь. Она больна. Это чувствуют все, Гизо [2] и Прудон [3], префект полиции и Виктор Консидеран [4].

---

* Передовой статьей парижских газет *(франц.)*.

Настоящим положением Франции — все недовольны, кроме записной буржуазии, да и та боится вперед заглядывать. Чем недовольны, знают многие, чем поправить и как — почти никто; ни даже социалисты, люди дальнего идеала, едва виднеющегося в будущем.

Ни журнальная, ни парламентская оппозиция не знают ни истинного смысла недуга, ни действительных лекарств; оттого-то она и остается в постоянном меньшинстве; у нее истинно только живое чувство негодования, и в этом она права: сознание зла необходимо для того, чтоб рано или поздно отделаться от него.

Обвинение, всего чаще повторяемое и совершенно верное, состоит в том, что с некоторого времени материальные интересы подавили собой все другие; что идеи, слова, потрясавшие так недавно людей и массы, заставлявшие их покидать дом, семью, для того чтобы взять оружие и идти на защиту своей святыни и на низвержение враждебных кумиров,— потеряли свою магнетическую силу и повторяются теперь по привычке, из учтивости, как призвание Олимпа и муз у поэтов или как слово «бог» у деистов.

Вместо «благородных» идей и «возвышенных» целей рычаг, приводящий все в движение,— деньги. Там, где были прения о неотъемлемых правах человека, о государственной политике, о патриотизме,— занимаются теперь одной политической экономией.

В самом деле, вопрос о материальном благосостоянии на первом плане. Удивительного тут нет ничего. Как же, наконец, не признать важность вопроса, от разрешения которого зависит не только насущный хлеб большинства, но и его цивилизация? Нет образования при голоде; чернь будет чернью до тех пор, пока не выработает себе пищу и досуг.

Страны, которые уже перешли мифические, патриархальные и героические возрасты, которые довольно сложились, довольно приобрели, которые пережили юношеский период отвлеченных увлечений, прошли азбуку гражданственности, естественно должны были обратиться к тому существенному вопросу, от которого зависит вся будущность народов. Но вопрос этот страшно труден, его не решишь громким словом, пестрым знаменем, энергическим кликом. Это самый внутренний, самый глубокий, самый жизненный, существенный и по преимуществу практический вопрос общественного устройства. ⟨...⟩

Считать чем-то подчиненным и грубым стремление к развитию повсюдного довольства, стремление вырвать у слепой случайности и у наследников насилия орудия труда и скопившиеся силы, привесть ценность труда, обладание и обращение богатств к разумным началам, к общим и современным правилам, снять все плотины, мешающие обмену и движению,— считать все это материализмом, эгоизмом могут одни закоснелые романтики и идеалисты. По счастию, в наше время выводятся эти высшие натуры, боявшиеся замараться о практические вопросы, бегавшие в мир мечтаний от действительного мира... хотя я еще своими ушами слышал от одного из лучших представителей романтизма: «Вы полагаете, что с развитием довольства народ будет лучше, это ошибка,— он забудет религию и отдастся грубым желаниям. Что может быть чище и независимее от земных благ, как жизнь поселянина, который, кротко вверяясь провидению, бросает все свое достояние в землю, смиренно ожидая, чем это его благословит судьба? Бедность — великая школа для души, она хранит ее».— «И образует воров»,— добавил я.

Эту идиллию говорила не пятнадцатилетняя девочка, а человек лет под пятьдесят.

Все несчастие прошлых переворотов состояло именно в опущении экономической стороны, которая тогда еще не была настолько зрела, чтоб занять свое место. Тут одна из причин, почему великие слова и идеи остались словами и идеями и — что хуже того — надоели. Романтики, гордо улыбаясь, возражают, что величайшие исторические события нисколько не зависели от большей или меньшей степени сытости и материального благосостояния, что крестоносцы не думали о приобретениях, что голодная и босая армия победила Италию [5].— Да оттого-то, между прочим, и немного вышло из всех этих войн и передряг. Европа, после трех столетий гражданского и всяческого развития, дошла только до того, что в ней *лучше*, нежели там, где этого развития не было: она после стольких переворотов и опустошений стоит еще теперь при начале своего дела.

Поэтическими интересами, увлечениями вряд поднимете ли теперь взрослые народы — Англию или Северную Америку. Это следствие лет; нельзя же всю жизнь быть юношей, бретером, горячей головой. Революция — я говорю о настоящей, а не о последней (1830) со всею своей обстановкой от величественной introduzione * до героиче-

ской симфонии, оканчивающейся стоном под Ватерлоо, заключает собою романтическую часть истории гражданских обществ в Европе. Сколько событий, крови, великого было в этом финале, какой разгром, какая перемена пределов, условий жизни, обычаев, верований — и что же вышло, выстроилось, осталось, кроме легенды и песней? Сама буржуазия на днях произнесла в своем дворце страшные данииловские слова: «Rien, rien, rien!»**

Франция, заметив эту пустоту, ринулась в другую сторону, ударилась в противоположную крайность — экономические вопросы убили все остальные.

Люди мыслящие первые отдались им и, как всегда бывает, увлекли с собой людей ограниченных, которые всякую истину доводят до нелепости, до цинизма, особенно такое близкое душе и соизмеримое учение, как учение о развитии материального благосостояния. Медаль перевернулась. Прежде слова без ясного понимания, без определенного содержания, полные фанатизма, увлечения,— вели людей, основываясь на высоком предчувствии, на глубоко человеческой симпатии ко всему великому, и люди охотно жертвовали идеям и общим принципам материальными делами, жизнью. Теперь, после бесплодных жертв, после долгих несчастий, люди увидели важность этих благ и предались одному экономическому вопросу. Разумеется, не многие умели поднять его в ту высокую и общую сферу, на которую он имеет право и вне которой его значение односторонно и бедно. Печальное недоразумение состояло в том, что не поняли круговой поруки, взаимной необходимости обеих сторон жизни. Политическая экономия, именно вследствие своей исключительности, при всей видимой практичности, явилась отвлеченной наукой богатства и развития средств, она рассматривала людей как производительную живую силу, как органическую машину; для нее общество — фабрика, государство — рынок, место сбыта; она в качестве механика старалась об употреблении наименьшей силы для получения наибольшего результата, о раскрытии законов увеличения богатств. Она шла от принятых данных, она брала *политический* факт (*эмбриогенический,* если хотите) современного общественного устройства — за нормальный; отправлялась от того распределения богатства и орудий, на котором захватила

---

* Вступление *(франц.).*

** «Ничего, ничего, ничего!» [6] *(франц.)*

государства. До человека собственно ей не было и дела, она занималась им по мере его производительности, равно оставляя без внимания того, который не производит за недостатком орудий, и того, который лениво тратит капитал. В такой форме наука о богатстве, основанная на правиле «имущему дастся», могла иметь успех в мире торговли и купечества; но для неимущих такая наука не представляла больших прелестей. Для них — напротив — вопрос о материальном благосостоянии был неразрывен с критикой тех данных, на которых основывалась политическая экономия и которые явным образом были причиною их бедности.

Несколько энергических, сильных, юных умов, глубоко сочувствуя с несчастным положением пролетариев, поняли невозможность исторгнуть их из жалкого и грубого состояния, не обеспечив им насущного хлеба.

Они обратились тоже к политической экономии.

Но какой ответ, какое наставление могли они найти в науке, последовательно говорившей неимущему «не женись, не имей детей, поезжай в Америку, работай 12, 14 часов в сутки, или ты умрешь с голоду!» К этим советам человеколюбивая наука прибавляла поэтическую сентенцию, что не все приглашены природой на пир жизни[7], и злую иронию, что вольному воля, что нищий пользуется *теми* же гражданскими правами, как Ротшильд.

Они увидели, что сытый голодному не товарищ, и бросили старую, безжалостную науку.

Критика — сила нашего века, наше торжество и наш предел. Политическая экономия, в ее ограниченно доктринерской и мещанской форме, была разбита, место расчищено, но что же было поставить вместо ее? Все то, что ставила она, казалось, было неуклюже. Видя это, критика свирепела еще больше.

Но критика и сомнение — не народны. Народ требует готового учения, верования, ему нужна догматика, определенная мета. Люди, сильные на критику, были слабы на создание, народ слушал их, но качал головой и чего-то все доискивался.

Во всех новых утопиях было много разъедающего ума и мало творческой фантазии.

Народы слишком поэты и дети, чтоб увлекаться отвлеченными мыслями и чисто экономическими теориями. Они живут несравненно больше сердцем и привычкой, нежели

умом,— сверх того, из-за нищеты и тяжкой работы так же трудно ясно видеть вещи, как из-за богатства и ленивого пресыщения.

Попытки нового хозяйственного устройства одна за другой выходили на свет и разбивались об чугунную крепость привычек, предрассудков, фактических стародавностей, фантастических преданий. Они были сами по себе полны желанием общего блага, полны любви и веры, полны нравственности и преданности, но не знали, как навести мосты из всеобщности в действительную жизнь, из стремления в приложение.

И не странно ли, что человек, освобожденный новой наукой от нищеты и от несправедливого стяжания,— все же не делался свободным человеком, а как-то затерялся в общине? Хоть это лучше, нежели человек-машина, человек-снаряд, но все же оно тесно, неудовлетворительно. Понять всю ширину и действительность, понять всю святость прав личности и не разрушить, не раздробить на атомы общество — самая трудная социальная задача. Ее разрешит, вероятно, сама история для будущего, в прошедшем она никогда не была разрешена.

Новое учение продолжало борьбу со старым не в народных движениях, не переворотами — но в мире литературно образованном. Старая наука, вовлеченная в злую полемику, не была в авантаже. Умы свежие, деятельные, сочувствующие с веком, оставляли ее, одни — по убеждению в истине новых учений, другие — видя недостаточность прежних.

Старая наука вскоре увидела опасность.

У нее было много поклонников, она была государственная, официальная, мещанская наука. Жадная и скупая посредственность ухватилась за прежнюю политическую экономию. Неглубокая сама по себе, наука Мальтюса[8] и Сея[9] измельчала, выродилась в торговую смышленость, в искусство с наименьшей тратой капитала производить наибольшее число произведений и обеспечивать им наивыгоднейший сбыт. Наука дала им в руки кистень, который бьет обоими концами бедного потребителя: в одну сторону уменьшением платы, в другую поднятием цен на произведения.

Во время Реставрации, когда социальные идеи были чистой мечтой ⟨...⟩ — буржуазия либеральничала с своей политической экономией — да и как ей было не либеральничать? Все перевороты, все несчастия Франции принесли плоды только среднему состоянию.

Июльская революция испугала ее — республикой. Она тотчас нашла своего мещанина-короля. Но когда проповеди улицы Менильмонтань[10] стали комментироваться лионскими и парижскими работниками, когда страшная хоругвь с надписью «Vivre en travaillant ou mourir en combattant!»* мрачно прогулялась по площади, когда все это вместе грозило испортить хозяйство и спутать приходно-расходные книги, буржуазия разом отреклась от всего либерального, кроме кукольной комедии представительной камеры, представляющей опять ее же самое. Перемену эту в поведении буржуазия сделала с наглостью, она прямо и открыто стала за монополь, за премию, которую она вырывает из рук работника капиталом.

Эксплуатация пролетария была приведена в систему, окружена всею правительственной силой, нажива делалась страстью, религией,— жизнь сведена на средство чеканить монету, государство, суд, войско — на средство беречь собственность.

За римским распутством шло монашеское христианство, за мистицизмом и изуверством — кощунство и скептицизм, за идеализмом — материализм, за террором — Наполеон, за *бессребренной* Горой[11], за мечтательной Жирондой[12] — алчная, стяжающая буржуазия,— это lex talionis** истории, наказание за прошлую односторонность. Пренебрежение к экономическим вопросам в прошлую эпоху и исключительное занятие политическими — вызвало пренебрежение к политике и поглотило государственной экономиею — все остальные интересы.

Революционеры первой революции — идеалисты-художники. Мещане с самого появления представляют прозу жизни, домохозяина больше, нежели гражданина,— домохозяина, занимающегося частными делами, строящего фабрики, а не церкви. Либералы-идеалисты толковали о самоотвержении и презирали на словах, а иногда и на самом деле — пользу; они любили «славу» и не занимались рентой. Буржуазия исключительно занимается рентой, смеется над самоотвержением и хлопочет только о пользе. Те приносили выгоду на жертву идеям, буржуазия принесла идеи на жертву выгодам. Те лили кровь за права — буржуазия теряет права, но бережет кровь. Она эгоисти-

---

* «Жить работая или умереть сражаясь!» *(франц.)*

** Закон возмездия *(лат.)*.

чески труслива и может подняться до геройства только защищая собственность, рост, барыш.

Между тем со дна океана народной жизни поднимался тихо, но мощно тот же экономический вопрос, но *обратно* поставленный, та же замена революционного идеализма вопросом о хлебе, но со стороны неимущего.

Борьба была очевидна, неминуема, характер ее можно предсказать. Голодный человек свиреп, но и мещанин, защищающий собственность,— свиреп. Надежда у буржуазии одна — невежество масс. Надежда большая, но ненависть и зависть, месть и долгое страдание образуют быстрее, нежели думают. Может, массы долго не поймут, чем помочь своей беде, но они поймут, чем вырвать из рук несправедливые права, не для того, чтоб воспользоваться, а чтоб разбить их, не для того, чтоб обогатиться, а чтоб пустить других по миру. ⟨...⟩

Буржуазия не поступится ни одним из своих монополий и привилегий. У нее одна религия — собственность со всеми ее римско-феодальными последствиями. Тут фанатизм и корысть вместе, тут ограниченность и эгоизм, тут алчность и семейная любовь вместе. ⟨...⟩

Оппозиция Людовику XVIII[13] и Карлу X[14] спасала буржуазию от того односторонно-ограниченного pli *, которое она приняла теперь. Она покрывала неправое стяжание борьбой за права.

Народ сначала не замечал, какой монополь в руках буржуазии, видя в ней защитника этих мнимых, а в сущности бесполезных для него прав; но страсть, с которой буржуазия предавалась стяжанию и ажиотажу, пренебрежение ко всем другим вопросам, ожесточение ее против неимущих — не могли не раскрыть глаза народу, особенно когда за него принялись такие офталмисты, как Сен-Симон[15], Фурье[16], Прудон и пр.

Борьба началась; кто победит, не трудно предсказать: рано или поздно, per fas et nefas **, *победит* новое начало. Таков путь истории. Вопрос тут не в праве, не в справедливости — а в силе и в современности.

Дворянство имело не меньше прав на свое исключительное положение в государстве, нежели буржуазия, но оно не удержалось ни мечом, ни родословием, ни королевской опорой; королевство стащило его с собой на place de Révolu-

---

* Склада *(франц.)*.

** Правдами и неправдами *(лат.)*.

tion *, и оно принуждено было спасаться бегством [17].

Где же буржуазия найдет силу, со своим crédit et débit **, с своей биржей и банком, с своим политическим атеизмом — в одну сторону и религией монополя — в другую сторону? Короли царствовали во имя божье, дворяне защищали государство во имя короля. Мещане обогащаются в *свое* имя, берут себе барыши, заставляя короля защищать свои капиталы детьми стариков, которых ограбили и разорили. ⟨...⟩

---

* Площадь Революции *(франц.)*.

** Расход и приход *(лат.)*.

Н. А. НЕКРАСОВ

1821–1878

Был идеальным редактором и издателем.

М. А. Антонович

Когда после обучения в Ярославской гимназии молодой Некрасов приехал в Петербург, он и не предполагал, что через несколько лет его имя будет известно всей России, что он станет не только выдающимся русским поэтом, но и одним из главных организаторов литературных сил своего времени. Он мечтал лишь об одном — учиться и писать стихи.

Сурово и неприветливо встретила столица романтически настроенного юношу. «Я был один-одинешенек в огромном городе, наполненном полумиллионом людей, которым решительно не было до меня никакой нужды», — писал Некрасов в автобиографическом романе «Жизнь и приключения Тихона Тростникова».

В университет, куда так стремился Некрасов, поступить не удалось — слишком скудными оказались знания, полученные в гимназии. Несколько стихотворений, напечатанных в разных журналах, не принесли ему ни известности, ни средств к существованию. Началась жизнь, полная нужды и лишений. Позднее Николай Алексеевич Некрасов рассказывал, что «бывали тогда такие тяжелые для него месяцы, что он ежедневно отправлялся на Сенную площадь и там за 5 копеек или за кусок белого хлеба писал крестьянам письма, прошения, а в случае неудачи на площади отправлялся в казначейство, чтобы расписываться за неграмотных и получить за это несколько копеек».

Но жизненные невзгоды не сломили Некрасова. Даже неудача первого его поэтического сборника «Мечты и звуки», вышедшего в 1840 году, не обескуражила поэта. Он понимал, что ему ничего не остается делать, как только работать. Работать не покладая рук, работать, чтобы заявить о себе в литературе, и, наконец, работать, чтобы не умереть с голоду. «Господи! сколько я работал! Уму не-

постижимо: сколько я работал»,— вспоминал Некрасов позднее.

Что только не писал он в те годы: рассказы и повести, пьесы и водевили, критические статьи и рецензии, азбуки и сказки. И уже тогда Некрасов много внимания уделял публицистике. В своих стихотворных и прозаических фельетонах, написанных в острой сатирической манере, Некрасов откликался на события литературной и общественной жизни, обличал неприглядные стороны русской действительности, лихоимство и взяточничество чиновников, неблаговидные дела всякого рода дельцов и проходимцев. Некрасову-публицисту было свойственно умение мгновенно схватывать и оценивать суть события, освещать его наиболее существенные и характерные стороны. В качестве публициста поэт выступал преимущественно в 40-х и в начале 50-х годов. Но и позднее публицистический элемент отчетливо проявлялся во многих его произведениях.

В 1842 году произошло событие, которое явилось поворотным в жизни Некрасова,— он познакомился с В. Г. Белинским, который принял самое горячее участие в судьбе молодого литератора. Критик угадал в Некрасове незаурядного человека, всячески способствовал развитию его таланта, приобщил начинающего поэта к интересам, которыми жила в те годы лучшая часть русской интеллигенции, помог ему подняться до уровня передового и просвещенного деятеля.

В середине 1840-х годов началась активная деятельность Некрасова как издателя и редактора. Поэт оказался прекрасным организатором. Он почувствовал, что пришло время сплотить ряды передовых русских литераторов на единой идейной и художественной платформе. Первым опытом Некрасова в этом направлении являлось издание двух альманахов — «Физиология Петербурга» (1844—1845) и «Петербургский сборник» (1846). А с 1847 года Некрасов возглавил журнал «Современник», вскоре ставший центром передовой русской литературы и общественной мысли.

По словам Антоновича, «Некрасов был идеальным редактором и издателем». Принципиальность, тонкое критическое чутье, умение подбирать сотрудников, создавать им благоприятные условия для работы, направлять их деятельность в нужное русло — вот наиболее характерные черты деятельности Некрасова-редактора.

В редактируемых им журналах (сначала в «Современнике», а потом в «Отечественных записках») Некрасов вел поистине титаническую работу. Вспоминая свою деятельность на посту редактора «Современника», Некрасов писал Салтыкову-Щедрину: «Вся, так сказать, черновая работа по журналу, чтение и исправление рукописей, а также и добывание их, чтение корректур, объяснение с цензорами, восстановление смысла и связи в статьях...— лежали на мне, да я еще писал рецензии и фельетоны».

Такую же огромную работу Некрасов продолжал вести и позднее в «Отечественных записках». И это приносило свои плоды. Журналы, редактируемые Некрасовым, были лучшими печатными органами своего времени, и их авторитет был чрезвычайно высок. Любой литератор считал для себя величайшей честью увидеть свое имя на их страницах. «Быть сотрудником журнала, редактируемого Вами,— писал Некрасову известный поэт А. Н. Плещеев,— я считаю не только за особенное удовольствие, но и за честь».

Современники писали об удивительной способности Некрасова не теряться даже в самых затруднительных обстоятельствах, об его проницательности и наблюдательности, доброжелательности и внимании ко всем, кто к нему обращался. Он всегда был готов прийти на помощь нуждающимся, будь то крестьянин, у которого пала лошадь, или терпящий нужду начинающий литератор. Для каждого у него находились не только добрые слова утешения, но и материальная поддержка.

Еще при жизни Некрасова вокруг его творчества и журнальной деятельности велись ожесточенные споры. Реакционная и либеральная критика обвиняла поэта в неискренности, в стремлении потакать и угождать «толпе». О нем говорили и писали как о человеке, преследующем только свои личные выгоды, склонном к компромиссам и даже к ренегатству.

Действительно, порой Некрасов, по словам В. И. Ленина, «грешил нотками либерального угодничества, но сам же горько оплакивал свои «грехи» и *публично* каялся в них.

Не торговал я лирой, но бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука...

«Неверный звук» — вот как называл сам Некрасов свои либерально-угоднические грехи» *.

«Грехи» Некрасова можно если не оправдать, то объяснить. Они были вызваны желанием поэта отвести удары и преследования, которым беспрестанно подвергался «Современник», спасти его от закрытия. И наверное, никто и никогда так горько не переживал «неверные звуки» своей лиры, как сам Некрасов. Он искренне раскаивался в своих ошибках, о чем свидетельствуют такие его стихотворения, как «Рыцарь на час», «Ликует враг...» и другие.

Что враги? Пусть клевещут язвительней,
Я пощады у них не прошу,
Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу!

Но, несмотря на отдельные ошибки и промахи, Некрасов всегда оставался убежденным демократом. Его деятельность как поэта, общественного деятеля и журналиста высоко ценили революционеры-демократы В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов. Узнав о болезни Некрасова, Чернышевский писал из далекой сибирской ссылки своему двоюродному брату А. Н. Пыпину: «...Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет дышать, скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за его доброе расположение ко мне, что целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему — гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов».

Заметки о журналах за июль месяц 1855 года

Читатель, вопреки вашим постоянным фельетонистам, которые каждый месяц указывают вам на столько «замечательных, прекрасных, счастливых по мысли, блестящих по

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 22, с. 84.

изложению» литературных произведений и только скорбят об опечатках или посмеиваются время от времени над неудачными дебютами новичков,— вопреки этим фельетонистам, мы не слишком высокого мнения о современной русской литературе. (Спешим оговориться, что под словом «литература» мы разумеем на этот раз преимущественно беллетристику и то, что присоединяют к ней журналы, взявшие на себя поставку чтения на русскую публику.) Так как нам довелось говорить с вами о русской литературе (не знаем, надолго ли,— может быть, даже не более как на один этот месяц), то мы сочли долгом прежде всего объявить вам наш образ мыслей на этот счет, ибо без откровенности, по нашему мнению, нет беседы, по крайней мере такой, плодом которой бывает какая-нибудь мысль, а не простое убийство времени. Итак, послушайте, в чем дело. Не перебранка журналов, не избыток опечаток и других мелочных погрешностей печалит нас в теперешней литературе,— мы недовольны ее физиономией, ее характером. Не то, чтоб она была скучна или бедна дарованиями,— нет! мы скорбим о том, что она в последнее время измельчала. Переберите в памяти произведения новейших писателей, вдумайтесь в характер ежемесячно пробегаемых вами критик, рецензий, фельетонов,— и вы, может быть, согласитесь с нами. Все это нередко пишется с дарованием, не без такта, иногда даже с искусством, все это *легко читается* (и забывается) людьми, пожившими в свете, искушенными опытом и несколько охлажденными,— но что могут дать все эти повести, рецензии, фельетоны молодым и горячим юношам, только что начинающим жить и читать, которые видят в книге, в журнале совсем не то, что видим теперь мы; которые, подобно нам, читают все эти повести и фельетоны, но не так скоро забывают их, как забываем мы? Вспомните, какое впечатление производили на вас книги в лета отрочества и юности и скольким вы сами обязаны книгам,— и вы, может быть, разделите с нами боязнь, что теперешней литературе готовится в будущем тяжкий и справедливый упрек. Кто не знает и не повторяет, что русская литература с давних времен шла всегда впереди общества, отличалась постоянно, так сказать, характером воспитательным? Имена ее благородных тружеников, начиная с Кантемира и Ломоносова до недавних честных деятелей [1] — славных и обойденных почему-либо славой, сошедших в могилу на наших глазах,— эти имена навсегда завоевали себе видное место в истории русского просвеще-

ния. Иных она уже вписала на свои страницы, другие, ранее или позднее, но непременно и неизбежно впишет. И каждый доныне литературный период ознаменован такими именами... Но мы желали бы спросить: что представляет собою литература настоящей минуты с точки зрения, как мы выразились, воспитательной? Не совсем приятно отвечать на этот вопрос. Известно, что русское общество в своих наиболее развитых представителях начала с некоторого времени усваивать себе характер так называемой положительности в отличие тому романтическому настроению, которым отличалось оно еще в не весьма давние времена. На последнем, сменяющем нас поколении этот характер лег довольно резко. Кто не встречал теперь в обществе людей молодых, умных, образованных, в высшей степени приличных, для которых (в двадцать пять лет с небольшим), по-видимому, решены уже все вопросы жизни, которые говорят всегда умно, и никогда глупо, касаясь до всего слегка, не возмущаются никаким злом, сознавая (не без похвальной и интересной грусти), что оно неизбежно и неисправимо, которые с готовностию (несколько холодноватой) отдают справедливость всякому доброму делу, но сами не увлекаются никакими страстями, посмеиваясь (впрочем, умеренно и с тактом) над всяким чувством, над увлечением, и проч. и проч... Кто не встречал в последнее время таких молодых людей? кто не заметил, как эти люди благоразумны во всех случаях жизни, как шаги их по пути ее тверды и верны! Если в чем можно упрекнуть этих мудрецов, так разве в одном, что с ними очень скучно; но и это, пожалуй, можно объяснить их скрытностью, следствием разумного охлаждения, а в остальном приходится только дивиться тому, где, каким образом, через какую долгую и тяжкую борьбу выработали они себе такое уменье побеждать страсти, такую силу души, такую мудрость... Увы! тут нет ни победы над страстями, тут нет ни силы, ни мудрости, и — что всего замечательнее — тут нет и *не было никакой борьбы*... Что же это такое? Нам некогда входить в подробности, и потому тем, кто хочет познакомиться с этим типом новейших молодых людей, которых особенно много развелось теперь в Петербурге, напомним повесть г. Тургенева «Затишье» и одно из действующих лиц в ней — Владимира Сергеича Астахова, и поспешим окончить эти общие замечания. Мы боимся, что если б нужно было олицетворить настоящую русскую литературу, то при всех ее прекрасных достоинствах пришлось бы

нарисовать нечто вроде сейчас описанного нами молодого человека... и вот почему мы не в восторге от нее. Равнодушие, все терпящая или холодно насмешливая апатия, участие в явлениях жизни и действительности какое-то полупрезрительное и бессильное — это качества не очень почтенные и в отдельной личности, а в целой литературе господство их было бы чем-то сокрушительным в высшей степени. Утешаем себя мыслию, что до этого еще не дошла наша литература, но, повторяем, она не нравится нам именно с точки зрения впечатления, которое должна производить на всякое молодое, свежее, восприимчивое сердце (а ведь это главное, ибо для людей, искушенных жизнию, книги последнее дело; на них не книги действуют, а разве события, да и то лишь тогда, когда гроза и сила их восходит на степень совершающихся, например, ныне)[2]... И тем прискорбнее сказанный недостаток, что наша литература далеко не бедна дарованиями: в сию минуту в ней есть несколько превосходных талантов... Впрочем, пожелаем им больше энергии (некоторым также должно пожелать и побольше образования и соответствующего таланту развития сердца и других человеческих сторон)[3], и да исчезнет навсегда (характеризующая новейшие дарования) какая-то *сдержанность*, или, вернее, *осторожность, робость*, может быть, недостаток веры в собственный ум и сердце — печальное качество, парализующее деятельность даже лучших и благороднейших наших дарований. В заключение оговоримся, что не всех писателей поголовно обвиняем мы в недостатке, который признаем за настоящей литературой: нет, в числе их некоторые светло понимают свое призвание, и им-то обязана наша литература тем, что ее нельзя упрекнуть *безусловно* в уклонении от своего настоящего, прекрасного и благородного назначения. Нет надобности называть имена этих «некоторых». Публика награждает их не только вниманием к их произведениям, но и *любовию* к ним самим. Нельзя, однако ж, не сказать, что эти симпатичные личности в настоящей нашей литературе наперечет. Пошлем же мы им из глубины души наш искренний и горячий привет, позабыв все личные отношения, вражду, мелкие расчеты корысти и самолюбия, и пожелаем, чтоб число таких деятелей с каждым днем у нас возрастало.

Теперь мы можем перейти к журналам.

С точки зрения, сейчас высказанной, очень порадовала нас страничка, которую нашли мы в июльском томе

«Библиотеки для чтения», по поводу компиляции г. Лукина[4] «Об опеке и попечительстве». Просим читателей прочесть эту страничку:

«...Читатель думает, кажется, что об этом предмете напиши что хочешь, все-таки книга выйдет скучная? Я не поклонник скучных книг и менее, нежели кого-нибудь, расположен защищать скучные предметы, но в настоящем случае не могу согласиться с читателем. Скучно то, что пусто, что мелочно, в чем нет ни смысла, ни человеческого значения: скучно ничего не делать по утрам, играть в карты по вечерам, ездить в гости к соседу, с которым у нас нет ничего общего, кроме разговора о погоде, скучно не иметь в жизни человеческого интереса, скучно растратить свою жизнь на мелочи, на пустяки, на вздор; но прочесть книгу, в которой изложены наши обязанности в отношении к обществу, не должно быть и не может быть скучно для благородного человека. Конечно, многие считают самым скучным и несносным делом принять на себя опеку или попечительство над несовершеннолетним или несчастным, лишенным умственных способностей; многие радуются, когда им бывает можно уклониться от принятия на себя этой тяжелой, по их мнению, обязанности, но мы смеем думать, что подобное уклонение не может быть оправдано ни разумом, ни нравственностью. Если каждый член общества гражданского подумает о том, чем он обязан обществу, если вспомнит те блага, которыми он пользуется в обществе и которые вне общества решительно невозможны, то сомневаемся, чтоб нашелся такой человек, у которого достало бы духу отказаться от пожертвования, по призыву общества, частью своего времени, своих трудов, своего ума на пользу тех из младших, слабых его братий, у которых еще нет ни довольно сил физических, ни довольно сил умственных и нравственных, чтоб жить независимо, своею волею и своею головой. Надо быть слишком глубоким, слишком развращенным и ожесточенным эгоистом, чтоб думать, что общество должно делать все для нас, а мы для него ничего, что мы одни только цель, а все прочее — средство. Встречаются, конечно, такие уродливые личности, но явление их неестественно, на них указывают пальцами, о них говорят с омерзением[5]. ⟨...⟩

Если кому-нибудь из нас хоть когда-нибудь, хоть случайно, хоть раз в жизни удалось прожить несколько минут для других, позабыв о себе, то пусть он вспомнит, каким чистым, живым и благородным наслаждением прониклось вдруг все его существо, как он был счастлив! А был он счастлив потому, что исполнил свое назначение, что удовлетворил высшим требованиям своей натуры, ибо только при этих условиях можно быть счастливым. Одно из таких требований для всякого человека заключается в том, чтоб он сделал что-нибудь для своих ближних, для своих сограждан, чтоб он оставил по себе что-нибудь достойное доброй памяти; но если мы не можем оставить своим согражданам ни великого государ-

ственного подвига, ни славного художественного произведения, ни бессмертного литературного труда, потому что не дано нам для этого достаточно средств и силы, то все-таки мы можем... оставить по себе, на память, доброе христианское дело, мы можем, приняв на свое попечение бесприютную сироту, образовать его умственно и нравственно, охранить его достояние, сделать его честным гражданином. Итак, не скучное и не несносное положение быть опекуном малолетнего; так, не лишнее знать предписания закона об обязанностях опекуна...»

Вот голос, какого мы давно не слыхали в наших рецензиях и фельетонах и который желали бы слышать в них как можно чаще! Тут нет ничего нового, ни особенно хорошо сказанного, но тут есть истина поважнее той, что петербургское лето похоже на южную осень,— истина, многими забытая, а иным сроду не приходившая и в голову, которую не худо каждому знать и помнить,— тут есть содержание подельнее обыкновенного фельетонного содержания. Кто бы ни был автор приведенных строк, даровит или не даровит окажется он впоследствии,— мы рекомендуем его настоящую рецензию в образец нашим фельетонистам и рецензентам, вечно нуждающимся в материале для своих статеек. Вот о чем могут и должны говорить люди, принимающие на себя постоянное посредничество между литературою и публикою.

Учите нас быть лучшими, чем мы есть; укореняйте в нас уважение к доброму и прекрасному, не потворствуйте вторгающейся в общество апатии к явлениям сомнительным или и вовсе презренным, но обнажайте и преследуйте подобные явления во имя правды, совести и человеческого достоинства; растолковывайте нам наши обязанности человеческие и гражданские,— мы еще так смутно их понимаем; распространяйте в большинстве массу здравых, дельных и благородных понятий,— и вам будет прощен недостаток таланта. «Таланты от бога»,— говорит пословица, и, может быть, читатель не вправе требовать таланта от всякого журнального рецензента или фельетониста, но он вправе надеяться, что встретит в каждом журнальном деятеле человека, благородно мыслящего и чувствующего.

Журналист, легкомысленно вручающий перо для постоянной беседы с публикою через газету или журнал человеку шаткому в убеждениях, скептическому, вообще ничтожному по своим моральным качествам, рискует за-

служить не совсем лестное мнение общества, с которым обходится так бесцеремонно. ⟨...⟩

Затем в VII нумере «Библиотеки для чтения» есть стихи, но между ними нет замечательных. ⟨...⟩

Лучшая статья в этом нумере «Отечественных записок» принадлежит г-ну Кудрявцеву[6]. Она составляет продолжение статей его о Данте, начатых в майской книге. Нам показалась эта вторая статья несравненно лучше первой. ⟨...⟩ При всем нашем уважении к ученому, трудолюбивому и даровитому автору, мы с сожалением должны заметить, что первая статья его о Данте, относительно отчетливости в изложении, далеко уступает второй. Конечно, борьба германских императоров с папами составляет такую громадную картину, которую почти невозможно сжать в одну журнальную статью, но зато журнальная статья требует не подробностей этой великой борьбы, а определения ее начал, ее существенных причин, ее преобладающих характеров,— так, чтобы для русского читателя ясно было, из чего возникла, разгоралась и кипела эта борьба и почему итальянские политические интересы так разделены были между папским престолом и германским императором. Нам, пожалуй, заметят на это, что мы хлопочем о вещах общеизвестных; так, но кому известных? Уж, конечно, не массе русских читателей, которую собственно и должна иметь в виду ученая статья в журнале. Вот эту-то любовь к просвещению русских читателей, к популярному разъяснению им результатов, выработанных наукою, мы желали бы видеть в ученых статьях, помещаемых в наших литературных журналах. К несчастию, в этом отношении наши ученые статьи подражают большею частию своим первообразам — немецким ученым статьям, вовсе не обращая внимания на огромное различие немецкой читающей публики от русской. Вероятно, к этой же причине должно отнести и ту неправильность в языке и изложении, которой отличаются большею частию ученые статьи в наших журналах.

Да, любезные читатели, вы, может быть, не поверите мне, но я еще очень живо помню время,— этому лет пятнадцать только,— когда вид русского литературного журнала возбуждал в некоторых русских ученых улыбку презрения.

С схоластическим величием смотрел ученый на популяризацию науки. Взгляд на литературу как на самый могущественный проводник в общество идей образованно-

сти, просвещения, благородных чувств и понятий не приходил в голову этим, впрочем, почтенным и достойным людям, полагавшим, что наука, высказываемая не с университетской кафедры, теряет уже достоинство науки. Теперь этот период науки в России, слава богу, прошел; наука не пренебрегает уже литературным журналом. Нет науки для науки, нет искусства для искусства [7],— все они существуют для общества, для облагорожения, для возвышения человека, для его обогащения знанием и материальными удобствами жизни. ⟨...⟩

И. И. ПАНАЕВ

1812—1862

Не гениальное перо, но весьма хорошо очиненное.

П. А. Плетнев

Еще при жизни Ивана Ивановича Панаева в определенных литературных кругах о нем говорили как о человеке поверхностном и легкомысленном, не имевшем собственного мнения, легко попадающем под чужое влияние. Известные основания для подобных суждений несомненно были. Панаев вел довольно рассеянный образ жизни, любил веселое препровождение времени в компании друзей, был завсегдатаем столичных театров, литературных салонов и модных ресторанов. Но это была, так сказать, чисто внешняя, видимая сторона натуры Панаева. Была, однако, и другая. Это был писатель-труженик, бесконечно и преданно любивший литературу и не мыслящий себя без нее. Близко знавшие люди любили Панаева, ценили его как остроумного собеседника и прекрасного рассказчика. Вот что писал о нем его родственник и друг В. А. Панаев: «По характеру это был человек мягкого и горячего сердца, искренний, с детской душой, баснословною непрактичностью, абсолютным бескорыстием и полным отсутствием самомнения».

Панаев, говоря словами Белинского, принадлежал к «обыкновенным талантам», активно способствовавшим своею деятельностью развитию русской литературы и журналистики. На протяжении всей своей жизни он был близок к передовым кругам русского общества. Его связывали дружеские отношения с Белинским и Некрасовым, он тесно сотрудничал с Чернышевским и Добролюбовым и точно так же, как и Некрасов, после раскола в редакции «Современника» порвал со своими друзьями-либералами и примкнул к лагерю революционной демократии. Это был писатель, творчество которого было тесно связано с передовыми идеями времени.

Родился Панаев 27 марта 1812 года в старинной дворянской семье, не чуждой литературных интересов. Образование получил в Благородном пансионе при С.-Петербург-

ском университете, после окончания которого служил в Департаменте государственного казначейства, а затем Департаменте народного просвещения. «По происхождению, по родству и связям,— писал Чернышевский,— он мог рассчитывать на блестящую карьеру... где ожидал его неизбежный и легкий успех. Однако любовь к литературе пересилила все эти причины...»

Литературные взгляды Панаева сформировались под воздействием романтизма, за который, по его словам, он был «почти готов идти на плаху», хотя не совсем ясно представлял, «какой смысл заключался в этом явлении». Его кумирами были Вальтер Скотт, В. Гюго, Марлинский, Полевой, Кукольник. И не удивительно поэтому, что первые повести Панаева «Спальня светской женщины», «Она будет счастлива», «Сегодня и завтра» и другие были написаны в духе популярных в 1830-е годы романтических, так называемых светских повестей и повестей о судьбе художника, в которых разрабатывался традиционный сюжет: столкновение художника-поэта с обществом. Особенностью первых повестей Панаева было критическое изображение представителей аристократических кругов.

Обладая живым и общительным характером, Панаев вскоре приобрел обширные литературные знакомства. В конце 1836 года он познакомился и близко сошелся с Белинским, и это обстоятельство определило весь дальнейший путь писателя. Он постепенно преодолевает влияние романтизма и становится одним из активных деятелей натуральной школы. Панаев выступил в литературе со своей тематикой, со своими взглядами на русскую жизнь. Его повести «Дочь чиновного человека», «Онагр», «Барыня», «Актеон», «Барышня», «Маменькин сынок», печатавшиеся в журнале «Отечественные записки», были заметным явлением в литературе 1840-х годов. В них осуждались дикие крепостнические порядки, сатирически изображались представители столичного и поместного дворянства, люди пустые и никчемные, ведущие паразитический образ жизни. И в то же время писатель с большим чувством изображал крепостных крестьян.

В журнале «Современник», который Панаев издавал вместе с Некрасовым, он печатал художественные произведения, выступал как публицист, редактировал материалы, поступавшие в редакцию, отстаивал интересы журнала в цензуре. В «Современнике» были опубликованы повесть Панаева «Родственники», роман «Львы в провинции»

и другие произведения. Еще в 1843 году на страницах «Отечественных записок» стали печататься пародии Панаева, подписанные — «Новый поэт», направленные против эпигонской поэзии и драматургии. В «Современнике» круг вопросов, которые затрагивал «Новый поэт», значительно расширился. Выступления Панаева-публициста во многом сближались с суждениями революционеров-демократов Чернышевского и Добролюбова. Журнальные обозрения Панаева включали в себя произведения самых различных жанров: фельетоны, репортажи, очерки, рассказы, критические заметки, памфлеты и т. п. Они имели большой успех среди читателей «Современника».

В последние годы жизни Панаев работал над «Литературными воспоминаниями», ставшими одним из самых достоверных и интересных документов эпохи 1830—1860-х годов. Внезапная смерть 3 марта 1862 года помешала ему завершить этот труд.

В некрологе, напечатанном в «Современнике», Чернышевский писал: «...Панаева любили все, кто только знал его: столько было в нем доброты, мягкости и той привлекательности, которая сообщается человеку преобладанием в нем хороших душевных свойств... Как литератор, он... постоянно работал над собою, стараясь о собственном совершенствовании. Убеждения его не застывали в неподвижную форму с приближением старости; симпатии его в 50 лет, как и в 25, были на стороне молодого поколения».

Галерная гавань

«Сытый голодного не разумеет» — прекрасная и очень умная пословица. Справедливость ее подтверждается в жизни на каждом шагу. Я недавно думал об этом, возвращаясь из Галерной гавани...

— Что такое это Галерная гавань? — быть может, спросит меня не только иногородный, даже петербургский читатель.

Вы желаете знать, что такое Галерная гавань? Неужели

вы никогда не слыхали этого имени,— вы, петербургский житель? Галерная гавань — частичка громадного и великолепного города, в котором вы живете и наслаждаетесь, далеко у взморья, на самом конце Васильевского острова, по соседству со Смоленским кладбищем; ненадежный приют самого бедного петербургского народонаселения, о существовании которого вы только подозреваете — того народонаселения, которое замирает от страха при малейшем возвышении воды и рискует быть потопленным всякий раз, когда в серый осенний день воет ветер, раздается зловещий звук пушек, днем развеваются флаги на Адмиралтейской башне, а ночью зажигаются роковые фонари. Вы, живущие в лучшей и возвышенной части Петербурга, окруженные всеми прихотями той утонченной цивилизации, которая с каждым днем развивает для вас неслыханные удобства и роскошь, мало заботитесь об этих фонарях и флагах на Адмиралтействе и только при звуке пушек спрашиваете с любопытством:

— Что это такое? отчего это пальба?

— Вода поднялась выше колец в каналах,— отвечают вам.

— А! — равнодушно восклицаете вы в ту минуту, когда несчастные обитатели Галерной гавани уже перебираются, дрожа от холода, при крике и визге детей, на свои чердаки...

Вот что такое Галерная гавань.

Не все же нам разъезжать с вами, любезный читатель, на торцовой мостовой Невского проспекта и Большой Морской; гулять по Дворцовой набережной; сидеть в креслах или ложах блестящих театральных зал; любоваться хорошенькими личиками и изящными туалетами; не все же нам собирать анекдоты из жизни петербургских камелий; рыскать по магазинам; толковать о том, что такой-то из наших приятелей получил такое-то место, а другой, которого мы даже не имеем чести знать, такой-то чин, крест, такое-то звание, такую-то награду или такое-то повышение; завидовать всем этим лицам втайне и злословить их вьяве; подробно описывать балы, на которых мы с вами приглашены не были; подмечать смешные стороны разных господ и госпож, прогуливающихся по Невскому проспекту...

Петербург — не на одном Невском проспекте, Морских и набережных. И Галерная гавань — Петербург, и там живут люди, к тому же люди, о которых мы не имеем почти

никакого понятия, о которых нам почти никто не говорит и с которыми я хочу слегка познакомить вас...

Итак, читатель, обратимся к Галерной гавани. Теперь же это кстати: осень, серое небо, мелкий дождь, ветер, и вода, кажется, прибывает...

Мы отправимся по Большому проспекту Васильевского острова. Васильевский остров — это особый город в городе, непохожий на остальной Петербург. Он весь в зелени, в садах и в бульварах, как Москва. Аристократическая часть Васильевского острова — это его великолепная набережная, и так называемая Первая линия — его Невский проспект. На одном конце его — Биржа с своим великолепным портиком и монументальными маяками; на другом — Галерная гавань с своими полусгнившими и покрытыми мохом и плесенью домишками; на одном конце — счастливцы, кушающие устрицы в биржевых лавках и запивающие их шампанским; на другом — люди, не имеющие, может быть, и насущного хлеба — контраст, к которому все мы, впрочем, пригляделись и который беспрестанно встречается в жизни не на одном Васильевском острове. Негоцианты, моряки, кадетские офицеры, художники, ученые и самый бедный класс мелкого петербургского чиновничества составляют главное народонаселение Васильевского острова. Здесь, на его хазовом конце, вы встречаете толпы студентов, возвращающихся с лекций; биржевых диктаторов, подкатывающих к бирже на рысаках, моряков с георгиевскими ленточками на черном пальто; профессоров в синих вицмундирах или сюртуках, в очках и без очков; в несколько фантастическом наряде — в каком-нибудь плаще, перекинутом за плечо, в серой шляпе с большими полями, с волосами до плеч, с различными бородками и с портфелями в руках и под мышками — молодых художников, которые все немножко любят корчить Вандиков и Рафаэлей.

Коренные жители Васильевского острова, все, и мужчины и женщины, за исключением разных биржевых тузов (по крайней мере мне так кажется), имеют характер более скромный сравнительно с жителями петербургского материка; в их походке, взгляде, одежде нет того мелочного и заносчивого тщеславия, которое встречаешь и пешком, и верхом, и в экипажах на Морских, на Невском проспекте и на великолепных набережных здешней стороны. Каким-то миром и спокойствием охватывает вас, когда вы углубитесь в линии Васильевского острова, подальше от

Биржи и Первой линии. Глядя на эти небольшие, красивые и чистенькие домики с садами или на эти каменные дома, отделанные с английскою прочностию, тщательностию, красотою и комфортом, с медными дощечками на дверях, блестящими, как золото,— вы невольно полагаете, что в них обитают самый строгий порядок, самая благоразумная расчетливость; что здесь не бросают безумно денег, как у нас в Морской или на Невском; не живут на *авось* и не ставят последней копейки ребром, чтобы только пустить в глаза пыль своему ближнему. Эти дома и домики принадлежат по большей части иностранцам,— людям, помаленьку скопившим себе капиталы трудом, знающим цену деньгам, на которые мы, не знающие, что такое труд, и имеющие по нескольку сот и тысяч душ, выпадающих нам на долю по наследству смотрим с небрежением. Город на Васильевском острове имеет, может быть, поэтому что-то свое, особенное, не петербургское; по скромности и наружному порядку он напоминает несколько немецкие города. Здесь нет той славянской размашистости в жизни, которая поражает везде по другой стороне Невы, на материке, за монументальным Николаевским мостом. ⟨...⟩

Чем далее вы углубляетесь по Большому проспекту от Первой линии, тем все тише и спокойнее становится вокруг вас. Вы идете как будто большой аллеей сада, потому что домов не видать за кустами и деревьями. За 7-й линией появляются уже деревянные мостки вместо плитных тротуаров; экипажи все реже и реже: за 12-й линией вам попадаются только извозчичьи дрожки, и то изредка. Здесь и пешеходов-то немного.. Матрос в холстинном сюртуке, замазанном дегтем, идущий в Галерную гавань, молодой чиновник в форменном пальто с блестящими пуговицами, в фуражке с кокардою и красным околышем, очень довольный, по-видимому, этой полувоенной формой. Чиновник вдруг останавливается, пораженный, и провожает глазами очень стройную, очень хорошенькую и очень бедно одетую девушку, которая, не обращая внимания, спешит к художнику, которому служит натурщицей. Далее за Финляндскими казармами, вправо, огромное поле с лесом в глубине, из которого выглядывают главы церквей: это Смоленское кладбище. Деревянные мостки с каждым шагом вашим вперед становятся беспокойнее и опаснее; здесь они служат не удобством, а препятствием для пешехода: доски в иных местах вздуло и покоробило, в других они сгнили и прова-

лились, обнаружив небольшую пропасть, покрытую грязною плесенью; к тому же у каждых ворот надо прыгать с этих патриархальных тротуаров и потом карабкаться на них, а у иных домов они поднялись больше, чем на аршин. Боясь переломить или вывихнуть себе ногу, вы сходите с них и продолжаете ваш путь по узенькой тропинке между заборами и палисадниками и этими допотопными тротуарами. Навстречу вам почти уж никто не попадается, а если и попадается какой-нибудь обитатель или обитательница Галерной гавани, то они посмотрят на вас с таким удивлением и недоумением, с каким смотрят только разве на выходцев с того света. Впереди вас и уж очень недалеко полосатое белое бревно шлагбаума, за шлагбаумом взморье и парус лодки, а вправо ряд лачуг, которые тянутся к Смоленскому кладбищу — это-то и есть Галерная гавань, начинающаяся на конце Смоленского поля, или, вернее, болота, и спускающаяся к мутно-серой воде взморья. Вот что-то похожее на улицу перед вами: вы поворачиваете в нее... Неужели в самом деле это улица? С двух сторон ряд небольших деревянных, полусгнивших, одноэтажных домиков, перед которыми торчат одни безобразные остовы, на которых некогда были устроены мостки; а между этими остовами страшная топь, черная грязь и лужи: действительно, это улица. Она то вздувается холмом, то снова спускается в яму. Эти холмы покрыты яркою зеленью, которую пощипывают две грязные и тощие козы. В черной топи против одного домика, почти по середине улицы, стоит невыкрашенная, почерневшая лодка, на которой, может быть, за несколько дней перед этим плавали ее хозяева по этой улице. Домики по большей части в три окна, много в пять; они выкрашены были некогда желтой и серой краской, следы которой еще видны доселе; крыши подернуты зеленым или желтым сухим мохом; у иных домиков вместо забора рогожи, прибитые к палкам, за которыми, когда рогожи распахнутся от ветра, выглянут две или три гряды капусты. ⟨...⟩ Между полусгнившими лачужками, у завалинок которых растут крапива и грибные наросты, попадаются нередко и новые домики, выкрашенные яркой краской, с бальзаминами и еранью на окнах и с кисейными занавесками,— аристократические домики, потому что везде есть аристократы,— даже и в Галерной гавани. В самой середине галерную слободу разделяет канал, через который перекинут большой деревянный мост. За мостом улица несколько пошире и потому посуше.

Она сплошь поросла травой и в иных местах загромождена телегами, бревнами и досками и кучами хвороста и всякого сора. Эта главная улица, к которой сходятся другие улицы и переулки, выходит на болотистый луг, покрытый бесчисленными кочками, в конце которого видны, середи тощих и низких кустов, скирды сена, а у самого горизонта лес, примыкающий к лесу Смоленского кладбища... Людей в этой печальной слободе почти не видно: изредка перейдет через улицу от своего развалившегося дома к мелочной лавочке старушонка в лохмотьях, держа в иссохшей и морщинистой руке молочник с отбитым носком, или, услышав шум ваших шагов, высунется из окна девушка, целый день не отнимающая головы от срочного шитья, и с любопытством и удивлением посмотрит на вас и задумается: откуда, как и для чего попал сюда незнакомый человек? Тишина на улице нарушается только криком гусей, размахивающих крыльями и вылетающих из канала на берег, и мычанием коровы, которая, остановясь у ворот, глухо мычит, просясь домой и виляя своим хвостом от нетерпения. Канал, разделяющий гавань пополам, оканчивается большим прудом, берега которого поросли ивовыми кустами, а поверхность покрыта широкими круглыми листьями желтых болотных кувшинчиков. У моста, где канал довольно широк, стоит большая барка без мачт, набитая разным тряпьем и стружками, в которых очень усердно копаются старуха и девочка... Воздух в Галерной гавани пропитан болотистым, грибным запахом и гнилью. Самый бедный, отдаленный, грязный городок внутри России нельзя сравнить с этою несчастною слободою, которая еле держится на трясине болота. Глядя на эти домишки и улицы, не веришь, что это частичка великолепного Петербурга и что гранитная набережная Невы с ее огромными зданиями только в трех верстах отсюда. ⟨...⟩

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

1828—1889

От его сочинений веет духом классовой борьбы.

В. И. Ленин

Утро в тот день выдалось пасмурное и хмурое. Шел проливной дождь. Но, несмотря на ранний час и непогоду, Мытнинская площадь в Петербурге была заполнена народом. В центре ее возвышался эшафот, большой деревянный помост, выкрашенный черной краской, на нем черный столб, на котором висела железная цепь с двумя кольцами на концах. По эшафоту расхаживали два палача, а вокруг, образуя каре, стояли солдаты с ружьями. За ними маячили конные жандармы, между которыми расположились жандармы и городовые. А кругом насколько хватало глаз толпилось множество людей, преимущественно молодежь. Все чего-то ждали, вглядываясь в улицу, ведущую в сторону Петропавловской крепости.

Вскоре к эшафоту подъехали две кареты, окруженные конной стражей. Из первой вышел жандарм, а вслед за ним тот, ради которого и собралась на площади огромная толпа,— Николай Гаврилович Чернышевский. Его провели на эшафот, повесили на шею черную доску с белой надписью «Государственный преступник», отвели назад руки и надели на них кольца цепей. В это время кто-то крикнул: «Шапки долой!» Жандармы бросились в толпу отыскивать кричавшего, но безуспешно. Все обнажили головы. Стояла напряженная тишина. Слышен был только голос чиновника, читавшего подробное изложение «дела», в котором Чернышевский обвинялся в противозаконных сношениях с изгнанником Герценом, в «сочинении возмутительного воззвания» к барским крестьянам, в «принятии мер к ниспровержению существующего в России порядка управления», наконец, в распространении «вредных» социалистических идей посредством своих сочинений. И далее объявлялся приговор — 14 лет каторжных работ, которые государь соизволил уменьшить наполовину, и вечное поселение в Сибири.

Чернышевский выслушал приговор совершенно спокойно, и лишь иногда чуть заметная улыбка пробегала по его лицу.

Наконец чтение закончилось. Чернышевского отвели от столба и поставили на колени. Палач сорвал с него фуражку и сломал над его головой шпагу — знак лишения всех прав состояния. Вот что свидетельствовал один из присутствовавших на площади во время этого гнусного обряда: «Весь народ плакал... В каждом плакало оскорбленное человеческое достоинство: осужденный, с именем которого у многих соединялось... понятие о самом прямом, честном, гуманном и мощном характере и замечательном уме, этот осужденный должен был поневоле изъявлять разные признаки раскаяния, смирения и покорности; он целовал крест, символ того, в святость чего не верил, он становился на колени, без сопротивления дал себя привязать к столбу».

Когда Чернышевского сводили с эшафота, молодая девушка бросила к его ногам букет цветов. Ее тотчас же арестовали. В толпе раздались крики: «Прощай, Чернышевский!»

Узнав все подробности «гражданской казни» над Чернышевским, А. И. Герцен писал в «Колоколе»: «Да падет проклятием это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую подкупную журналистику, которая накликала это гонение. Чернышевский был вами выставлен к позорному столбу на четверть часа, а вы, а Россия, на сколько лет останетесь привязанными к нему...»

Так царское правительство расправилось с выдающимся революционером, критиком и публицистом, к голосу которого прислушивалась вся мыслящая Россия. Его статьи в «Современнике» читались с жадностью, в них передовая молодежь искала ответа на самые насущные и жгучие вопросы современности. Друзья любили Чернышевского. Враги ненавидели и боялись. Но и им Чернышевский внушал невольное уважение. О Чернышевском распространяли нелепые слухи. Говорили, что он человек сухой, жестокий, необщительный, что у него нет художественного чутья, что он «плохо понимает поэзию» и т. п. Между тем все, кто хорошо знал Чернышевского, говорили о нем как о простом и удивительно сердечном человеке. «... Я редко встречал более мягкого и радушного человека»,— отмечал, например, Ф. М. Достоевский.

Современников поражала энциклопедичность и глубина

познаний Чернышевского. Она проявлялась не только в его статьях. Чернышевский был интереснейший собеседник. Обычно очень сдержанный и немного застенчивый, он буквально преображался, когда заходила речь о вопросах, его волновавших. Общение с ним обогащало, будило мысль, заставляло слушателей с жадным вниманием ловить каждое его слово.

Еще учась в университете, Чернышевский обдумывал свой предстоящий жизненный путь и записал в дневнике: «Через несколько лет я — журналист и предводитель или одно из главных лиц крайней левой стороны». Слова его оказались пророческими. Он действительно стал выдающимся журналистом и возглавил революционное крыло русского общества.

К журналистике Чернышевский обратился потому, что иные формы политической деятельности в самодержавной России были невозможны. «Если бы человек,— писал Чернышевский,— мог все свои мысли, касающиеся общественных дел, заявить в общественном или народном собрании, ему бы незачем делать из них журнальных статей. Вместо того чтобы писать, он бы говорил, а если мысли эти должны быть известны всем, не принимавшим участия в собрании, их бы записал стенограф»

Поразительна была работоспособность Чернышевского. Начиная с 1853 года ежемесячно в «Современнике» он публиковал в среднем 5 печатных листов самых различных материалов. А это составляло около 100 страниц типографского текста. И одновременно Чернышевский вел еще и огромную редакционную работу. Ему приходилось вести переговоры и переписку с авторами, готовить материалы для очередного номера журнала, читать рукописи и корректуру.

Не прекращал Чернышевский напряженной работы и после ареста. В Петропавловской крепости он написал свой знаменитый роман «Что делать?» и повесть «Алферьев». На каторге и в сибирской ссылке, живя в нечеловечески трудных условиях, без книг, оторванный от общественного движения своего времени, великий революционер создал романы «Пролог», «Отблески сияния», несколько повестей и драматических произведений.

Только спустя двадцать лет царское правительство разрешило Чернышевскому вернуться из ссылки. Сначала он жил в Астрахани, а за несколько месяцев до смерти переехал в свой родной город Саратов. И где бы ни жил

Чернышевский, он по-прежнему упорно и напряженно работал: писал, переводил, собирал материалы для своих новых трудов.

Каторга и ссылка подорвали здоровье Чернышевского, но не сломили его духа. До конца своих дней он оставался пламенным революционером. Незадолго до смерти Чернышевский с полным основанием говорил о себе: «Я хорошо служил своей родине и имею право на признательность ее».

Не начало ли перемены?

(Рассказы Н. В. Успенского[1]. Две части. Спб. 1861 г.)

Чем г. Успенский привлек внимание публики, за что он сделался одним из любимцев ее? До сих пор он писал только такие крошечные рассказы, в которых не могло поместиться ни одно из качеств, обыкновенно составляющих репутацию хороших беллетристов. Начать с того, что ни в одной его статейке нет сказочного интереса; да и как в них быть ему, когда из 24 очерков, собранных теперь в отдельном издании, не меньше как двадцать рассказов как будто бы не имеют даже никакого сюжета? Только в четырех можно отыскать что-нибудь похожее на повесть, да и то, какую повесть? — самую незамысловатую и почти всегда недосказанную. «Старуха» рассказывает, как попали в солдаты два ее сына; об одном, еще так себе, сказывает она по порядку, а об другом не удалось ей поговорить, потому что уснул купец, слушавший ее, и принесла хозяйка постоялого двора бедной старушонке творожку и молочка, в ожидании которых болтала она с купцом. В другой пьесе стал мещанин рассказывать о своей покойной жене Грушке, досказал дело до женитьбы, да не случилось ему ничего сообщить, как он жил с Грушкою после свадьбы. В третьем рассказе повел речь г. Успенский о том, в какой гнусной бедности жил студент медицинской академии Брусилов, но не довел речи ни до какой развязки: лежит Брусилов больной в каком-то «углу» комнаты, за столом в которой извозчики считают деньги, за стеною которой

пьяный сапожник бьет свое семейство, и над которой во втором этаже идет пляска,— на том и кончено; что же сталось с Брусиловым? Умер, что ли, он или как-нибудь оправился? — Ничего не известно. Есть еще рассказец о чудаке Антошке, но и тут ничего не возьмешь, кроме того, что Антошка был мастер на всякие проказы. Вот вам и все четыре пьески, в которых есть если не что-нибудь целое, то хоть половина чего-нибудь, что стало бы целым, если бы было докончено. А в остальных двадцати пьесах не спрашивайте и того: это все только маленькие отрывочки, листки, вырванные из чего-нибудь, а из чего — и догадаться нельзя. Описывается, например, как извозчики рассчитывались с хозяином постоялого двора; или как проезжий с огромными усами наделал кутерьму на станции; или как шел праздничный обед у приказчика; или как проезжим юношам не удалось пошалить с смазливою бабенкою, которую посадили они на облучок; или как народ ждал благовеста к заутрене в светлый праздник; или как одна дьяконица приезжала в гости к другой — и ни в одной из этих отрывочных сцен ровно ничего не описывается и происшествий никаких особенных нет. Если взглянуть на рассказы г. Успенского с другой стороны, посмотреть, не обрисованы ли в них характеры, нет ли психологических анализов — и того не находите. Что ж, есть беллетристы, не заботящиеся ни о подборе приключений с занимательными завязками и развязками, ни об обрисовке характеров, ни о психологических тонкостях, но зато действующие на самих вас яркою, жгучею тенденциею или превосходным слогом. У г. Успенского не обнаруживается никакой тенденции, да и пишет он так себе, не заботясь как будто бы ни об остроумии, ни об изяществе. Правда, попадаются у него очень смешные фразы, иной раз случится и целая страница очень забавная; немало у него и коротеньких описаний очень художественных,— и все это как будто написалось у него случайно, а вообще рассказ его идет как попало, без всякого внимания к обязанности вознаградить хотя бы слогом за бесцеремонность относительно содержания. Что же касается до тенденции, об ней лучше и не спрашивайте: взял человек два-три листа бумаги, набросал на ней какой-нибудь разговорец или какое-нибудь описаньице и отдаст вам лоскутки этих листов без начала и без конца, совершенно не думая о том, выходит ли какой-нибудь смысл из написанного им. Конечно,

у г. Успенского есть талант и большой талант: но что же это за талант, который дает нам всё только лоскутки? Если уже говорить об таланте, то не следует ли только бранить его за такие незначительные и небрежные произведения?

Незначительные и небрежные,— оно бы казалось, что следует их считать такими, следует по всем возможностным основаниям, во всех возможных отношениях; а на самом деле выходит не то. Публика считает маленькие пьесы г. Успенского заслуживающими внимания. Отчего же это?

Нам кажется, что причиною тут не одна бесспорная талантливость — мало ли есть произведений, написанных с талантом и все-таки не возбуждающих ни малейшего участия к себе? Есть у г. Успенского другое качество, очень сильно нравящееся лучшей части публики. Он пишет о народе правду без всяких прикрас.

Давным-давно критика стала замечать, что в повестях и очерках из народного быта и характеры, и обычаи, и понятия сильно идеализируются. Стало быть, нам нечего и доказывать это, когда всем оно известно. Мы лучше поищем причин, по которым не мог отстать от идеализирования народа никто из прежних наших беллетристов, несмотря на советы критики. По нашему мнению, источник непобедимого влечения к прикрашиванию народных нравов и понятий был и похвален, и чрезвычайно печален. Замечали ли вы, какую разницу в суждениях о человеке, которому вы симпатизируете, производит ваше мнение о том, можно ли или нельзя выбиться этому человеку из тяжелого положения, внушающего вам сострадание к нему? Если положение представляется безнадежным, вы толкуете только о том, какие хорошие качества находятся в несчастном, как безвинно он страдает, как злы к нему люди, и так далее. Порицать его самого показалось бы вам напрасною жестокостью, говорить о его недостатках — пошлою бесчувственностью. Ваша речь о нем должна быть панегириком ему — говорить в ином тоне было бы вам совестно. Но совершенно другое дело, когда вы полагаете, что беда, тяготеющая над человеком, может быть отстранена, если захочет он сам и помогут близкие ему по чувству. Тогда вы не распространяетесь о его достоинствах, а беспристрастно вникаете в обстоятельства, от которых происходит его беда. Обыкновенно вы находите, что нужно перемениться и ему самому, чтобы изменилась его жизнь; вы замечаете, что напрасно он делал в известных случаях

так, а не иначе, что ошибался он относительно многих предметов, что в характере его есть слабости, от которых надобно ему исправляться, что в привычках его есть дурное, которое должен он бросить, что в образе его мыслей есть неосновательность, которую должен он уничтожить более серьезным размышлением. Как бы ни началась ваша речь о таком человеке, незаметно для вас самих переходит она в укоризны ему.

А вы, когда действительно желаете ему добра, нимало уже не конфузитесь этим: вы чувствуете, что в суровых ваших словах слышится любовь к нему и что они полезны для него,— гораздо полезнее всяких похвал.

Упоминает ли Гоголь о каких-нибудь недостатках Акакия Акакиевича?[2] Нет, Акакий Акакиевич безусловно прав и хорош; вся беда его приписывается бесчувствию, пошлости, грубости людей, от которых зависит его судьба. Как пошлы, отвратительны сослуживцы Акакия Акакиевича, глумящиеся над его беспомощностью! Как преступно невнимательны его начальники, не вникающие в его бедственное положение, не заботящиеся пособить ему! Акакий Акакиевич страдает и погибает от человеческого жестокосердия. Так, подлецом почел бы себя Гоголь, если бы рассказал нам о нем другим тоном. Но зато рассудите же, можно ли в самом деле пособить Акакию Акакиевичу. Разумеется, можно: назначить ему награду побольше обыкновенной, подарить ему шинельку, когда старая стала слишком плоха. Это можно сделать. Но ведь это и делалось. Ведь начальник назначил ему награду больше той, на которую рассчитывал сам Акакий Акакиевич, и, без сомнения, гораздо больше той, какую в самом деле он заслужил. А сослуживцы хотели устроить подписку для покупки ему шинели. Правда, подписка не состоялась, но только по случайным обстоятельствам, в которых сослуживцы никак не были виноваты, и, может быть, на другой месяц, когда осталось бы у чиновников несколько лишних денег, действительно собрали бы они рублей пять-шесть на починку старой шинели. По крайней мере, желание у них было, и кое-что они, вероятно, сделали бы. Да ведь они уж и сделали кое-что: разве они не радовались покупке новой шинели? Они сделали больше: они даже пригласили Акакия Акакиевича на вечеринку. Чего же вам еще? Вы скажете, что все эти доброжелательства и милости не спасли Акакия Акакиевича ни от нищеты, ни от унижений, ни от жалкой смерти? — Разумеется,

так,— но кто же в этом виноват? Разве было можно кому-нибудь в самом деле улучшить жизнь Акакия Акакиевича? Служа писцом, он получал малое жалованье; так. Что же, можно было дать ему повышение по службе, сделать, например, помощником столоначальника? Помилуйте, ведь начальник даже хотел было сделать это, но Акакий Акакиевич оказался решительно не способен ни к чему лучшему жалкой должности писца. Он даже сам так думал. Ведь он сам стал просить, чтобы оставили его на прежнем месте. Скажите же, пожалуйста, в ком заключалась причина бедствий и унижений Акакия Акакиевича? В нем самом, только в нем самом. Сослуживцы издевались над ним. Но ведь друг над другом не издевались же они, друг с другом обращались же по-человечески. Ведь в самом деле Акакий Акакиевич был смешной идиот. Начальство давало жалованья Акакию Акакиевичу... ему давали больше, едва ли заслуживал и такого жалованья, какое получал. Значительный человек прикрикнул на Акакия Акакиевича, явившегося просить об отыскании шинели, и прогнал его, но ведь Акакий Акакиевич не сумел ничего объяснить ему путным образом, а все только твердил: «тово... тово... тово...», и потом брякнул вздор, что секретари ненадежный народ,— глупость, совершенно не относившуюся к делу. Скажите же по совести, кто обязан слушать вздор, которого и разобрать нельзя?

Видите ли, теперь Акакий Акакиевич имел множество недостатков, при которых так и следовало ему жить и умереть, как он жил и умер. Он был круглый невежда и совершенный идиот, ни к чему не способный. Это видно из рассказа о нем, хотя рассказ написан не с тою целью. Зачем же Гоголь прямо не налегает на эту часть правды об Акакие Акакиевиче,— на эту невыгодную для Акакия Акакиевича часть правды, выставленную нами?

Мы знаем отчего. Говорить всю правду об Акакие Акакиевиче бесполезно и бессовестно, если не может эта правда принести пользы ему, заслуживающему сострадания по своей убогости. Можно говорить об нем только то, что нужно для возбуждения симпатии к нему. Сам для себя он ничего не может сделать, будем же склонять других в его пользу. Но если говорить другим о нем все, что можно бы сказать, их сострадание к нему будет ослабляться знанием его недостатков. Будем же молчать о его недостатках.

Таково было отношение прежних наших писателей

к народу. Он являлся перед нами в виде Акакия Акакиевича, о котором можно только сожалеть, который может получать себе пользу только от нашего сострадания. И вот писали о народе точно так, как написал Гоголь об Акакие Акакиевиче. Ни одного слова жесткого или порицающего. Все недостатки прячутся, затушевываются, замазываются. Налегается только на то, что он несчастен, несчастен, несчастен. Посмотрите, как он кроток и безответен, как безропотно переносит он обиды и страдания! Как он должен отказывать себе во всем, на что имеет право человек! Какие у него скромные желания! Какие ничтожные пособия были бы достаточны, чтобы удовлетворить и осчастливить это забитое существо, с таким благоговением смотрящее на нас, столь готовое проникаться беспредельною признательностью к нам за малейшую помощь, за ничтожное внимание, за одно ласковое слово от нас! Читайте повести из народного быта г. Григоровича и г. Тургенева со всеми их подражателями — все это насквозь пропитано запахом «шинели» Акакия Акакиевича.

Прекрасно и благородно,— в особенности благородно до чрезвычайности. Только какая же польза из этого — народу? Для нас польза действительно была, и очень большая. Какое чистое и вкусное наслаждение получали мы от сострадательных впечатлений, сладко щекотавших нашу мысль ощущением нашей способности трогаться, умиляться, сострадать несчастью, проливать над ним слезу, достойную самого Манилова. Мы становились добрее и лучше, нет, это еще очень сомнительно, становились ли мы добрее и лучше, но мы чувствовали себя очень добрыми и хорошими. Это очень большая приятность, ее можно сравнить только с тем удовольствием, какое получал покойный муж Коробочки от чесания пяток, или, чтобы употребить сравнение более знакомое нам, людям благовоспитанным, мы испытывали то же самое наслаждение, какое доставляет хорошая сигара. Славное было для нас время!

А теперь не то. Являются какие-то мальчишки,— по примеру «Русского вестника» [3] и «Отечественных записок» [4], называющих мальчишками нас, я позволяю себе назвать мальчишкою г. Успенского, который, кстати, и довольно молод в самом деле,— итак, являются мальчишки, вроде г. Успенского, которые чувствуют,— а может быть, и сознательно думают — кто их разберет,— что наши прежние отношения к народу, как будто к невинному в своем злосчастии Акакию Акакиевичу, никуда не годятся;

они говорят о народе бог знает что, жестоко оскорбляющее нашу сентиментальную симпатию к нему. Если судить их слова по нашим прежним привычкам, то не видишь в них даже любви к народу, которой мы так гордились, по крайней мере, нет в них никакой снисходительности к нему, и не отыщешь в их рассказах ни одного похвального словечка. Взгляните, например, какие черты выставляет вам в народе г. Успенский.

Вот первый рассказ «Старуха». Один сын ее пошел в солдаты за то, что хотел взять назад свою жену от приказчика, который жил с нею. Какая идеальная история готова рисоваться перед вашею фантазиею, по привычке к прежнему прикрашиванию! Сильная привязанность жены к мужу, изверг-приказчик, насильно отнимающий красавицу жену, вопли жены, страшные сцены ее напрасного сопротивления животному буйству и так далее, и так далее. Нет, у г. Успенского ничего такого не говорится. Сама старуха, мать пропавшего из-за жены сына, рассказывает дело таким образом:

Женили мы его; сыграли свадьбу; глядь-поглядь, примечаем: молодая, жена-то его — красивая была, бог с нею, баба — его недолюбливает и так совсем вот не льстится. А он, сердечный, был на лицо не совсем гож: оспа, еще когда он был махоньким, всего изуродовала.

Вот как обжились они, Петруша — его звали Петрушей — начал следить за ней: нет ли, дескать, на сердце кручинушки али зазнобушки, не любит ли она кого. Подмечает раз, другой — все нет... и виду никакого... на работе такая же, как и дома. Ну, тем и кончилось, что нет да и нет. Вот раз к нам приходит староста и говорит... дело было летом... Петр Семеныч, говорит — это приказчик,— велел вашей Варваре собираться на барский двор, и муж, говорит, пускай придет с ней. Думаем промежду себя: «Зачем это?» У нас в ту пору все были дома: и она и Петруша. Старик говорит: «Что ж, сходи, Петруша; за чем-нибудь понадобился: авось он тебя не съест». Петруша надел зипун, собрался это: «Ну, говорит, Варвара Борисьевна, пойдем, прогуляемся»: шутник был, голубчик мой. А она на него так и зевнула: «Да ступай, говорит, лихоманка тебя возьми», и черным словом его... «Ступай один, без тебя дорогу знаю». Старик в это время ковырял лаптенки, сидел на коннике; обидно ему, стало быть, показалось: да как же не обидно? грубая... известно, баба, кормилец. Сидел, сидел, жалко ему стало Петрушу, да и молвил: «Когда ты, Варвара, будешь умна, за что всегда зычешь на него? иной бы тебя, говорит, чем ни попадя...» и побранил ее. Она невзлюбила: должно, не по нутру... накинула зипун, повязала платок писаный,— она все в писаных ходила,— и хлопнула что ни есть мочи дверью. Старик

мой покачал, покачал головою — и только. «Жалко, говорит, Петрушу, смерть — жалко!..» Вот они ушли к приказчику, а мы ждем; помню, я тут качала на обрывке ее мальчика, это невесткина-то: сижу... качь, да качь... Смотрим, приходит он один уже перед вечером.

«Ну, Петруша, зачем?» — спросили мы. «Да что, говорит, приказчик оставляет Варвару на кухне работницей; ласково таково со мною обошелся: «Я, говорит, с твоего согласия... если не хочешь, как хочешь: у меня ей будет хорошо: я хошь платы не наложу, зато от работы ослобоняется. Известно, когда понадобятся ей деньги, я дам и деньжонок; платок коли куплю». Мы подумали... что же, говорим, отчего не так? хошь одна баба и была в доме, да ведь и при ней-то, подумали мы, не красно было: иногда сердце изнывает, глядючи на ее грубости. «Если ты, Петруша,— это говорит старик,— соглашаешься, так, пожалуй, и мы согласны».— «Отчего же, говорит, не согласиться? Я рад, что ей это по ндраву; почему что: когда мы выходили от приказчика, она на меня: «Живи, говорит, Петька, да не тужи»,— это она-то ему — и ухмыльнулась... Она его все Петькой называла. «Что ж, ко мне, Варвара Борисьевна, часто будешь ходить?» — спросил он ее. Она опять засмеялась, да и сказала: «Разя на деревне баб мало, окромя меня?»

Видите, ровно никакого ни насилия, ни притеснения тут не было: Варвара пошла в работницы к приказчику с согласия мужа и его родных. Правда, через несколько времени стали они требовать, чтобы она вернулась жить с мужем, потому что стали в селе смеяться над Петром, Варвару в глаза ему называли приказчицей. Но мы были бы слишком недогадливы, если бы вздумали, что только из этих слухов и насмешек да из подсмотренной братом мужа сцены между приказчиком и Варварой муж ее и его родные узнали об отношениях Варвары к приказчику. Она была баба красивая, приказчик был человек холостой, она мужа не любила, они давно полагали, что у ней есть любовник,— с первого же слова приказчика должно было стало для них понятно, зачем он хочет поселить ее с собой. А если они еще не догадались об этом деле из слов приказчика, чего нельзя думать, то уж никак нельзя было им оставаться в неведении, когда Варвара, отпуская мужа домой, сказала, чтобы вместо нее нашел он себе другую бабу. Однако же Петр и его семейство долго не огорчались житьем Варвары у приказчика. Из всего видно, что они захотели разорвать связь Варвары с приказчиком только для прекращения сплетен и насмешек, и, если вы не оскорбитесь нашим цинизмом, мы скажем, что они в этом случае были ни на волос больше достойны сочувствия, чем Фаму-

сов, беспокоящийся только о том, «что будет говорить княгиня Марья Алексевна». Раз отважившись на беспристрастие к этим людям, хотя они и простолюдины, и бедны, и угнетены, мы попробуем вас спросить: сочувствовали бы вы изображенному в повести чиновнику или помещику, который стал бы принуждать возвратиться к нему в дом жену, которая терпеть его не может и отдана за него без согласия? Вы человек гуманный, признаете свободу сердца, защищаете права женщины; наверное вы порицали бы мужа. Не угодно ли же вам судить мужика Петра точно так же, как судили бы вы какого-нибудь советника Владимира Андреевича или уездного предводителя Бориса Петровича. Но не вздумайте говорить, что мужик Петр не читал ни статей об эмансипации, ни романов Жоржа Занда[5]. Вы видите, что в семействе Петра были достаточно практические понятия об этих вещах,— понятия, до которых не доходила и Жорж Занд: ведь они не поперечили приказчику, когда он брал к себе Варвару. Почему не поперечили? Да едва ли не потому, что ожидали от этой полюбовной сделки выгод для себя. Не оскорбитесь циническим предположением нашим относительно их, хотя они и мужики: ведь если бы подобная история рассказывалась вам про светских людей, вас нельзя было бы убедить, что не было тут с их стороны денежного расчета. Забудемте же, кто светский человек, кто купец или мещанин, кто мужик, будемте всех считать просто людьми и судить о каждом по человеческой психологии, не дозволяя себе утаивать перед самими собою истину ради мужицкого звания.

Да, кто говорил с простолюдинами запросто, тот знает, как много между ними людей грешных с этой стороны, на которую указывают отношения Петра и его родных к связи приказчика с Варварой. Никак не меньше (мы думаем, что и не больше) между мужиками людей, грешащих такими расчетами, чем в нашем кругу. Живет муж с женою плохо; подвертывается человек сравнительно с ним сильный и богатый, и муж очень спокойно уступает ему свою жену и притворяется, будто бы ничего не знает, пока слишком громкий всеобщий говор не заставит его принять вид оскорбленного и обманутого. Бывает и хуже: иной открыто отвечает насмешникам, что он доволен своим положением. Но такие бесстыжие глаза довольно редки в образованном обществе; редки и между простолюдинами. 〈...〉 Зато нередки в образованном обществе —

разумеется, нередки и между мужиками — примеры противного: никакими выгодами не обольстится человек на притворство. Мы вовсе не отрицаем подобных случаев в мужицком быту; мы только говорим, что и там, как в нашем кругу, чаще бывает корыстное притворство, в котором принуждены мы были изобличить Петра и его родных.

Да и с чего вы взяли, в самом деле, что этого нет между мужиками? Или мужики обязаны быть рыцарями благородства и героями честности? Помилуйте, не такие ли же они люди, как и мы с вами? Вы знаете, что в нашем кругу нельзя не быть преобладанию пошлых, корыстолюбивых снисхождений и уступок над исключительными случаями твердого отказа. Вы знаете обстоятельства и отношения, из которых произошла у нас расчетливая безнравственность. Семейные дела запутаны, а если и довольно денег, то хочется иметь их побольше, чтобы жить пошире; жена капризничает; муж имеет кой-какие связишки на стороне; что же тут удивительного, если человек с деньгами или с влиянием купит жену у мужа? Что же, в мужицком быту нет точно таких же обстоятельств? Мужики бедны; с женами часто живут они очень дурно; покровительство сильных людей им нужно. Что же должно выходить из этого,— рассудите сами.

Только, пожалуйста, отстаньте, кроме пресной лживости, усиливающейся идеализировать мужиков, еще от одного очень тупоумного приема: подводить всех мужиков под один тип. 〈...〉 Но мужики к нам близки: нам стыдно не замечать разницу между ними, мы имеем с ними дела, потому и нам, и им очень вредно, если мы будем думать и поступать по таким безразличным, гуртовым суждениям о них. Наше общество составляют люди очень различных образов мыслей и чувств. В нем есть люди пошлого взгляда и благородного взгляда, [есть консерваторы и прогрессисты], есть люди безличные и люди самостоятельные. Все эти разницы находятся и в каждом селе, и в каждой деревне. Мы, по указаниям г. Успенского, говорим только о тех людях мужицкого звания, которые в своем кругу считаются людьми дюжинными, бесцветными, безличными. Каковы бы ни были они (как две капли воды сходные с подобными людьми наших сословий), не заключайте по ним о всем простонародье, не судите по ним о том, к чему способен наш народ, чего он хочет и чего достоин. Инициатива народной деятельности не в них, они, как подобные люди наших сословий, только плывут,

куда дует ветер, и поплывут во всякую сторону, в какую подует ветер. Но их изучение все-таки важно, потому что они составляют массу простонародья, как и массу наших сословий. Инициатива не от них; но должно знать их свойства, чтобы знать, какими побуждениями может действовать на них инициатива.

А впрочем, если вы тверды в гуманном принципе, повелевающем считать человеком каждого человека, какого бы там звания ни был он, если вы способны думать о мужике не как о странном по виду и по разговору существе, с которым нет у вас ничего сходного, а просто как о человеке, у которого тоже два глаза, как и у вас, тоже по пяти пальцев на руках. ⟨...⟩ Предположите, что ему нужно то же самое, что и вам, и вы не ошибетесь. Предположите, что на дюжинных людей в народе действуют те же расчеты и побуждения, какие действуют на дюжинных людей вашего круга, и это будет правда.

Только умейте подводить частные виды одного и того же чувства под общую их сущность, умейте, например, понимать, что стремление получить деньги — одно и то же стремление, будут ли деньги представляться в виде пачки кредитных билетов или в виде двугривенного; умейте понимать, что привычка считать крупной такую сумму денег, которая иногда кажется мелка, нимало не изменяет сущности действий, внушаемых надеждою получить деньги, и опять-таки, умейте понимать, что выслушивать колкости, или скучать в неприятном обществе, или подставлять шею под материальные толчки кулаков — и улыбаться в надежде получения или в благодарность за получение денег — все это в сущности одно и то же. Если вы твердо знаете это, вас нимало не обескуражит сцена, которою заканчивается очерк г. Успенского «Проезжий». На станции является господин, не жалеющий своих рук на поучение станционного смотрителя, старосты и ямщиков; требуя поскорее лошадей, он разбивает множество носов, подбивает множество глаз и так далее и, совершив эти подвиги, садится пить водку. Вот лошади готовы. Посмотрите же, чем кончается вся шутка.

На крыльце стоит проезжий с полштофом в руках. За ним смотритель, старуха, денщик и мещанин. Из полуотворенного окна высматривает купец. Вокруг крыльца стоят ямщики, в том самом виде, в котором они были в предыдущей сцене, то есть с подвязанными глазами и проч.

П р о е з ж и й. Что же, все собрались?

Ямщики (*дружно*). Все, ваше высокородие...

Проезжий (*наливая водку*). Ну-ко... Подходите... (*Народ пьет и откланивается, утираясь полами. На дворе время от времени позвякивает колокольчик.*) А что, тройка хорошая?

Ямщики. Важная, чудесная, ваше высокородие...

Проезжий (*отдавая полштоф денщику*). Ну что же, вы на меня не сердитесь?

Ямщики. За что же, ваше высокородие!.. Много довольны.

Проезжий. А кто у вас тут запевало? (*Ямщики вытаскивают из своей толпы молодого парня с отдутой щекой.*)

Проезжий. Ты?

Парень (*скромно*). Я-с.

Проезжий. Вот вам на всех. (*Дает из кошелька монету; ямщики кланяются и говорят благодарность.*) Ну спойте же песню!.. да хорошенько... (*Парень, придерживая щеку, как это делают вообще запевалы, начинает; все подхватывают.— Песня раздается.*)

Ночь осенняя,
Молодка моя,
Молоденькая и т. д.

Съезжает со двора тройка. Колокольчик разливается, отчего ямщики приходят в большой экстаз.

«Какое безнадежное падение народного духа и народной чести! — воскликнет человек, не умеющий приравнивать своеобразные формы проявлений общего свойства в разных сферах жизни.— Эти люди сейчас были безвинно перебиты человеком, не имевшим никакого права не только бить их, но и взыскивать с них; и что же? этот человек поит их водкой, дает им несколько денег на водку, и они забывают обиду, остаются довольны, даже благодарны. Такой народ совершенно утратил всякое чувство своих прав, всякое сознание человеческого достоинства; он ни к чему не способен, кроме как быть битым от всякого встречного и поперечного». Спора нет, черта, выставляемая г. Успенским, очень печальна; но выводить из нее слишком отчаянные заключения значит страдать идеализацией. Разберем дело повнимательнее. Во-первых, неужели вы думаете, что побитые ямщики в самом деле не чувствуют ни боли, ни озлобления? Что они не выражают этого чувства, даже поступают наперекор ему, ровно ничего еще не свидетельствует против силы чувства и против возможности и готовности поступить сообразно ему при первом удобном случае. Человек очень горячо выражает свое чувство, только пока еще не свыкся с ним; но через

несколько времени он перестает жаловаться и суетиться, если жалобы и суеты ни к чему не ведут; он получает хладнокровный вид и даже начинает поступать, как будто бы не имеет чувства,— но ведь это вовсе еще не значит, что оно исчезло совсем в нем. Посмотрите, например, на больных: у кого случился флюс в первый раз, тот бог знает как кричит и мечется; а когда флюс случится с ним в двадцатый раз, он уже не заговаривает сам о своей болезни, даже неохотно отвечает на ваши вопросы о ней, может уже и шутить и хохотать,— неужели из этого вы заключите, что он не чувствует боли и не имеет желания избавиться от нее? Так и во всем: в первые разы, пока дело остается экстренным, чувство, порождаемое делом, обнаруживается экстренными проявлениями; а когда дело вошло в обычный ход жизни, чувство перестает нарушать обычный ход жизни в ее внешних житейских проявлениях; но еще вопрос, не усилилось ли оно от проникновения в самый корень вашей жизни, а ослабеть уже ни в каком случае не ослабевает оно, хотя и стало молчаливее. Ямщик с раздутой щекой подлежит действию совершенно одинакового психологического закона, от чего бы ни вздулась у него щека,— от флюса ли или от кулака: он был бы нелепым психологическим уродом, если бы обычные проявления его внешней жизни нарушились от факта, принадлежащего к обычному ходу ее. Но совершенно другое дело спросить: доволен ли он разными принадлежностями этого обычного хода жизни? Могут сказать: «однако же, если отношения, производящие искусственное подобие флюса, не нравятся этим людям, зачем не предпринимают они ничего для изменения обстоятельств?» Пусть читатель вспомнит, о каком разряде людей рассказывает нам г. Успенский и рассуждаем мы по его заметкам. Это — люди дюжинные, люди бесцветные, лишенные инициативы; во всех сословиях они одинаково живут день за день, не умея сами взяться ни за что новое и ожидая внешних поводов и возбуждений для того, чтобы действовать в каком бы то ни было смысле. Г-ну Успенскому случилось выставить нам, как пример народных обстоятельств относительно искусственного флюса, дюжинных людей из сословия ямщиков. Посмотрите же, как поступают ямщики и в других делах, в которых, несомненно, нашли бы они выгоду изменить прежний порядок и с охотою изменили бы его. У нас был обычай запрягать лошадей тройкою. Не знаем, как в других

местах, а по трактам от Москвы на юго-восток ямщики очень долго сохраняли, в некоторых местностях, быть может и сохраняют и теперь, стремление запрягать вам тройку, хотя бы вы платили прогоны только на пару. «Да зачем же это запрягать лишнюю лошадь, за которую я не плачу?» — спрашиваете, бывало, вы. «Оно, батюшка, так лучше будет».— «Да чем же лучше?» — «Оно лошадкам полегче будет».— «Да ведь я один, у меня поклажи не больше пуда, ведь перекладная телега легка».— «Оно так, батюшка, точно, что и на паре легко, а все лучше припрягу третью». Неужели вы думаете, что этот ямщик не жалеет лошадей или расположен оказывать вам большую услугу, чем обязан? Нисколько; он везет вас из рук плохо, гораздо тише, чем следует по положению; он жалеет лошадей. Зачем же он гоняет лишнюю лошадь совершенно даром? Просто потому, что так заведено, а дюжинные люди делают только то, что заведено, а масса людей во всяком звании — дюжинные люди. ⟨...⟩ Управляет отдельным человеком не расчет выгоды или невыгоды, надобности или ненадобности, опасности или безопасности совершаемого им действия в данных обстоятельствах, а машинальная привычка, нечто вроде той силы, которая направляет шаги лунатика. «Так заведено», вот и все.

Кто не привык смотреть на человека во всяком звании просто как на человека... тот, пожалуй, скажет, что этою чертою действовать по заведенному порядку народ отличается от нас, образованных людей. Нет, нисколько. И в наших сословиях все дюжинные люди, то есть громаднейшее большинство, поступает точно так же. ⟨...⟩

«Так заведено» — это еще не объяснение. Почему же «так заведено»? Входить в подобное объяснение, значит втягиваться в длинную историю. Вероятно, были когда-нибудь достаточные причины установляться такой или другой привычке; вероятно, продолжают эти причины действовать, если она еще не изменилась. Если, например, но мы говорим это только к примеру, а не для выражения каких-нибудь действительных отношений,— если, например, один человек обижает другого и другой этот не жалуется на обидчика, то надобно полагать, что он уверен в бесполезности жалобы или даже опасается от нее новых обид и неприятностей себе. Точно так же, если один человек обижает других, которые сами по себе сильнее его и собственно от него могли бы защищаться, а между

тем не защищаются, то надобно полагать, что в случае обороны они возбудили бы против себя другую силу [более могущественную], что они знают об этом и что собственно только это знание удерживает их от обороны.

[Мы предположили случаи, встречающиеся во всякие времена везде. Но если мы предположим, что в какой-нибудь стране эти случаи долго составляли сущность всех отношений, то натурально было завестись в этой стране обычаю не защищать своих прав ни собственными средствами, ни законными жалобами. Положительно можно сказать, что каков бы ни был характер чувств или мыслей народа в этой стране, обычною чертою жизни установилась бы в этой стране безответность против обид]. ⟨...⟩

Мы нашли ближайшую причину той невозможности защитить свои права, которая заставляет дюжинных людей в народе безответно переносить страдания и неприятности, не обнаруживая даже злобы на обидчиков. Но ведь если всмотреться поближе в эту частную и ближайшую причину, она сама требует объяснения. ⟨...⟩ От всяких несправедливостей и наглостей страдает масса, а полезны или приятны они только небольшому числу людей. Отчего же за малочисленными обидчиками остается сила, а бесчисленные обижаемые находят себя бессильными? Понять это поможет нам рассказ г. Успенского «Обоз». В этом маленьком очерке нет ровно никаких особенностей, происшествий: среди сильной метели кое-как дотащился обоз до постоялого двора; мужики поотогрелись, и один из них позабавил товарищей на сон грядущий анекдотом о том, какие здоровенные лошади были у какого-то неизвестного извозчика; под этот рассказ усталые мужики крепко уснули. Дальше тоже не случилось ничего особенного. ⟨...⟩

Кажется, если бы г. Успенский написал только эти три-четыре страницы о народе, мы и тогда должны были бы назвать его человеком, которому удалось так глубоко заглянуть в народную жизнь и так ярко выставить перед нами коренную причину ее тяжелого хода, как никому из других беллетристов. Когда вы прочтете эти страницы, вы вспомните, что было кое-что о том же предмете замечаемо и другими, начиная с знаменитой сцены в «Мертвых душах», когда Чичиков расспрашивает у мужика о дороге в деревню Маниловку. Но то все говорилось мимоходом, и смысл сказанного сглаживался резким выстав-

лением других подробностей народной жизни. А г. Успенский заботливо всмотрелся в эту черту и дал нам вдоволь полюбоваться на нее, не отвлекая от нее нашего пристального взгляда ничем другим более разнообразным или живым. Скажите же, не наводило на вас тоску то же самое бесконечное толкование наших простолюдинов, напрасно бьющихся над соображением самым простым? Вот сколько часов бьются люди, чтобы сосчитать сумму в какие-нибудь сорок копеек,— сумму, составляющуюся из сложения всего каких-нибудь трех-четырех статей. Господи, как ломают они голову, каких штук не придумывают, чтобы одолеть эту трудность! и просто считают, и мелом рисуют, и на счетах выкладывают, и какими-то чихверями валяют, и все-таки так-таки и отдали деньги и уехали с постоялого двора, не сосчитав, сколько они должны заплатить и правильно ли требует с них хозяин. Целые пять верст уже проехали они в темноте по сугробам, и наверное целых два часа ехали, и все в размышлениях о неконченном расчете, тут только, наконец, показалось одному, будто он сообразил свой расчет, но и это чуть ли не было ошибкой: по крайней мере, найденное им решение задачи вызвало новые нескончаемые толки.

Правда ли это? Так ли оно действительно бывает? Скажите же после этого, где же прославляемая сметливость русского простолюдина? Только немногие, очень горячо и небестолково любящие народ, поймут, как достало у г. Успенского решимости выставить перед нами эту черту народа, без всякого смягчения. Да понимал ли он, что делает? Только в том случае, если не понимал он, и могут простить ему этот отрывок квасные патриоты, разряд которых гораздо обширнее, чем воображают разные господа, подсмеивающиеся над квасными патриотами, а сами принадлежащие к их числу [6]. Ведь г. Успенский выставил нам русского простолюдина простофилею. Обидно, очень обидно это красноречивым панегиристам русского ума,— глубокого и быстрого народного смысла. Обидно оно, это так, а все-таки объясняет нам ход народной жизни, и, к величайшей досаде нашей, ничем другим нельзя объяснить эту жизнь, кроме тупой нескладицы в народных мыслях. Если сказано «простофиля», вся его жизнь понятна:

> Я в другую: мужик! хорошо ли ешь, пьешь?
> Холодно, странничек, холодно,
> Холодно, родименький, холодно!

Я в деревню: мужик! ты тепло ли живешь?
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименький, голодно!
Уж я в третью: мужик! что ты бабу бьешь?
С холоду, странничек, с холоду,
С холоду, родименький, с холоду!
Я в четверту: мужик! что в кабак ты идешь?
С голоду, странничек, с голоду,
С голоду, родименький, с голоду![7]

Жалкие ответы, слова нет, но глупые ответы. «Я живу холодно, холодно».— А разве не можешь ты жить тепло? Разве нельзя быть избе теплою? — «Я живу голодно, голодно».— Да разве нельзя тебе жить сытно, разве плоха земля, если ты живешь на черноземе, или мало земли вокруг тебя, если она не чернозем,— чего же ты смотришь?— «Жену я бью, потому что рассержен холодом».— Да разве жена в этом виновата? — «Я в кабак иду с голоду».— Разве тебя накормят в кабаке? Ответы твои понятны только тогда, когда тебя признать простофилею. Не так следует жить и не так следует отвечать, если ты не глуп.

Но только вы не забудьте, что мы видим в русском мужике не особенное существо, 〈...〉 а видим в нем просто человека, и если находим какое-нибудь качество в дюжинных людях русского мужицкого сословия, изображаемых у г. Успенского, то в этом же самом качестве мы готовы уличить и огромное большинство людей всякого сословия,— быть может, и мы с вами, читатель, не составляем исключения. [Исключений мало. Правда, в них-то и вся важность, от них-то только и пошло все немногое хорошее, что есть в нашей жизни, и от них только будет улучшаться она.] Теперь, вслед за г. Успенским, мы ведем речь не об этих исключениях, а о людях дюжинных, об огромном большинстве людей.

Русскому мужику трудно связать в голове дельным образом две дельные мысли, он бесконечно ломает голову над пустяками, которые ясны, как дважды два — четыре; его ум слишком неповоротлив, рутина засела в его мысль так крепко, что не дает никуда двинуться,— это так; но какой же мужик превосходит нашего быстротою понимания? О немецком поселянине все говорят то же самое, о французском — то же, английский едва ли не стоит еще ниже их. Французские поселяне заслужили всесветную репутацию [тем, что их тупою силою были задушены

все зародыши стремлений к лучшему, являвшиеся в последнее время во Франции]. Итальянские поселяне прославились совершенным равнодушием к итальянскому делу. [Немецкие мужики в 1848 году почти повсеместно объявляли, что не хотят никаких перемен в нынешнем положении Германии. Английские поселяне составляют незыблемую опору торийской партии.] Но что же говорить о каких бы то ни было поселянах, ведь они невежды, им натурально играть в истории дикую роль, когда они не вышли из того исторического периода, от которого сохранились гомеровы поэмы, «Эдда»[8] и наши богатырские песни. Посмотрите на другие сословия. В какой кружок людей ни взойдите, вы не растолкуете большинству их ничего превышающего круг их рутинных понятий; вы в бог знает сколько времени не научите их сочетать правильным порядком хотя эти привычные им понятия. ⟨...⟩

Но не забудьте, о чем мы говорим: мы говорим о том, что хорошо ли идет жизнь и умеют ли люди скоро сообразить, отчего она идет дурно и чем можно поправить ее; скоро ли и легко ли растолкуешь им это, если сам понимаешь, или скоро ли поймешь чье-нибудь дельное толкование, если еще не понимаешь. Вот только об этом мы говорим; только тут люди оказываются чрезвычайно несообразительны, просто сказать, тупоумны. А в рутинных делах — помилуйте,— почти все они очень понятливы, чуть не гениальны; быть может, не всегда рассудительны в поступках,— что ж делать, человеческая слабость,— но в мыслях чрезвычайно бойки. Интрижку ли устроить, отговорку ли какую придумать, намолоть ли три короба чепухи по какому-нибудь расчету,— на это мастер почти каждый, кто хоть сколько-нибудь пообтерся в жизни. Но ведь в этих делах и всякий мужик, в том числе и наш русский мужик, никому не уступит сообразительностью, изворотливостью, живостью и быстротой мысли. Торгуется он, например, так, что иной сиделец может ему позавидовать,— обмануть вас, он так искусно обманет, что после только подивишься, и вы не заблуждайтесь, не сочтите за доказательство противного ту нелепую, тупоумную бессчетность, какую обнаружили ямщики г. Успенского в расчете с хозяином постоялого двора. Это случай, в котором рутина показывает напрасность всяких усилий проверить счет хозяина. Считай, не считай, все-таки надобно отдать, сколько он требует. ⟨...⟩

Рутина господствует над обыкновенным ходом жизни

дюжинных людей и в простом народе, как во всех других сословиях, и в простом народе рутина точно так же тупа, пошла, как во всех других сословиях. Заслуга г. Успенского состоит в том, что он отважился без всяких утаек и прикрас изобразить нам рутинные мысли и поступки, чувства и обычаи простолюдинов. Картина выходит вовсе непривлекательная: на каждом шагу вздор и грязь, мелочность и тупость.

Но не спешите выводить из этого никаких заключений о состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если вы желаете улучшения судьбы народа, или ваших опасений, если вы до сих пор находили себе интерес в народной тупости и вялости. Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого человека: как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергических усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории каждого народа. Мы говорили, например, что французские поселяне могут быть характеризованы почти теми же чертами, как наши или всякие другие; а разве не было во французской истории эпох, когда они действовали очень энергически? То же случилось и с немецкими поселянами. Разумеется, после таких оживленных действий масса народа снова впадает в прежнюю пошлую апатию, как впадает в нее и всякий дюжинный человек после каждого чрезвычайного усилия. Но совершившийся факт все-таки производит перемену в отношениях. 〈...〉

Мы остановились на том, что в жизни каждого дюжинного человека бывают минуты, когда нельзя его узнать, так он изменяется или порывом благородного чувства, или мимолетным влиянием чрезвычайных обстоятельств, или просто наконец тем, что не может же навек хватить ему силы холодно держаться в неприятном положении. Это все равно, что смирная лошадь (если позволите такое сравнение). Ездит, ездит лошадь смирно и благоразумно — и вдруг встанет на дыбы или заржет и понесет; отчего это с ней приключилось, кто ее разберет: быть может, укусил ее овод, быть может, она испугалась чего-нибудь, быть может, кучер как-нибудь неловко передернул вожжами. Разумеется, эта экстренная деятельность смирной лошади протянется недолго: через пять минут она останавливается и как-то странно смотрит по сторонам, как будто стыдясь за свою выходку. Но все-таки без

нескольких таких выходок не обойдется смирная деятельность самой кроткой лошади. Будет ли какой-нибудь прок из такой выходки, или принесет она только вред, это зависит от того, даст ли ей направление искусная и сильная рука. Если вожжи схвачены такою рукою, лошадь в пять минут своей горячности передвинет вас (и себя, разумеется) так далеко вперед, что в целый час не подвинуться бы на такое пространство мерным тихим шагом. Но если не будет сообщено надлежащее направление порыву, результатом его останутся только переломленные оглобли и усталость самой лошади. ⟨...⟩

Однако же не лучше ли будет нам остановиться на этом и для заключения статьи припомнить кое-какие из мыслей, внушенные нам книгою г. Успенского. Мы заметили радикальную разницу между характером рассказов о простонародном быте у г. Успенского и у его предшественников. Те идеализировали мужицкий быт, изображали нам простолюдинов такими благородными, возвышенными, добродетельными, кроткими и умными, терпеливыми и энергическими, что оставалось только умиляться над описаниями их интересных достоинств и проливать нежные слезы о неприятностях, которым подвергались иногда такие милые существа, и подвергались всегда без всякой вины или даже причины в самих себе. ⟨...⟩

Очерки г. Успенского производят тяжелое впечатление на того, кто не вдумается в причину разницы тона у него и у прежних писателей. Но, вдумавшись в дело, чувствуешь, что очерки г. Успенского — очень хороший признак. Мы замечали, что решимость г. Успенского описывать народ в столь мало лестном для народа духе свидетельствует о значительной перемене в обстоятельствах, о большой разности нынешних времен от недавней поры, когда ни у кого не поднялась бы рука изобличать народ. Мы замечали, что резко говорить о недостатках известного человека или класса, находящегося в дурном положении, можно только тогда, когда дурное положение представляется продолжающимся только по его собственной вине и для своего улучшения нуждается только в его собственном желании изменить свою судьбу. В этом смысле надобно назвать очень отрадным явлением рассказы г. Успенского, в содержании которых нет ничего отрадного.

Заканчивая этим отзывом разбор книги г. Успенского, мы предадимся теперь отвлеченным психологическим размышлениям, которые, конечно, будут иметь очень мало

связи с рассказами г. Успенского, а с жизнью русского народа не будут уже иметь никакой связи.

Если мы будем наблюдать причины перемен, происходящих в образе мыслей и поступков у дюжинных людей, лишенных внутренней инициативы, мы найдем, что эти причины подводятся под два главные разряда.

К первому разряду относятся бессознательные и, можно сказать, бесцельные побуждения, проистекающие из ограниченности человеческого терпения, которое, подобно всем другим свойствам человеческой натуры, никак не может считаться бесконечным. Замечательнейший психологический факт этого рода представляют машинальные действия человека, погруженного в глубокий сон. С каждым из нас часто бывает, что, заснув на правом боку, он просыпается лежащим уже на левом боку, или наоборот. Какие причины заставили его повернуться с одного бока на другой, он не знает; не знал и того, что повертывается, когда повертывался, и заметил это уже гораздо позднее, когда проснулся. А между тем он все-таки повернулся. Отчего это сделалось с ним? Конечно, оттого, что стало ему, наконец, неудобно лежать на прежнем боку, и развилась в нем потребность изменить свое положение. Мы уже замечали, что сознательным образом он не чувствовал появления этой потребности; а нечего уже и говорить о том, что он не обнаруживал ее никакими словами, он спал крепко и молчал. Но все-таки эта бессознательность и молчаливость не помешала совершиться факту. Можно наблюдать очень много подобных действий, совершаемых во время глубокого сна. ⟨...⟩

Но сон имеет свой конец, как все в человеческой жизни, и точно так же имеют большой психологический интерес факты, наблюдаемые при пробуждении. Если сон кончается сам собою, а не от внешних раздражений, пробуждение бывает очень спокойно; напротив, когда человек не сам просыпается, а бывает пробуждаем слишком резкими впечатлениями, он впросонках обнаруживает тревожную и очень резкую деятельность: вскрикивает, мечется, вскакивает и бывает похож на сумасшедшего. Это машинальное напряжение нерв и мускулов довольно скоро успокоивается, так что не стоит обращать на него особенное внимание; но вообще надобно сказать, что психология находит довольно опасною вещью неосторожное обращение с сонным. Мы указали на наблюдения над сонными людьми и свидетельство того, что могут происхо-

дить действия решительно без всякого предшествующего сознания надобности этих действий, даже без сознания о неудобстве положения, к изменению которого клонится действие. ⟨...⟩

На основании этих выводов мы скажем, что, если, например, масса русских простолюдинов невежественна и апатична, это еще не дает нам права отрицать в них способность проникнуться наклонностью к какому-нибудь другому порядку жизни, хотя бы он и не был хорошенько известен ей, и даже энергически устремиться к приобретению этого лучшего неведомого ей состояния.

Читатель понимает, о каких улучшениях в жизни народа мы говорим. Мы разумеем здесь грамотность, без которой ничего хорошего быть не может, как доказывают почти все приверженцы народных школ,— люди, пользующиеся полным нашим сочувствием. Быть может, напрасно шли мы таким длинным путем извилистых рассуждений, чтобы убедить читателя в истине, которую, вероятно, был бы он готов признать с первого же слова: нужды нет, что народ наш не знает грамоте; он все-таки может любить эту грамоту, которой еще не знает; и нет нужды, что он апатичен; он все-таки может в очень непродолжительное время проникнуться усердием к изучению грамоты. Откуда возьмется у него такое усердие? Да просто оттого, что слишком долго оставался он безграмотен; самая продолжительность безграмотного состояния может истощить его апатическое терпение, и он вдруг суетливо устремится вознаградить потерянное время.

Но мы говорили, что не одна только ограниченность терпения служит причиною перемен в жизни дюжинных людей. Если не ошибаемся, мы уже замечали, что в простом народе, как и во всех других сословиях, кроме большинства, состоящего из людей, лишенных инициативы, встречаются люди энергического ума и характера, способные обдумывать данное положение, понимать данное сочетание обстоятельств, сознавать свои потребности, соображать способы к их удовлетворению при данных обстоятельствах и действовать самостоятельно. Г. Успенский не находил до сих пор частью своей задачи изображение подобных лиц в простом народе. Это, конечно, потому, что он поставил себе целью знакомить нас с господствующим тоном народной жизни, а в нем до сих пор исключительно преобладала рутина дюжинных людей и нисколько не обнаруживалось влияние людей, имеющих в себе силу

инициативы. Но нельзя сомневаться в существовании таких людей. Совершенно ненатурально и неправдоподобно было бы предположить их несуществование. Нет сословия, в котором не было бы хромых, кривых, горбатых и, с другой стороны, не было бы людей очень стройных, очень красивых и очень здоровых. Точно так же в каждом сословии непременно должны быть, с одной стороны, люди, стоящие гораздо ниже, а с другой стороны, люди, стоящие гораздо выше общего уровня по уму и характеру. Но это отвлеченное доказательство невозможности отсутствия в простолюдинах способных к инициативе совершенно не нужно ни для кого, имевшего случай знакомиться с простолюдинами. Кто сближается с ними, наверное встречал между ними людей, поражавших его силою ума и характера. Является теперь вопрос: почему же не имели они до сих пор влияния на жизнь массы и способна ли она подчиниться ему? Почему не имели, на это можно отвечать знаменитыми стихами Пушкина о людях совершенно другого рода:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон[9] и т. д.

В самом деле, почему поэт не всегда пишет стихи, почему живописец не вечно рисует картины, почему иной человек, очень любящий играть на биллиарде, очень долго не берет в руки кия, почему Колумб очень долго не ехал открывать Америку, и так далее? Всякий знает почему: каждый человек занимается любимым делом или действует сообразно своей натуре только тогда, когда это возможно, когда обстоятельства располагаются вызывающим к деятельности образом или, по крайней мере, начинают допускать эту деятельность. Не забудем, о каких людях мы теперь говорим, о людях умных и сильного характера. Умный человек не ввязывается в дела, пока не стоит в них ввязываться, он держится в стороне и молчит, если достает у него твердости характера на выжидающую роль. (А ведь мы говорим о людях, способных к инициативе, для которой непременно нужно, кроме ума, и твердость характера.) Очень хорошо уловлена Шиллером[10] эта черта исторической жизни в первых сценах «Вильгельма Телля». Стоят и толкуют между собою люди о своих делах. Но делать им еще нечего, и Вильгельма Телля нет между ними. Кто он и где он, мы не знаем; он, кажется, нянчит ребенка,

болтает с женой, охотится за сернами,— словом сказать, бездельничает или погружен в свои личные дела, и не слышен его голос в разговорах толпы о делах Швейцарии. Но вот надобно сделать дело; не решается никто из почтенных патриотов, рассуждавших о благе отечества. Тут бог знает откуда появляется Вильгельм Телль, спрашивает, где лодка, и спасает человека, который через минуту погиб бы, если бы не увез его Телль.

Но к чему возвышенное сравнение? Лучше взять пример из нашей обыденной жизни. Пока не предвидится вакансии, нет и кандидатов на должность. Но не было еще примера, чтобы порядочная должность оставалась не занятою по недостатку кандидата, к этому случаю прилагаются наши поговорки: «Был бы хлеб, а зубы будут» и «Свято место не живет пусто».

Нельзя найти в истории ни одного случая, в котором не явились бы на первый план люди, соответствующие характеру обстоятельств. Если в обстоятельствах происходила быстрая перемена, требовавшая людей иного характера, чем прежние деятели, выступали на первые места люди, о которых до той поры не было ни слуху, ни духу. Неужели вы полагаете, что Нельсон [11] был знаменитым адмиралом, когда Англия еще не начинала войн, потребовавших адмирала вроде Нельсона. Руссо [12] успел стать пожилым человеком и не был никому известен, пока не потребовались обстоятельствами сочинения в том роде, в каком способен был писать Руссо. Неужели запрягают волов в плуг раньше, чем приходит пора пахать?

Тяжела обязанность журналиста. Едва он увлечется какими-нибудь приятными ему психологическими изысканиями, едва он придет в такое расположение духа, чтобы служить отвлеченной науке, как вдруг припоминается ему журнальное отношение, надобность угождать желанию писателя, сотрудничеством которого дорожит журнал. Вот и нас останавливает среди многотрудных и полезных исследований мысль: как понравится наша статья г. Успенскому? Она решительно не понравится ему, если станет продолжаться и окончится в том роде, как шла вторая половина ее. Он найдет, что статья о его книге слишком мало занимается его книгою. Нечего делать, надобно угодить г. Успенскому и начать речь собственно о нем и о его книге.

Особенность таланта г. Успенского состоит в том, что он говорит о мужиках без церемоний, как о людях, кото-

рых он сам считает и читатель его должен считать за людей, одинаковых с собою, за людей, о которых можно говорить откровенно все, что замечаешь о них. Он нимало не стесняется в их обществе. Мы уверены, читая его книгу, думаешь, что когда он сидит на постоялом дворе или за обедом у мужика или бродит между народом на гулянье, его сиволапые собеседники не делают о нем такого отзыва, что вот, дескать, какой добрый и ласковый барин, а говорят о нем запросто как о своем брате, что, дескать, это парень хороший и можно водить с ним компанство. Десять лет тому назад не было из нас, образованных людей, такого человека, который производил бы на крестьян подобное впечатление. Теперь оно производится нередко. Если вы одеты не бог знает как богато, если вы человек простой по характеру и если вы действительно любите народ, мужик не отличает вас ни по разговору, ни по языку от своей братьи, отпущенников; это свидетельствует о том, что в числе людей, принадлежащих по своим интересам к народу, есть уже такие, которые довольно похожи на нас с вами, читатель. Свидетельствует также, что образованные люди уже могут, когда хотят, становиться понятны и близки народу. Вот вам жизнь уже и приготовила решение задачи, которая своею мнимою трудностью так обескураживает славянофилов и других идеалистов, вслед за славянофилами толкующих о надобности делать какие-то фантастические фокус-покусы для сближения с народом. Никаких особенных тут штук не требуется: говорите с мужиком просто и непринужденно, и он поймет вас; входите в его интересы, и вы приобретете его сочувствие. Это дело совершенно легкое для того, кто в самом деле любит народ,— любит не на словах, а в душе.

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

1836–1861

Писатель, страстно ненавидевший произвол.

В. И. Ленин

Однажды один из саратовских знакомых Чернышевского принес ему небольшую тетрадь и сказал, что его товарищ студент Главного педагогического института Добролюбов просил Николая Гавриловича посмотреть, не подойдет ли написанная им статья для «Современника». Чернышевскому статья понравилась. Он почувствовал, что имеет дело с уже вполне сложившимся и талантливым критиком, и пожелал познакомиться с автором. Вскоре на квартиру Чернышевского пришел молодой человек высокого роста, с крупными чертами лица, на котором за стеклами очков светились глубоким умом небольшие серьезные глаза. Беседа затянулась за полночь. О чем только не переговорили они в тот вечер. Николай Александрович Добролюбов рассказал об отце, о своем сиротстве, о положении в институте. Расставаясь, Чернышевский сказал: «Я хотел увидеть, достаточно ли подходят ваши понятия к направлению «Современника»; вижу теперь, подходят; я скажу Некрасову, что вы будете постоянным сотрудником «Современника».

Вскоре статья Добролюбова «Собеседник любителей российского слова» и небольшая заметка критического содержания «Описание Главного педагогического института в настоящем его состоянии...» были напечатаны в августовском номере «Современника» за 1856 год. Однако постоянное сотрудничество в журнале Чернышевский просил Добролюбова отложить до окончания института, так как, узнав об участии своего студента в «крамольном» издании, институтское начальство неминуемо попыталось бы избавиться от него.

Только в середине 1857 года, после того как были сданы последние экзамены, Добролюбов смог полностью посвятить себя работе в «Современнике», а к концу года уже возглавил отдел критики и библиографии и факти-

чески стал вместе с Некрасовым и Чернышевским одним из редакторов журнала. Особенно близкие и дружеские отношения сложились у молодого критика с Чернышевским, в котором он видел не только учителя и наставника, но и друга, соратника по общему делу.

Стремительным было вхождение Добролюбова в литературу. В короткое время он стал одним из самых авторитетнейших критиков и публицистов своего времени. К его мнению прислушивались и многие побаивались его едких, проникнутых тонкой иронией журнальных выступлений. Современников поражали глубина и основательность суждений молодого критика, его широкая образованность и осведомленность во многих вопросах: философии, экономике, педагогике, эстетике и литературе. Даже его литературные противники не могли не признать выдающегося дарования нового сотрудника «Современника». Так, Тургенев говорил Некрасову: «Меня удивляет, каким образом Добролюбов, недавно оставив школьную скамью, мог так основательно ознакомиться с хорошими иностранными сочинениями! и какая чертовская память». А память у Добролюбова была действительно поразительная. Работая над своими статьями, он никогда не обращался ни к каким справочникам, так как отлично помнил, что и где когда-либо было напечатано.

Мировоззрение Добролюбова складывалось под воздействием Чернышевского. Вместе со своим старшим товарищем и другом Добролюбов вел на страницах «Современника» активную пропаганду революционно-демократических идей, пробуждал сознание читателей, стремился внушить им мысль о необходимости неустанной борьбы против крепостничества во всех его проявлениях, против идеологии дворян-либералов, объективно служившей реакции. В своих литературно-критических и публицистических статьях он затрагивал множество вопросов самого различного характера. Очень часто та или иная книга, будь то ученый труд или художественное произведение, популярная брошюра или учебник, служили Добролюбову лишь поводом для того, чтобы ставить и решать проблемы общественно-политического и философского характера.

Стремясь расширить круг своей деятельности, Добролюбов выступал не только как критик и публицист, но и как поэт-сатирик и пародист. Блестящее дарование

Добролюбова-сатирика развернулось на страницах «Свистка», печатавшегося в виде приложения к «Современнику». Острие его сатиры было направлено против тех же врагов, которых он обличал в своих публицистических и литературно-критических статьях. В «Свистке» Добролюбов печатал статьи, фельетоны, сатирические стихи и пародии, в которых откликался на самые актуальные вопросы и события современности.

Но далеко не обо всем мог открыто писать Добролюбов. Ему приходилось прибегать к различным намекам, надеясь, что читатель сумеет понять, о чем он хотел, но не мог сказать.

В одной из своих статей Добролюбов признавался: «Многое мы не досказали, об ином, напротив, говорили очень длинно... Виною того и другого был более всего способ выражения,— отчасти метафорический,— которого мы должны были держаться...»

Но далеко не всегда Добролюбову удавалось обмануть бдительное око цензуры. И тогда его статьи возвращались в редакцию испещренными и перечеркнутыми красными чернилами. Но критик был убежден, что «цензура ничему не помешает, да и никто не в состоянии помешать делу таланта и мысли». Он настойчиво искал любую возможность для преодоления цензурных рогаток: сам ездил с объяснениями к цензорам и старался убедить их, что ничего предосудительного он не хотел сказать, а когда это не помогало, то садился и переписывал запрещенные разделы статьи другими словами, оставляя в неприкосновенности ее суть.

Всего четыре с половиной года продолжалась литературная деятельность Добролюбова. Трудные годы студенческой жизни, огромная, напряженная журнальная работа подорвали здоровье Добролюбова. По настоянию Некрасова и Чернышевского он уехал лечиться за границу. Однако это не помогло. 29 ноября 1861 года Добролюбова не стало.

Глубокой болью отозвалась смерть критика в сердцах его друзей.

Какой светильник разума угас,
Какое сердце биться перестало,—

писал Некрасов в стихотворении «Памяти Добролюбова». А Чернышевский в некрологе на смерть Добролюбова отмечал: «Невознаградима его потеря для народа, лю-

бовью к которому горел и так рано сгорел он. О, как любил он тебя, народ! До тебя не доходило его слово, но когда ты будешь тем, чем он хотел тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих».

Деятельность Добролюбова оказала сильнейшее воздействие на развитие передовых идей в России, на формирование взглядов многих поколений революционеров. Недаром В. И. Ленин в статье «Начало демонстраций» писал: «...всей образованной и мыслящей России дорог писатель, страстно ненавидевший произвол и страстно ждавший народного восстания против «внутренних турок» — против самодержавного правительства».

О значении авторитета в воспитании

(Мысли по поводу «Вопросов жизни» г. Пирогова[1])

Умственное движение, возбужденное в нашем обществе событиями последних годов, обратилось недавно и к вопросам о воспитании. Теперь у нас основано уже два педагогических журнала[2] и, кроме того, статьи о воспитании появляются от времени до времени и в других изданиях. ⟨...⟩ Многие из этих статей находили сочувствие в читателях, но ни одна из них не имела такого полного и блестящего успеха, как «Вопросы жизни» г. Пирогова. Они поразили всех — и светлостью взгляда, и благородным направлением мыслей автора, и пламенной, живой диалектикой, и художественным представлением затронутого вопроса. Все, читавшие статью г. Пирогова, были от нее в восторге, все о ней говорили, рассуждали, делали свои соображения и выводы. В этом случае общество предупредило даже литературную критику, которая только подтвердила общие похвалы, не пускаясь в подробный анализ статьи и не делая никаких своих заключений. Это явление весьма много говорит в пользу русской публики, и оно тем более замечательно,

что статья г. Пирогова вовсе не отличается какими-нибудь сладкими разглагольствованиями или пышными возгласами для усыпления нерадивых отцов и воспитателей, вовсе не старается подделаться под существующий порядок вещей, а, напротив, бросает прямо в лицо всему обществу горькую правду; не обинуясь говорит о том, что́ у нас есть дурного,— смело и горячо, во имя высочайших, вечных истин, преследует мелкие интересы века, узкие понятия, своекорыстные стремления, господствующие в современном обществе. Сочувствие публики к такой статье имеет глубокий святой смысл. Значит, при всем своем несовершенстве, при всех увлечениях на практике, общество наше хочет и умеет, по крайней мере, понимать, что хорошо и справедливо, к чему должно стремиться. Оно уже имеет столько внутренней силы, что не пугается сознания своих недостатков, а сознание прошедшего и настоящего зла есть лучшее ручательство за возможность добра в будущем. С глубокой радостью и искренним сочувствием приветствуя этот благородный порыв русских людей, мы решаемся высказать по поводу статьи г. Пирогова несколько соображений, на которые наводит она всякого мыслящего читателя. Делаем это тем с бо́льшею смелостью, что до сих пор нигде еще не встречали более честного развития тех мыслей, которые заключаются в общих афористических положениях г. Пирогова.

Сущность мыслей, изложенных в «Вопросах жизни», состоит в следующем. Главные и высшие основы нашего воспитания находятся в совершенном разладе с господствующим направлением общества. Из этого выходит, что, оканчивая курс воспитания и вступая в общество, мы находим себя в необходимости *или* отречься от всего, чему нас учили, чтобы подделаться к обществу, *или* следовать своим правилам и убеждениям, становясь таким образом противниками общественного направления. Но жертвовать святыми, высшими убеждениями для житейских расчетов — слишком безнравственно и отвратительно; а идти против неправды — где же взять сил на это? К такой борьбе с ложным направлением общества воспитание совсем не готовит нас. Оно даже совсем не заботится о том, чтобы вкоренить в нас высшие, человеческие убеждения; оно хлопочет только о том, чтобы сделать нас учеными, юристами, врачами, солдатами и т. п. Между тем, вступая в жизнь, человек хочет иметь

какое-нибудь убеждение, хочет определить, что он такое, какая его цель и назначение. Всматриваясь в себя, он находит уже готовое решение этих вопросов, данное воспитанием, а присматриваясь к обществу, видит в нем стремления, совершенно противоположные этим решениям. Он хочет бороться со злом и ложью, но здесь-то и оказывается вся несостоятельность его прежнего воспитания: он не приготовлен к борьбе, он для того должен сначала перевоспитать себя, чтобы выйти на арену бойца... А между тем годы летят, жизнь не ждет, нужно действовать... и человек действует, как попало, часто падая под бременем тяжелых вопросов, увлекаясь стремительным течением толпы то в ту, то в другую сторону, потому что сам собою он не умеет действовать, в нем не воспитан внутренний человек, в нем нет убеждений. А убеждения даются не легко: «только тот может иметь их, кто *приучен с ранних лет проницательно смотреть в себя,* кто приучен с первых лет жизни *любить искренно правду, стоять за нее горою и быть непринужденно откровенным* — как с наставниками, так и с сверстниками».

На этом останавливается г. Пирогов. Он указывает зло в воспитании и доказывает свои положения с беспощадной, неотразимой логической силой. Он дает понимать и угадывать причину зла: преобладание внешности в самом воспитании, пренебрежение внутреннего человека. Но каким образом именно убивается в детях внутренний человек, отчего внешнее развивается в них более, от каких частных влияний они выходят на жизненное поприще неприготовленными, бессильными — этого г. Пирогов не разбирает подробно, а опять предоставляет только угадывать. Мы решаемся высказать здесь несколько мыслей об этом, родившихся в нас по прочтении «Вопросов жизни».

Трактуя с своих педагогических высот вопросы о воспитании, мы до сих пор очень сильно напоминали басню, в которой поставили волков в начальники над овцами. Здесь все обстоятельства были прекрасно соображены, все голоса собраны, только одного недоставало: не спросили самих овец. Так точно большая часть наших педагогических рассуждений, отлично разбирая вопросы высшей философии, представляя верные и полезные правила с точки зрения религиозной, государственной, нравственной, общепсихологической и т. п., упускает из

виду одно весьма важное обстоятельство — действительную жизнь и природу детей, и вообще воспитываемых... Оттого дитя нередко жертвуется педагогическим расчетам. Вознесшись на своего нравственного конька, воспитатель считает воспитанника своей собственностью, вещью, с которой он может делать, что ему угодно. «Дитя не должно иметь своей собственной воли,— говорят премудрые педагоги,— оно должно слепо подчиняться требованиям родителей, учителей, вообще старших. Приказание воспитателя должно быть для него высшим законом и исполняться без малейших рассуждений. Безусловное повиновение — главное и единственно необходимое условие воспитания. Воспитание своей последней целью и имеет именно то, чтобы на место *неразумной* воли ребенка поставить *разумную* волю воспитателя».

Не правда ли, что все это кажется очень логическим и справедливым? Но, припоминая характеристику этого *разумного* воспитания, сделанную в «Вопросах жизни», и сами еще не слишком отдаленные от впечатлений собственного воспитания и учения, мы не можем без недоверчивой улыбки слушать логические рассуждения. Все они, очевидно, обнаруживают только одно: страшную педантическую гордость почтенных педагогов, соединенную с презрением к достоинству человеческой природы вообще. Говоря, что в лице воспитателя осуществляется для ребенка нравственный закон и разумное убеждение, они, очевидно, ставят воспитателя на недосягаемую высоту, непогрешительным образцом нравственности и разумности. Не трудно, конечно, согласиться, что если б возможен был такой идеальный воспитатель, то безусловное, слепое следование его авторитету не принесло бы особенного вреда ребенку (если не считать важным вредом замедление самостоятельного развития личностей). Но, во-первых, идеальный наставник не стал бы и требовать такого *безусловного* повиновения: он постарался бы как можно скорее развить в своем воспитаннике разумные стремления и убеждения. А, во-вторых, искать непогрешимых, идеальных наставников и воспитателей в наше время было бы еще слишком смелая и совершенно напрасная отвага. Для этого требуется слишком много условий. Прежде всего, нравственные правила воспитателя должны быть безусловно верны и строго проведены по всем, самым частным и мелочным случайностям жизни. Темных вопросов, сомнительных случаев для

него никогда и никаких не должно быть: иначе — что же он станет делать, если в подобном случае придется приказывать ребенку, который всякое предписание исполняет безусловно, следовательно, вызвать на рассуждение и соображение никак не может? Кроме того, в воспитателе предполагается еще при этом совершенное бесстрастие: он не может увлечься ни гневом, ни любовью, не может чувствовать лени и утомления, для него не может существовать хорошее и дурное расположение духа, он должен быть не обыкновенным человеком, а особенного рода снарядом, в котором должен, без всяких уклонений, осуществляться нравственный закон. Но, сколько нам известно, подобные снаряды еще не изобретены, а если иные и объявляют, будто они открыли секрет такого изобретения, то в этом опять выражается только их презрение к человеческой природе и желание, во что бы то ни стало, не походить на людей. Если же в воспитателе допустить возможность увлечения, то как можно поручиться за безусловную непогрешимость его действий в отношении к ребенку? И не лучше ли с самых первых лет приучать ребенка к разумному рассуждению, чтобы он как можно скорее приобрел уменье и силы не следовать нашим приказаниям, когда мы приказываем дурно?

В умственном отношении от идеального наставника тоже требуется ясность, твердость и непогрешимость убеждений, чрезвычайно высокое, всестороннее развитие, обширные и разнообразные познания, приведенные в полную гармонию с общими принципами. Самая натура его должна стоять гораздо выше натуры ребенка во всех отношениях. Иначе, что выйдет, если учитель будет, например, восхищаться Державиным и заставит ученика учить оду «Бог», а тому нравится уже Пушкин, а ода «Бог» представляет совершенно непонятный набор слов? Что, если целый год морят над музыкальными гаммами ребенка, у которого пальцы давно уже свободно бегают по клавишам и который только и порывается играть и играть? Что, если дитя восхищается картиной, статуей, пьесой, любуется цветами, насекомыми, с любопытством всматривается в какой-нибудь физический или химический прибор, обращается к своему воспитателю с вопросом, а тот не в состоянии ничего объяснить?.. Тут уже плохое безусловное повиновение! А много ли найдется наставников и воспитателей, которые бы умели объяснить *все* детские вопросы? Многим, конечно, не

раз случалось видать, как иногда семи- или восьмилетнее бойкое дитя забьет в пух и поставит в тупик иного почтенного старичка. А между тем этот почтенный старичок имеет своего воспитанника, который обязан безусловно его слушаться!.. Это уж, конечно, никого в тупик не поставит.

Таким образом, идеальный воспитатель, не желающий, чтобы ребенок рассуждал и убеждался, а требующий только, чтобы он слушался, должен быть готов на все, должен знать все, должен еще предварительно разрешить *все* вопросы, какие могут родиться у воспитанника, обсудить все мнения, соображения и заключения, какие могут когда-нибудь составиться в душе ребенка. Только с этой предупредительностью он может еще как-нибудь вести воспитание, не насилуя детской природы. А затем он должен иметь силы вести воспитанника верным и самым лучшим путем на всяком поприще. Откроет ли он в ребенке наклонность к музыке, к живописи, страсть к ботанике, легкость математического соображения, поэтическое чувство, способность к изучению языков, и пр. и пр., он должен быть вполне способен развить все в своем питомце. Если же он не может за это взяться, значит, он сам еще не столько приготовлен, не столько развит, чтобы руководить других. А если так, то он и не имеет права требовать, чтобы его слушались безусловно.

Но даже если мы допустим, что воспитатель всегда может стать выше личности воспитанника (что и бывает, хотя, конечно, далеко, далеко не всегда), то во всяком случае он не может стать выше целого поколения. Ребенок готовится жить в новой сфере, обстановка его жизни будет уже не та, что была за 20—30 лет, когда получил образование его воспитатель. И обыкновенно воспитатель не только не предвидит, а даже просто не понимает потребностей нового времени и считает их нелепостью. Он старается удержать своего питомца в тех понятиях, в тех правилах, которых сам держится: старание совершенно естественное и понятное, но тем не менее вредное в высшей степени, как скоро оно доходит до стеснения собственной воли и ума ребенка. Из этого происходит то, что естественный смысл воспитанника раскрывается медленнее, и восприимчивость к явлениям и потребностям той жизни, того общества, среди которых придется ему действовать, совсем иногда заглушается старыми предрассудками и мнениями, на веру принятыми в дет-

стве от воспитателей. Такое воспитание, без сомнения, есть враг всякого усовершенствования и успеха и ведет к мертвой неподвижности и застою... влияние его отражается уже не на одних отдельных личностях, а на целом обществе.

Если предрассудки и заблуждения старого поколения насильно, с малых лет, вкореняются во впечатлительной душе ребенка, то просвещение и совершенствование целого народа надолго замедляется этим несчастным обстоятельством. Горький опыт жизни убеждает, правда, целое поколение в неверности того, о чем толковали ему в детстве, и человек теряет часть своего детского энтузиазма к давним внушениям, не оправданным жизнью; но все еще по привычке он держится этих внушений и передает их детям, только с меньшей восторженностью, чем ему самому передавали их. Новое поколение утрачивает еще частичку благоговения к внушенным мнениям; но зато родовая привычка усиливается, и чем дальше, тем бессознательнее, и по тому самому, тем крепче держится народ за предания отцов. Нужно, чтобы жизнь сделала невозможным приложение этих, давно ставших мертвыми, преданий; нужно, чтобы явился мощный гений мысли, чтобы заставить общество почувствовать нужду и возможность изменения в принятых неразумных началах. И после этого открытия,— как медленно, как слабо принимается новая мысль, как долго не проникает она в глубину души людей и не распространяется в массах! Прошли столетия после того, как указано движение земли, а до сих пор простолюдин наш, слыша беспрестанно, что солнышко взошло и закатилось, смотрит на него как на огромный фонарь, подвигающийся по небесному своду от востока до запада.⟨...⟩ Отчего происходит это, как не от влияния неразумных впечатлений детства, перешедших к ребенку, по несчастию, от тех, кого он любит или уважает?.. «Влияние старших поколений на младшие неизбежно, скажете вы,— и его нельзя уничтожить, тем более что при дурных сторонах оно имеет и много хороших; все сокровища знаний, собранные в прошедших веках, передаются ребенку именно под этим влиянием, и без него нельзя поставить человека на ту точку, с которой он должен начать в жизни собственное продолжение всего, что до него было сделано человечеством». Возражение совершенно справедливое, и мы поступили бы безумно, если бы стали требовать уничтожения того, что естест-

венно, само по себе является, существует и уничтожиться не может. Но мы не видим также причины и ратовать за то, что неизбежно само по себе. Младшее поколение необходимо должно быть под влиянием старшего, и от этого проистекает неизмеримая польза для развития и совершенствования человека и человечества. Никто не станет спорить против такой очевидной истины. Мы говорим только о том, зачем же ставить прошедшее идеалом для будущего, зачем требовать от новых поколений *безусловного, слепого* подчинения *мнениям* предшествующих? Для чего уничтожать самостоятельное развитие дитяти, насилуя его природу, убивая в нем веру в себя и заставляя делать только *то, чего я хочу,* и только *так, как я хочу,* и только *потому, что я хочу*?.. А объявляя такое *безусловное* повиновение, вы именно уничтожаете разумное, правильное, свободное развитие дитяти. Как это вредно действует на все нравственное существо ребенка, ясно можно видеть из бесчисленных опытов, равно как из теоретических соображений. Представим некоторые из них.

Прежде всего определим яснее, что нужно разуметь под словом *безусловный. Безусловный* — значит не зависящий ни от каких условий и обстоятельств, неизменно остающийся при всех возможных случайностях, не происходящий вследствие каких-нибудь внешних или внутренних причин, но существующий самобытно и сам в себе заключающий свое оправдание. Из этого следует, что ребенок должен слушаться без рассуждений, слепо веровать своему воспитателю, признавать его приказания единственно непогрешительными, а все остальное несправедливым, и, наконец, делать все не потому, что это хорошо и справедливо, а потому, что это приказано и, следовательно, должно быть хорошо и справедливо.

Посмотрим же, какое психологическое действие может произвести подобное отречение от своей воли в дитяти.

Предположим сначала идеальных воспитателей и наставников. Их внушения всегда справедливы, всегда последовательны, всегда соразмерны со степенью духовного развития ребенка; они сами любимы и уважаемы детьми. Предположим, что подобные воспитатели требуют от детей повиновения *безусловного,* а не *разумного.* Что из этого выходит?

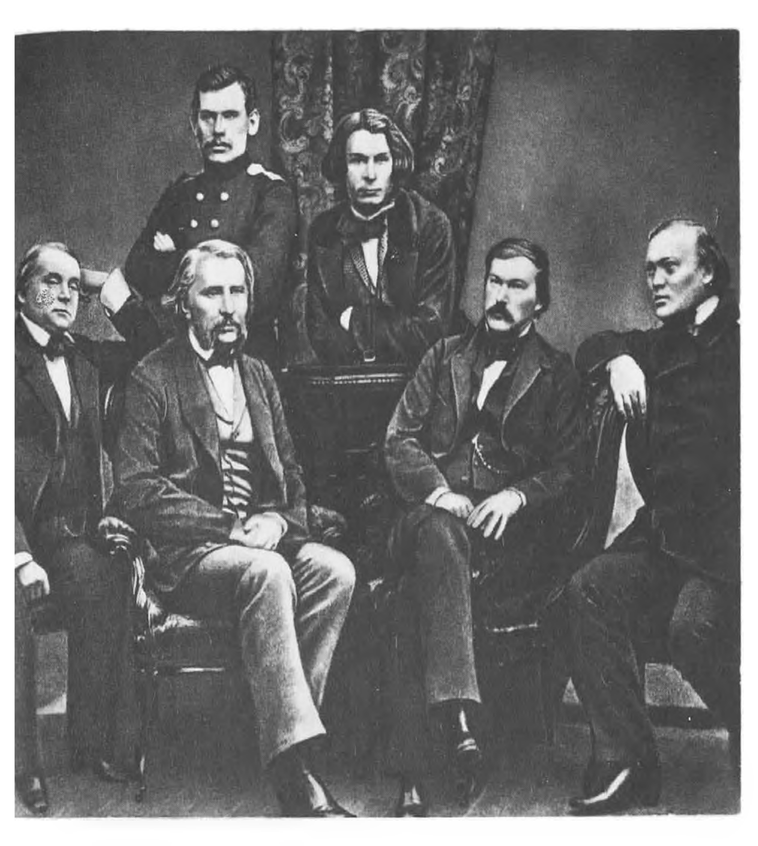
Отдается приказание; ребенок исполняет его беспрекословно; за это его хвалят и награждают. Но в самом поступке нет ничего достойного награды,— ребенок потому и исполнил приказ тотчас, что приказанное дело казалось ему совершенно естественным, что это согласно было с его собственным желанием; за что же его хвалят? Очевидно, за послушание.

Дается другое приказание; воспитаннику оно не нравится, он находит его несправедливым, неуместным и представляет свои возражения. Ему говорят, чтобы слушался, а не рассуждал, и гневаются. Он поневоле повинуется. Но мысль, что его возражения были справедливы, остается у него во всей силе; за что же, значит, бранили его? Ясно, за что,— за непослушание.

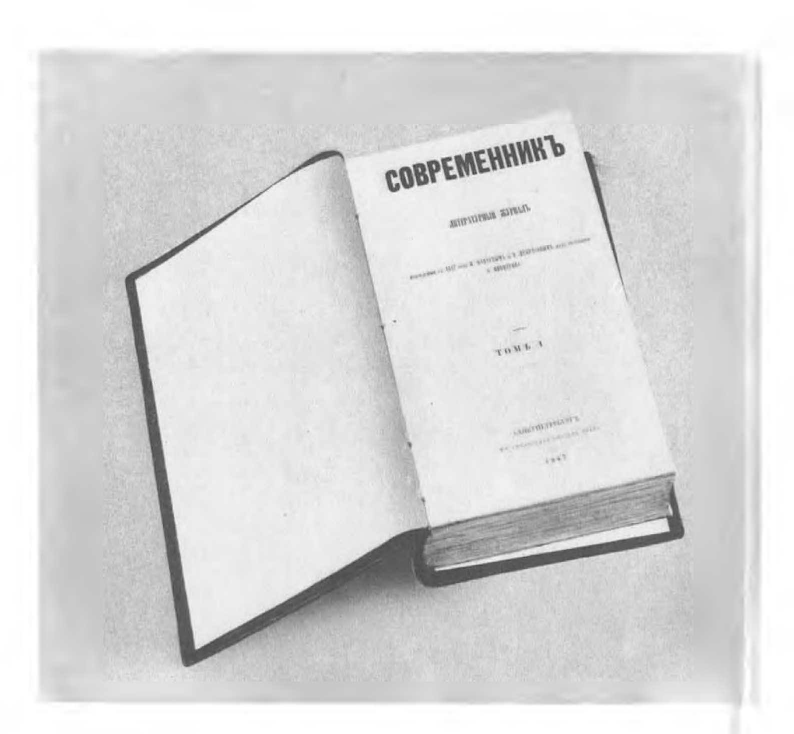
Подобные случаи повторяются часто, и в душе ребёнка мало-помалу погасает чувство правды, уважение к разумному убеждению, и место его занимает слепое последование авторитету.

Вы скажете, что впоследствии, сделавшись поумнее, воспитанник сам поймет, как разумны были приказания воспитателя. Это, конечно, и бывает очень часто, и это прекрасно, но только для воспитателя, который таким образом приобретает себе более уважение, но никак не для воспитанника, на которого все подобные открытия имеют совершенно противное влияние. Увидевши, через год, через месяц, еще через неделю, день, час, наконец, но во всяком случае поздно потому, что дело уже сделано, и сделано не по убеждению, а по приказу,— увидевши, что его противоречие было глупо и неосновательно, ребенок теряет доверие к собственному рассудку, лишается отваги и энергии в своих собственных рассуждениях, боится составить какое-нибудь собственное мнение и не смеет следовать собственному убеждению даже тогда, когда оно представляется ему ясным, как солнце... А может быть, думает он, что-нибудь тут не так... Вот, может быть, пройдет несколько времени, и окажется, что я неправ... Отсюда нерешительность, медленность, вялость, выжидание в действиях,— черты, сохраняющиеся на всю жизнь и нередко поражающие нас в людях, одаренных замечательной силой соображенья в теории, но не имеющих отваги осуществить свои мысли на практике.

А что еще, если ребенок был прав в абсолютном смысле, если его противоречие было истинно, с точки зрения высших принципов, а не сообразно было только



Ближайшие сотрудники «Современника».
Сидят слева направо: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский.
Стоят: Л. Н. Толстой и Д. В. Григорович.
Фотография 1856 г.



Журнал «Современник». Том I. *1847 г.*



Петербург. Дом на Литейном проспекте, в котором помещалась редакция «Современника».
Акварель Ф. Баганца. 1860—1880-е годы.



Н. А. Некрасов.
Литография П. Бореля с фотографии Г. Деньера. 1865 г.



И. И. Панаев.
Фотография С. Л. Левицкого.



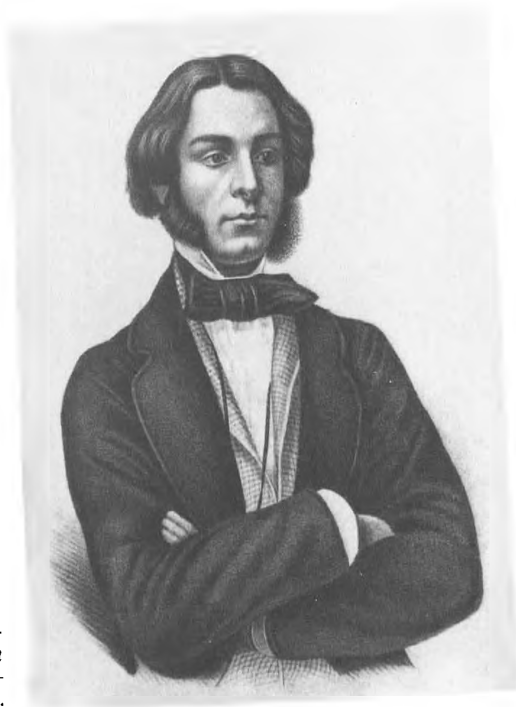
В. Г. Белинский. *Рисунок К. А. Горбунова.*



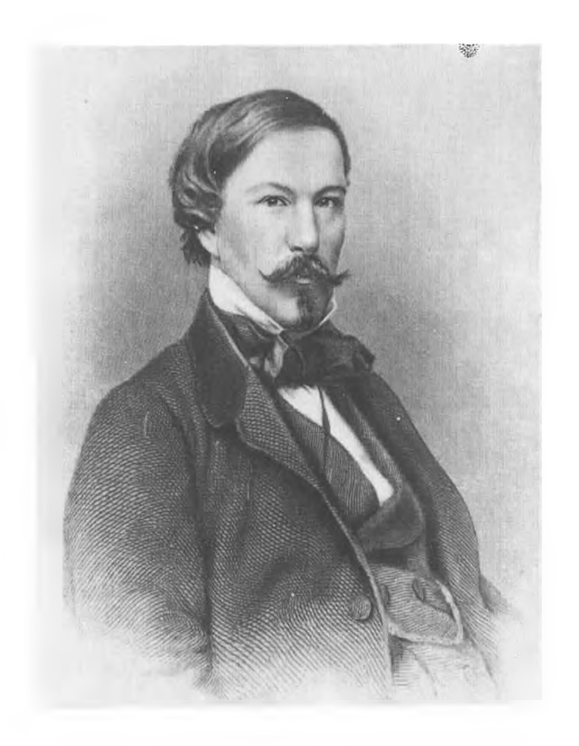
А. И. Герцен.
Литография Ноеля. 1847 г.



Н. Г. Чернышевский.
1853 г.



Д. В. Григорович.
Литография П. Иванова с фотографии И. Александровского. 1850-е годы.



А. В. Дружинин.
Гравюра на стали Ф. А. Брокгауза. 1850 г.



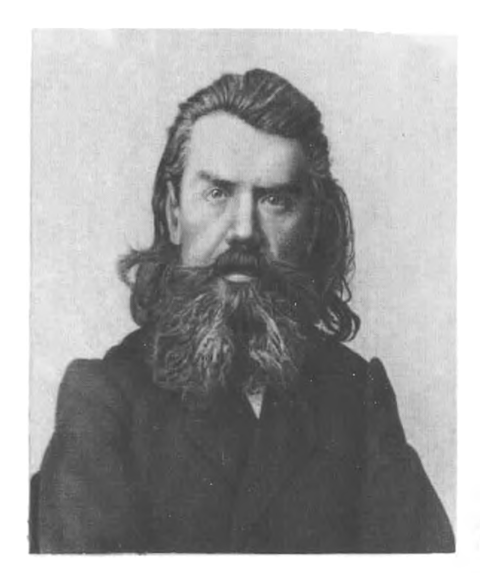
П. В. Анненков.
Рисунок К. А. Горбунова. 1845 г.



Н. А. Добролюбов.
1861 г.



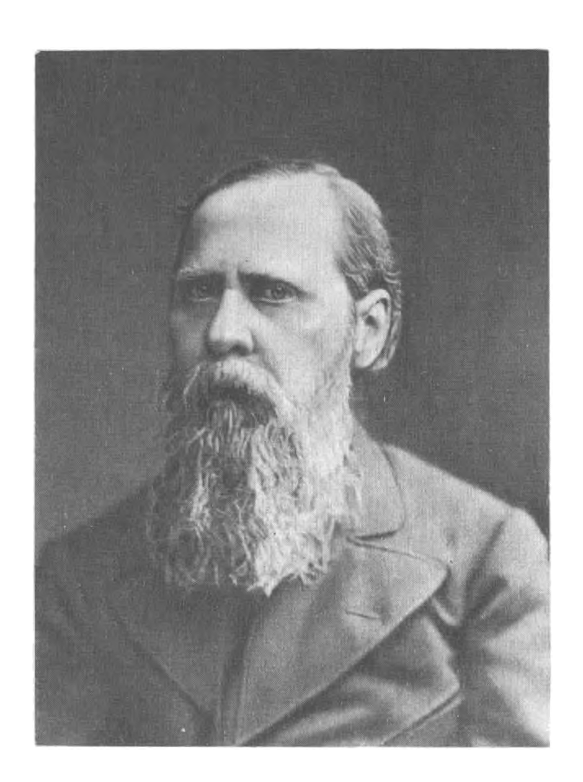
М. Л. Михайлов.



Г. З. Елисеев.



М. А. Антонович.



М. Е. Салтыков-Щедрин.
Фотография К. А. Шапиро. 1879 г.



Ф. М. Решетников.



В. А. Слепцов.



Н. Г. Помяловский.

с житейскими обстоятельствами? Житейские обстоятельства оправдывают воспитателя; ребенок понимает это; так как он еще не утвердился в принципе сознательным убеждением, то мало-помалу высшая правда, как несогласная с жизнью, поступает в разряд отвлеченных, негодных мнений, пустых бредней.〈...〉

Рассудите беспристрастно, насколько безусловно повиновение служит 〈...〉 к развитию нравственного чувства? Не убивает ли, напротив, такое воспитание и тех добрых, святых начал, которые природны ребенку? Не естественно ли, что при этом он примет исключение за правило, извращенный порядок за естественный? И кто в этом будет виноват? Неужели сам он?

А между тем, какое пышное развитие мог бы получить ум, какая энергия убеждений родилась бы в человеке и слилась со всем существом его, если бы его с первых лет приучали *думать* о том, что делает, если бы каждое дело совершалось ребенком с сознанием его необходимости и справедливости, если бы он привык сам отдавать себе отчет в своих действиях и исполнять то, что другими велено, не из уважения к приказавшей личности, а из убеждения в правде самого дела!..

Убивая в ребенке смелость и самостоятельность ума, *безусловное* повиновение вредно действует и на чувство. Сознание своей личности и некоторых прав человеческих начинается в детях весьма рано (если только оно *начинается,* а не прямо родится с ним). Это сознание необходимо требует удовлетворения, состоящего в возможности следовать *своим* стремлениям, а не служить бессознательным орудием для каких-то чужих, неведомых целей. Как скоро разумные стремления ребенка удовлетворяются, то есть дается ему простор думать и действовать самостоятельно (хотя до некоторой степени), ребенок бывает весел, радушен, полон чувств самых симпатичных, выказывает кротость, отсутствие всякой раздражительности, самое милое и разумное послушание в том, справедливость чего он признает. Напротив, когда деятельность ребенка стесняется, стремления его подавляются, не находя ни желаемого удовлетворения, ни даже разумного объяснения, когда, вместо сознательной, личной жизни, дитя, как труп, как автомат, должно быть только послушным орудием чужой воли, тогда естественно, что мрачное и тяжелое расположение овладевает душою ребенка, он становится угрюм, вял, безжизнен,

выказывает неприязнь к другим и делается жертвою самых низких чувств и расположений. В отношении к самому воспитателю, до тех пор пока не усвоит себе *безусловного* достоинства машины, воспитанник бывает очень раздражителен и недоверчив. Да и впоследствии, успевши даже до некоторой степени обезличить себя, он все-таки остается в неприятных отношениях к воспитателю, требующему только *безусловного* исполнения приказаний, справедливо, хотя и смутным инстинктом постигая в нем притеснителя и врага своей личности, от которой, при всех усилиях, человек никогда не может совершенно отрешиться.

Нужно ли говорить о том губительном влиянии, какое производит привычка к *безусловному* повиновению на развитие воли? Кажется, совершенно излишне, и мы бы охотно прошли молчанием этот пункт, если бы не имели пред глазами странных положений г. Зедергольма[3] («Морской сборник» № 14, стр. 38—39), утверждающего, что «усилие, которое делает дитя, чтобы преодолеть собственную волю и подчинить ее чужой, развивает его *нравственную* силу (!). Этим одним возбуждается в душе его первое проявление нравственности, первая нравственная борьба, и только с нее начинается собственно *человеческая* жизнь. А от беспрестанного упражнения в этой борьбе силы его воли укрепятся так, что он после, когда его воспитание окончено, в состоянии повиноваться *самому себе* и исполнять то, что рассудок и совесть требуют от него». Все это рассуждение очень напоминает нам одного благоразумного родителя, который, желая развить в сыне телесную ловкость, клал его спиною поперек на узкую доску, поднятую аршина на полтора от земли, и заставлял таким образом балансировать. Ребенок болтал руками и ногами, стараясь найти себе точку опоры, не находил ее, изнемогал и со страшным криком скатывался с доски. Развился он при таких умных мерах очень уродливо да еще вдобавок никогда не мог впоследствии даже пройти моста без внутреннего содрогания. Вообще эта система — клин клином выбивать — давно у нас известна и давно мы видим ее страшные результаты. Дитя боится темноты,— его запирают в темную комнату; дитя питает отвращение к какому-нибудь кушанью,— его целую неделю кормят нарочно этим кушаньем; дитя любит сидеть за книжкой,— его посылают гулять; оно хочет бегать,— ему велят сидеть на месте,— и это делается весьма часто

не из сознания необходимости или пользы того, что приказывают, а из чистых и бескорыстных педагогических видов, чтобы приучить ребенка к послушанию... Впрочем, наши практические воспитатели несколько последовательнее г. Зедергольма; они просто говорят: «нужно привыкать к покорности, если теперь его характер не переломить, то уже после поздно будет». Таким образом, они откровенно признаются, что имеют в виду подарить обществу будущих Молчалиных. Но г. Зедергольм уверяет, что послушанием укрепляется сила воли! Да помилуйте, ведь это все равно, как если бы я, уничтожая всякий порыв рассудка в моем воспитаннике, каждый раз говоря ему: не рассуждайте (как и делается обыкновенно у воспитателей, требующих *безусловного* повиновения), вздумал бы вывести такого рода заключение: «этим развиваются его умственные способности, потому что тут он должен соображать внутренно и взвешивать справедливость моего мнения и несправедливость своих возражений». Не правда ли, что это столь же логическое предположение, как и г. Зедергольма? И как легко таким образом воспитывать детей!

Напрасно г. Зедергольм указывает на *борьбу*. Здесь собственно нет борьбы, а есть только уступка без бою, которая, при частом повторении, производит не крепость воли, а нравственное расслабление. Да если и бывает в самом деле борьба, то самая неразумная: с одной стороны, внутренняя сила, природное влечение, которое ребенку представляется правильным, а с другой — внешнее, непонятное давление чужого произвола или того, что ребенок считает произволом... При *безусловном* повиновении победа обыкновенно остается на стороне *внешней* силы, и это обстоятельство неизбежно должно убить внутреннюю энергию и отбить охоту от противодействия внешним влияниям. Притом и не нужно упускать из виду еще одного обстоятельства: многие из приказаний, отдаваемых ребенку, бывают такого рода, что он не имеет еще о них определенного мнения, и ему лично все равно — исполнить их или не исполнить. Не понимая, зачем и почему, он делает то, что велено, только потому, что это велено. Тут уже борьбы никакой нет, а господствует полная бессознательность, обращающаяся потом в привычку. Воспитанный таким образом человек во всю свою жизнь остается под различными влияниями, которые определяются не разумной необхо-

димостью, не обдуманным выбором, а просто случаем. В чьи руки человек прежде всего попадается, тому будет следовать.⟨...⟩ Привыкая делать все без рассуждений, без убеждения в истине и добре, а только по приказу, человек становится безразличным к добру и злу и без зазренья совести совершает поступки, противные нравственному чувству, оправдываясь тем, что *«так приказано»*.

Это все следствия, необходимо вытекающие из самой методы абсолютного повиновения. Но вспомните еще, сколько с ней сопряжено других неудобств, являющихся при исполнении. Приказания воспитателя могут быть несправедливы, непоследовательны и, таким образом, будут искажать природную логику ребенка. Если наставников и воспитателей несколько, они могут противоречить друг другу в своих приказаниях, и дитя, обязанное всех их равно слушаться, попадет в темный лабиринт, из которого выйдет не иначе, как только совершенно потерявши сознание нравственного долга (если не успеет дойти само до *своих* правил и, следовательно, до презрения наставников). Все недостатки воспитателя, нравственные и умственные, легко могут перейти и к воспитаннику, приученному соображать свои действия не с нравственным законом, не с убеждением разума, а только с безусловною волею воспитателя.

Таким образом, отсутствие самостоятельности в суждениях и взглядах, вечное недовольство в глубине души, вялость и нерешительность в действиях, недостаток силы воли, чтобы противиться посторонним влияниям, вообще обезличение, а вследствие этого легкомыслие и подлость, недостаток твердого и ясного сознания своего долга и невозможность внести в жизнь что-либо новое, более совершенное, отличное от существующих порядков,— вот дары, которыми *безусловное* повиновение при воспитании наделяет человека, отпуская его на жизненную борьбу!.. И с такими-то качествами человек должен ратовать за свои убеждения против целого общества, и он, привыкший жить чужим умом, действовать по чужой воле, он должен вдруг поставить *себя меркою* для целого общества, должен сказать: вы ошибаетесь, я прав; вы делаете дурно, а вот как нужно делать хорошо!.. Да где же он возьмет столько силы? Во имя чего будет он бороться? Неужели во имя авторитета своих наставников, которые до сих пор управляли его жизнью и понятиями? Да кто

же, наконец, дал ему право на это? Собственно говоря, его отношения и теперь нисколько не изменились: до сих пор были подчиненные отношения в воспитании и обучении, теперь настали точно такие же отношения в службе и общежитии. Какая же голова может переварить такое умозаключение: вот черта — пятнадцать, двадцать лет,— до которой ведут себя, заставляя беспрекословно и *безусловно слушаться* других; это делается для того, собственно, чтобы, перешедши через эту черту, ты умел *бороться* с другими. Из этого можно заключить, что и в последующей жизни человек должен вести себя именно так, как до сих пор заставляли его.

Все эти соображения имеют в виду, разумеется, совершенный успех системы *безусловного* повиновения. Но есть натуры, с которыми подобная система никак не может удаться. Это натуры гордые, сильные, энергические. Получая нормальное, свободное развитие, они высоко поднимаются над толпою и изумляют мир богатством и громадностью своих духовных сил. Эти люди совершают великие дела, становятся благодетелями человечества. Но, задержанные в своем самобытном развитии, сжатые пошлою рутиною, узкими понятиями какого-нибудь весьма ограниченного наставника, не имея простора для размаха своих крыльев, а принужденные брести тесной тропинкой, которая воспитателю кажется совершенно удобной и приличной, эти люди или впадают в апатичное бездействие, становясь лишними на белом свете, или делаются ярыми, слепыми противниками именно тех начал, по которым их воспитывали. Тогда они становятся несчастны сами и страшны для общества, которое принуждено гнать их от себя.〈...〉 Один раз дошедши до убеждения в неправости своего учителя, подобный ученик уже не останавливается... Да и что могло бы остановить его? И хорошее и дурное, и ложное и справедливое у него перемешано в приказаниях безусловных и представляется ему под одной призмой стеснения его личности. Нравственное чувство в нем не развито, ум не приучен к спокойному, медленному обсуждению своих действий; все, что он знает и чему верит, вбито ему в голову насильно, без всякого участия его собственной воли и чувства. Поэтому весь внутренний мир, как развитый им не от себя, а навязанный извне, представляется ему чем-то чуждым, внешним, и весь, разом, без большого труда, опрокидывается, особенно если при этом вмеша-

ется еще какое-нибудь влияние, совершенно противоположное влиянию воспитателей. В ожесточении против угнетавших его он развивает в себе дух противоречия и становится противником уже не злоупотреблений только, а самых начал, принятых в обществе. Разумеется, его ждет скорая гибель, или жизнь, полная скорбного недовольства самим собою и людьми, пропадающая в бесплодных исканиях, с неуменьем остановиться на чем-нибудь. И сколько благородных, даровитых натур сгибло таким образом жертвою учительской указки, иногда с жалобным шумом, а чаще просто, в безмолвном озлоблении против мира, без шума, без следа.

Но чего вы хотите? спросят нас. Неужели же можно предоставить ребенку полную волю, ни в чем не останавливая его, во всем уступая его капризам?..

Совсем нет. Мы говорим только, что не нужно дрессировать ребенка, как собаку, заставляя его выделывать те или другие штуки по тому или другому знаку воспитателя. Мы хотим, чтобы в воспитании господствовала разумность и чтобы разумность эта ведома была не только учителю, но представлялась ясною и самому ребенку. Мы утверждаем, что все меры воспитателя должны быть предлагаемы в таком виде, чтобы могли быть вполне и ясно оправданы в собственном сознании ребенка. Мы требуем, чтобы воспитатели выказывали более уважения к человеческой природе и старались о развитии, а не о подавлении *внутреннего человека* в своих воспитанниках, и чтобы воспитание стремилось сделать человека нравственным — не по привычке, а по сознанию и убеждению.

«Но это смешная и нелепая претензия, скажут глубокомысленные педагоги, презрительно улыбаясь в ответ на наши доводы. Разве можно от маленького дитяти требовать правильного обсуждения высоких нравственных вопросов, разве можно *убеждать* его, когда он не развит настолько, чтобы понимать убеждения? Безумно было бы, посылая мальчика гулять, читать ему целый курс физиологии, чтобы доказать, почему и как полезна прогулка, точно так, как было бы нелепо, задавая таблицу умножения, перебирать все математические действия, в которых она необходима, и отсюда уже вывести пользу ее изучения... Главная задача воспитания состоит в том, чтобы добиться, во что бы то ни было, беспрекословного исполнения воспитанником приказаний высших, и если

нельзя достигнуть этого посредством убеждения, то надобно добиться посредством страха».

Во всех этих рассуждениях один недостаток — принятие нынешнего status quo за нормальное положение вещей. Я с вами согласен, что дети неразвиты еще до ясного понимания своих обязанностей; но в том-то и состоит ваша обязанность, чтобы развить в них это понимание. Для этого они и воспитываются. А вы, вместо того чтобы внушать им сознательные убеждения, подавляете и те, которые в них сами собою возникают, и стараетесь только сделать их бессознательными, послушными орудиями вашей воли. Уверившись, что дети не понимают вас, вы преспокойно сложили руки, воображая, что вам и делать нечего больше, как сидеть у моря и ждать погоды: авось, дескать, как-нибудь раскроются способности, когда подрастет ребенок, тогда и потолковать с ним можно будет, а теперь пусть делает себе, что приказано. В таком случае, на что же вы и поставлены, о, глубоко мудрые педагоги? Зачем же тогда и воспитание? Ведь ваш прямой долг — добиться, чтобы вас понимали!.. Вы для ребенка, а не он для вас; вы должны приноровляться к его природе, к его духовному состоянию, как врач приноровляется к больному, как портной к тому, на кого он шьет платье. «Ребенок еще не развит», — да как же он и разовьется, когда вы нисколько об этом не стараетесь, а еще, напротив, задерживаете его самобытное развитие? По вашей логике, значит, нельзя выучиться незнакомому языку сколько-нибудь разумным образом, потому что, начиная учиться, вы его не понимаете, а надобно вести дело, заставляя ученика просто повторять и заучивать незнакомые звуки, без знания их смысла; после, дескать, когда много слов в памяти будет, так и смысл их как-нибудь, мало-помалу, узнается!.. Во всех этих возражениях едва ли что-нибудь выказывается так ярко, как желание спрятать свою лень и разные корыстные виды под покровом священнейших основ всякого добра. Но, унижая разумное убеждение, заставляя воспитанника действовать бессознательно, можно несравненно скорее подкопать их, нежели всяческим предоставлением самой широкой свободы развитию ребенка... Все эти близорукие суждения о неразвитости детской природы чрезвычайно напоминают тех господ, которые восстают против Гоголя и его последователей за то, что эти писатели просто пересыпают из пустого в порожнее, что они никого не научат

и что людей, на которых они нападают, можно пронять только дубиной, а никак не убеждением... Как будто бы дубина может кого-нибудь и чему-нибудь научить! Как будто бы, побивши человека, вы чрез то делаете его нравственно лучшим или можете внушить ему какое-нибудь убеждение, кроме разве убеждения, что вы так или иначе сильнее его!.. Для дрессировки, правда, argumentum bakulinum* очень достаточен; таким образом лошадей выезжают, медведей плясать выучивают и из людей делают ловких специальных фокусников. Но при всей ловкости в своем мастерстве — ни лошади, ни медведи, ни многие из людей, воспитанные таким образом, ничуть не делаются оттого умнее!..

«А как же, говорят, еще ученые педагоги, предохранить дитя от вредных влияний, окружающих его? Неужели позволить ему доходить до сознания их вредности собственным опытом? Таким образом ни один ребенок не остался бы цел. Испытавши, например, что такое яд или что значит свалиться в окошко из четвертого этажа, дитя, наверное, не останется очень благодарным тому педагогу, который, по особенному уважению человеческой природы, принялся бы в критическую минуту за убеждения, а не решился бы просто отнять яд или оттащить ребенка от окошка...» Оставляя в стороне всю шутовскую нелепую сторону этого возражения, по которому, например, подчиненный не может спасти утопающего начальника, потому что он от него не может требовать безусловного повиновения, а без этого спасение невозможно, заметим одно. Дети потому-то часто и падают из окон и берут мышьяк вместо сахару, что система безусловного повиновения заставляет их только слушаться и слушаться, не давая им настоящего понятия о вещах, не пробуждая в них никаких разумных убеждений.

Да и хоть бы справедливы были жалобы на неразумность детей! А то и они оказываются чистейшею клеветою, придуманною для своих видов досужим воображением неискусных педагогов. Прежде всего можно заметить, что не воспитание дает нам разумность, так же как, напр., не логика выучивает мыслить, не грамматика — говорить, не пиитика — быть поэтом, и т. п. Воспитание, точно так как все теоретические науки, имеющие предметом внутренний мир человека, имеет своею задачею толь-

---

* Палочное доказательство *(лат.)*.

ко возбуждение и прояснение в сознании того, что уже давно живет в душе, только живет жизнью непосредственною, бессознательно и безотчетно. Придайте разумность обезьяне с вашей системой *безусловного* повиновения, и тогда целый мир с благоговением преклонится пред этой системой и будет по ней воспитывать детей своих. Но вы этого не можете сделать и потому должны смиренно признать права разумности в самой природе ребенка и не пренебрегать ею, а благоразумно пользоваться теми выгодами, какие она вам представляет.

А разумности в детях гораздо больше, нежели предполагают. Они очень умны и проницательны, хотя обыкновенно и не умеют определительно и отчетливо сообразить и высказать свои понятия. Логика ребенка весьма ясно выражается в самое первое время его жизни, и лучшим доказательством тому служит язык. Можно положительно сказать, что трех- или четырехлетнее дитя не слыхало и половины тех слов, которые употребляет; оно само составляет и производит их по образцу слышанных, и производит почти всегда правильно. То же самое нужно заметить о формах: ребенок, не имеющий понятия о грамматике, скажет вам совершенно правильно все падежи, времена, наклонения и пр. незнакомого ему слова ничуть не хуже, как вы сами сделаете это, изучая уже в совершенном возрасте какой-нибудь иностранный язык. Из этого следует, что, по крайней мере, способность к наведению и аналогии, уменье классифицировать весьма рано развивается в ребенке.

То же самое нужно сказать и о понимании связи между причинами и следствиями. Ожогши один раз палец на свечке, ребенок в другой раз уже не схватит свечи рукою; видя, что зимою бывает снег, а летом нет, ребенок при таянии снега весною догадывается, что лето приближается, и пр. и пр. Всякое дитя ласкается к тому, кто его ласкает, и удаляется от того, в ком встречает грубое обращение, и т. п.

Мало этого: дети очень рано умеют составлять понятия. Узнавши, что такое дом, книга, стол и пр., ребенок безошибочно узнает все другие дома, книги, столы, хотя бы вновь увиденные им и не походили на те, которые он видал прежде. Это значит, что у него в голове уже составилось понятие, а для составления понятия, как известно, нужно уметь сделать и суждение, и умозаключение...

С чего же пришло в голову многоученым педагогам, что дитя не способно понимать разумное убеждение, а может быть управляемо только страхом, обманом и т. п.? Я никак не могу сообразить, отчего же бы это ложное убеждение скорее принялось в душе ребенка, нежели правильное. Утешить дитя разумно, если оно плачет, нельзя; а сказать: «Не плачь, а то тебя бука съест», или: «Перестань, а не то — высеку», можно. Желал бы я знать, какое отношение между детским плачем и букой или розгой и какая логика предполагается в ребенке при подобных увещаниях?

«Но, говорят, ребенок еще не может рассуждать правильно о частных случаях, потому что он не имеет данных: он еще так мало видел и знает». Это в высшей степени справедливо, и обязанность воспитателя в том именно и состоит, чтобы сообщить дитяти, сколько возможно скорее, возможно наибольшее количество всякого рода данных, фактов, заботясь при этом особенно о полноте и правильности восприятия их ребенком. Поводы к подобному сообщению фактов может представлять самое противоречие ребенка, на которое не отвечать может наставник только по лености или по трусости своей, а никак не по разумному убеждению. Вы заставляете вашего воспитанника сделать что-нибудь; он говорит, что сделать этого нельзя; а вы ему покажете, *как* это сделать. Он сам что-нибудь хочет совершить, а вы говорите, что это невозможно, и спрашиваете его, как он хотел бы исполнить свое намерение. Он рассказывает свои мечтательные планы; вы последовательно и подробно доказываете неисполнимость его предприятия. И в этом одном столько представляется вам прекрасных поводов передать ребенку множество верных, живых сведений о законах природы, о явлениях духовной жизни человека и об устройстве общества! И поверьте, что ребенок сумеет понять ваши объяснения и принять их к сведению. ⟨...⟩

Если вы наполнили ум дитяти верными данными, то вам трудно уже будет вбить ему в голову ложное заключение, выведенное из этих данных; если вы заставили его сначала принять ложное основание, то вы долго не добьетесь, чтобы он правильно смотрел на следствия, выводимые вами и логически несоответствующие принятому началу. Твердое настаиванье на этих нелогичностях без подробного и откровенного разъяснения обстоятельств, их вызвавших, непременно ведет к искажению природ-

ного здравого смысла в ребенке, и, к сожалению, такое искажение происходит у нас слишком часто.⟨...⟩

А между тем посмотрите, сколько любознательности, сколько жадного стремления к исследованию истины выказывают дети. Инстинкт истины говорит в них чрезвычайно сильно, может быть даже сильнее, нежели во взрослых людях. Они не интересуются призраками, которые создали себе люди и которым придают чрезвычайную важность. Они не занимаются геральдикой, не пускаются в филологические или метафизические тонкости, не стремятся к чинам и почестям (разумеется, если им не натолковали об этом чуть не со дня рождения). Зато как охотно они обращаются к природе, с какою радостью изучают все действительное, а не призрачное, как их занимает всякое живое явление. Они не любят отвлеченностей, и в этом их спасение от насильственно вторгающихся в их душу умствований, которых доказать и объяснить часто не может даже тот, кто хлопочет о вкоренении их в душе воспитанников. Да, счастливы еще дети, что природа не вдруг теряет над ними свои права, не тотчас оставляет их на жертву извращенных, пристрастных, односторонних людских теорий!..

«Но, скажут, в детях сильно влечение ко злу; необходимо деятельно противиться злым от природы. наклонностям ребенка». Не разбирая подробно этого мнения, позволим себе ответить на него словами г. Пирогова, которому, конечно, вполне можно поверить, когда дело идет о свойствах человеческой природы. Вот его слова: «Добро и зло довольно уравновешены в нас. Поэтому нет никакой причины думать, чтобы наши врожденные склонности, даже и мало развитые воспитанием, влекли нас более к худому, нежели к хорошему. А законы хорошо устроенного общества, вселяя в нас доверенность к правосудию и зоркости правителей, могли бы устранить и последнее влечение ко злу».⟨...⟩

Если в детях нельзя видеть идеала нравственного совершенства, то, по крайней мере, нельзя не согласиться, что они несравненно нравственнее взрослых. Они не лгут (пока их не доведут до этого страхом), они стыдятся всего дурного, они хранят в себе святые чувства любви к людям, свободной от всяких житейских предрассудков. Они сближаются со сверстником, не спрашивая, богат ли он, ровен ли им по происхождению; у них замечена даже особенная наклонность — сближаться с обиженны-

ми судьбою, с слугами и т. п. И чувства их всегда выражаются на деле, а не остаются только на языке, как у взрослых; ребенок никогда не съест данного ему яблока без своего брата или сестры, которых он любит; он всегда принесет из гостей гостинцы своей любимой нянюшке; он заплачет, видя слезы матери, из жалости к ней. Вообще, мнение, будто бы в детях преобладающее чувство — животный эгоизм, решительно лишено основания. Если в них не заметно сильного развития любви к отечеству и человечеству, это, конечно, потому, что круг их понятий еще не расширился до того, чтобы вмещать в себе целое человечество. Они этого не знают, а чего не знаешь, того и не любишь.

Нет, не напрасно дети поставлены в пример нам даже тем, пред кем с благоговением преклоняются народы, чье учение столько веков оглашает вселенную. Да, мы должны учиться, смотря на детей, должны сами переродиться, сделаться как дети, чтобы достигнуть ведения истинного добра и правды. Если уже мы хотим обратить внимание на воспитание, то надо начать с того, чтобы перестать презирать природу детей и считать их неспособными к восприятию убеждений разума. Напротив, надо пользоваться теми внутренними сокровищами, которые представляет нам натура дитяти. Многие из этих природных богатств нам еще совершенно неизвестны, многое, по слову Евангелия, утаено от премудрых и разумных и открыто младенцам!⟨...⟩

Мы не пускались в подробности, а выставляли на вид только общие положения, в надежде, что умные воспитатели, если согласятся с нашим мнением, то и сами увидят, что и как нужно им делать и чего не делать. Искусства обращаться с детьми нельзя передать дидактически; можно только указать основания, на которых оно может утверждаться, и цель, к которой должно стремиться. И мы думаем,— главное, что должен иметь в виду воспитатель, это уважение к человеческой природе в дитяти, предоставление ему свободного, нормального развития, старание внушить ему прежде всего и более всего правильные понятия о вещах, живые и твердые убеждения, заставить его действовать сознательно, по уважению к добру и правде, а не из страха и не из корыстных видов похвалы и награды...

Исполнить это трудно, но не невозможно. Начало подобного обращения к естественному смыслу детей было

уже положено слишком за полвека назад благородным и бескорыстным филантропом воспитателем — Песталоцци[4]. По поводу его-то школы сделано г-жою Сталь[5] многозначительное замечание, что «непонимание детей происходит всегда более от темноты изложения, нежели от трудности самых наук» (De l'Allemaque[6]). Тысячи опытов подтвердили это замечание с тех пор, как оно было высказано, и мы с горестью должны сознаться, что оно и до сих пор не потеряло своей справедливости. И не только умственное, но — что еще более грустно — даже нравственное воспитание детей страдает у нас тою же голословностью, внешностью, мертвенностью. Освободиться от этого жалкого состояния, обратить внимание не на мертвую букву, а на живой дух,— не на исполнение внешней формы, а на развитие внутреннего человека,— вот задача, которой выполнение предстоит современному русскому воспитанию.

М. Л. МИХАЙЛОВ

1829–1865

Я действовал против правительства путем пропаганды.

М. Л. Михайлов

В самый разгар студенческих волнений осенью 1861 года, вызванных введением правительством новых правил, закрывавших доступ к университетскому образованию многим студентам, по Петербургу была распространена прокламация под названием «К молодому поколению». В ней содержался призыв к подготовке народного восстания против самодержавия и выдвигались требования национализации земли, равноправия, свободы слова, печати и т. п. Прокламация посылалась по почте, разносилась по квартирам, разбрасывалась в общественных местах и на улицах. По свидетельству современников, этот документ стал заметным явлением в общественно-политической жизни того времени, о котором много говорили и спорили во всех слоях русского общества. В лагере реакции и либералов прокламация вызвала настоящий переполох.

Одним из авторов прокламации «К молодому поколению» был активный сотрудник «Современника» Михаил Ларионович Михайлов.

Все, кому когда-либо приходилось встречаться с Михайловым, в один голос утверждали, что это был удивительно обаятельный человек. Его небольшая, стройная и изящная фигура, его бледное лицо, на котором светились каким-то внутренним светом маленькие узкие, как у киргиза, глаза, невольно привлекали к нему внимание. Мягкий, приветливый, немного застенчивый, он внушал к себе невольное чувство симпатии и уважения. «Михайлова нельзя было не любить,— писал о нем его друг и единомышленник Н. В. Шелгунов.— И его все любили». Разносторонне и глубоко образованный человек, талантливый поэт и переводчик, тонкий и проницательный критик, блестящий публицист — Михайлов был заметной фигурой в литературе 1850-х годов.

Родился Михаил Ларионович 3 января 1829 года в Оренбурге в семье чиновника. Его дед был вольноотпущенным крепостным. Об этом Михайлов никогда не забывал и всегда чувствовал свою духовную и кровную связь с простым народом. Он получил хорошее домашнее образование, прекрасно знал русскую и зарубежную литературу, изучил несколько иностранных языков. Учился Михайлов в Уфимской гимназии, а затем переехал в Петербург и стал в качестве вольнослушателя посещать лекции в университете. Здесь он познакомился, а потом и подружился с Чернышевским.

Литературная деятельность Михайлова началась очень рано. Свои первые стихи он опубликовал, еще учась в гимназии. Но систематически начал печататься только после переезда в Петербург. Его стихотворения стали появляться в журнале «Библиотека для чтения», в «Литературной газете» и в газете «Иллюстрация».

С 1848 по 1852 год Михайлов был вынужден жить в Нижнем Новгороде, где служил писцом в канцелярии Соляного правления. Однако он и на минуту не прекращал литературных занятий: писал стихи, переводил иностранных поэтов, пробовал писать прозаические и драматические произведения. В 1851 году была опубликована его повесть «Адам Адамыч», написанная с позиций натуральной школы. Она принесла ему литературную известность.

Вернувшись в 1852 году в Петербург, Михайлов начал сотрудничать в «Современнике». Там систематически печатались его стихи, переводы, критические и публицистические статьи, проникнутые демократическими идеями. В 1858—1859 годах он совершил путешествие за границу, во время которого познакомился с Герценом и Огаревым, с французскими литераторами-республиканцами (в частности, с Э. Потье). О своих впечатлениях о политической и культурной жизни буржуазной Европы Михайлов рассказал в «Парижских письмах» и «Лондонских заметках».

По возвращении в Россию Михайлов серьезно занялся изучением вопроса о положении женщины в обществе, результатом которого явился цикл статей под общим названием «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе».

В период революционной ситуации 1859—1861 годов Михайлов под влиянием Чернышевского и Добролюбова

становится убежденным революционером-демократом. В эти годы он много пишет, заведует иностранным отделом «Современника», сотрудничает в журнале «Русское слово», возглавляет отдел словесных наук «Энциклопедического словаря», издававшегося под редакцией философа и революционера П. Л. Лаврова. Одновременно Михайлов принимает активное участие в общественной и революционной борьбе: становится видным деятелем революционного подполья, устанавливает связи с прогрессивно настроенными студентами, принимает горячее участие в создании и распространении революционно-агитационных документов. Так, он организует печатание прокламаций Чернышевского «Барским крестьянам» и Шелгунова «Русским солдатам». Вместе с Шелгуновым написал, напечатал в Лондоне, а затем тайно привез в Россию и распространял прокламацию «К молодому поколению».

По доносу предателя В. Д. Костомарова 14 сентября 1861 года Михайлов был арестован. Во время следствия он вел себя мужественно и, спасая своего друга Шелгунова, взял на себя всю вину. По словам анонимного автора брошюры «На смерть М. Л. Михайлова» (Женева, 1865), «он не избегал опасности для себя, но не задумывался ни на миг пожертвовать собой, чтобы предотвратить тень опасности, грозившей другим». На вопрос судьи: «Не действовали ли вы против правительства и как именно», Михайлов ответил: «Да, я действовал против правительства путем пропаганды... Я старался сообщить народной массе те идеи, при понимании которых невозможен существующий порядок вещей».

Михайлов был осужден на шесть лет каторжных работ и пожизненное поселение в Сибири. На каторге он продолжал работать: писал стихи и прозу (воспоминания о следствии и суде, о дороге на каторгу — «Записки», «Сибирские очерки», автобиографический роман «Вместе»). Однако тяжелые условия, в которых содержался Михайлов, лишения и болезни преждевременно свели его в могилу. Он скончался 2 августа 1865 года.

Коротка и полна драматизма была жизнь Михайлова, и вся она была отдана великому делу борьбы за освобождение народа от гнета и насилия.

Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе

(Посвящается Л. П. Шелгуновой)

Coupez la câbetet!

Sieyès*

ВСТУПЛЕНИЕ

Недовольство настоящим складом создало немало самых разноречивых общественных теорий, которые частью рухнули, как чуждые жизни, частью приняты жизнью «к сведению». Полная перестройка общества невозможна без переделки основания его семьи; это сознавалось иногда смутно, иногда ясно всеми общественными новаторами; на этом сознании выросли идеи и о так называемой эмансипации женщины, скоро нашедшие путь в общество, как слишком заинтересованное в этом вопросе.

Сомнения в непогрешительности веками утвержденных неравных семейных отношений, неравных общественных прав мужчин и женщин и первые шаги общества к женской эмансипации кажутся мне одним из самых важных, самых характеристических явлений нашего века. Шаги эти нетверды, самые понятия о том, что такое и в чем должна состоять эмансипация, не получили еще достаточной ясности и определенности в умах не только большинства, но и людей передовых. Тем не менее, однако, движение совершается, мало-помалу подтачивая старые предрассудки и готовя тот новый общественный порядок, в котором уравновесятся в известной степени права и отношения, теперь так спутанные.

В какой мере зависит благоденствие общества от урав-

* Рубите канат! *Сийес*[1] *(франц.)*.

нения прав мужчины и женщины? Как может совершиться это уравнение? Что служит ему помехой в современных понятиях и нравах? Как должна сложиться семья, чтобы стать прочным залогом действительных успехов общества, а не задержкою их, какою она является большею частью в наше время? Вот вопросы, на которые я старался ответить в предлагаемых замечаниях. 〈...〉

Скажите, кто не повторяет, как попугай, хоть бы следующих истин, считая их непогрешительным выводом из какой-то очень будто бы разумной и святой философии: «Роль женщины — роль преимущественно матери, воспитательницы будущих полезных граждан обществу; поэтому все интересы ее должны быть сосредоточены под домашнею кровлей; дом — это исключительное поприще ее действий. Воспитание не должно увлекать ее за пределы этой законной ее сферы; занятия изящными искусствами, полезными рукодельями наполнят досуги, остающиеся ей от забот матери и хозяйки дома». Фразы эти очень красивы; но не на каждом ли слове в них противоречие? Последняя фраза, например, предполагает непременным качеством в женщине отчуждение от общественных интересов, а стало быть и равнодушие к ним. Первая фраза, наоборот, требует от нее полного знания общественных нужд и сочувствия к ним. Иначе какой же гражданин обществу может быть воспитан ею? Воспитание будет хорошо только в материальном отношении. Разумеется, никто не заменит ребенку ни груди, ни ласк, ни любви матери; но вы хотите развития в нем нравственных начал? У всякого века своя нравственность. Нравственные доблести героических времен кажутся нам безобразием; ведь и чувство хоть бы личной мести было когда-то нравственным чувством. Нравственные понятия движутся и развиваются вместе с обществом и жизнью, а не стоят на месте. Требуя, чтобы женщина вносила в воспитание детей нравственные начала, мы должны предполагать в ней развитие в уровень с требованиями времени. Но откуда же такое развитие, если мы отрешим ее от участия в движении общества? Никакие изящные искусства, никакие с детства втолкованные правила морали не спасут ее, без прямого соприкосновения с успехами общества, от нравственного застоя. Любить можно только то, что хорошо знаешь; служить можно только тому, что любишь. Ограничивая жизнь женщины стенами ее дома, нечего требовать от нее служения

общественной пользе. Материнскую любовь, которая, при широком развитии нравственном и умственном, была бы такою великой общественною силой, вы обрекаете быть тем, правда теплым, но тупым и эгоистическим чувством, каким является она у низших животных. Не силы на житейскую борьбу воспитывает такая любовь, а страх перед жизнью.

Посмотрите, не с особенным ли упорством останавливается женщина на принципах и понятиях, мало-помалу отживающих уже свой век в обществе, останавливается только потому, что они кажутся ей безопасны своей прочностью? Не женщины ли были всегда главными хранительницами предания? Эта робкая цепкость к старому, какому бы то ни было, но уже утвержденному до нас, эта неподвижность мысли, осужденной не выходить из узких пределов битой колеи, отражаясь на воспитании, отражаются и на ходе общества. Не только в большинстве, но даже часто и в лучших членах его замечается печальный внутренний разлад. Мысль, выработанная наукой и опытом жизни, говорит одно: чувство, воспитанное дома, в сфере, далекой от жизни, влечет в другую сторону, заподозривая самую законность несогласной с ним мысли. Предрассудок живет в обществе оттого, что живуче в нас чувство домашнего очага, от которого мы несем в жизнь этот предрассудок. Откуда же быть тут равновесию в жизни, от которого зависит разумный и прямой ее ход? И не только обыденный быт наш полон этих жалких и малодушных колебаний, не спасена от них и более светлая, более разумная сфера — сфера чистого знания.

Только коренное преобразование женского воспитания, общественных прав женщины и семейных отношений представляется мне спасением от нравственной шаткости, которою, как старческою немочью, больно современное общество. Практические философы, плодящиеся, словно грибы, в гнили и плесени настоящего общественного здания, не любят никаких коренных преобразований, вероятно, по чувству самосохранения; но им бояться нечего: не только сами они, но и многие их поколения найдут себе удобную и питательную почву, прежде чем совершится преобразование, о котором я говорю...

В предлагаемых замечаниях я мало касаюсь исторической стороны вопроса о воспитании, об общественном и семейном положении женщин. Предполагая обработать

в более широких размерах историю женского элемента в человечестве, я считаю нужным сказать пока, что мысли, высказываемые мною теперь, основаны на внимательном ее изучении. Характер всей истории женщин, начиная со времен патриархальной грубости и кончая нашим просвещенным и утонченным временем, один. Это постоянное и упорное тяготение к господству стороны, более сильной физически, и постоянный, не менее упорный протест стороны физически слабейшей, протест, проявляющийся и в домашнем, и в общественном быту, и в искусстве, и в науке, одним словом во всех областях жизни,— протест, вынудивший с течением времени немало уступок у противной партии, но все не смолкающий от этих уступок.

I

На предположения о необходимости уравнять общественные и семейные права женщины и мужчины, на требования одинакового для обоих образования большинство отвечает прежде всего сомнениями: возможно ли еще привести в исполнение эти предположения и согласиться на эти требования? Как для доказательства совершенной неспособности негров к свободному человеческому развитию плантаторы невольничьих штатов находят Агассизов[2], так и у защитников настоящего общественного порядка нет недостатка в ученых, философах и законодателях, которые как за прочную основу благоденствия общества ухватываются именно за неравенство прав и неравенство образования, когда дело идет о женщинах. Многие самые радикальные эмансипаторы, самые пылкие жрецы свободы, проповедующие как путь к лучшему общественному устройству равное для всех пользование благами жизни и знания, останавливают свою проповедь, доходя до общественного и семейного положения женщины, или, наперекор общим положениям своим, пускаются толковать о невозможности даровать женщине равные права и равное образование с мужчиной...

И по пунктам, на цитатах,
На соборных уложеньях

строят такой приговор: женщина ниже мужчины в физическом отношении, ergo* — должна быть подчинена

* Следовательно *(лат.)*.

ему; женщина ниже мужчины в умственном отношении, ergo — должна быть подчинена ему; женщина ниже мужчины в нравственном отношении, ergo — должна быть трижды подчинена ему. Подчинение невозможно при равенстве прав и образования; стало быть: не давать женщине ни таких прав, ни такого образования.

Говорить все это голословно нельзя: если теперь не убедить никого кулаками, то не убедить никого и громким криком. Надо действовать сообразно с духом времени, облечь свою животность и наклонность к кулачному праву в утонченные формы современной цивилизации, вооружиться наукой, взять под мышку историю всех веков и народов и только на основании так называемых научных данных решить, что протест против насилия, который начинает довольно громко высказывать угнетенная до сих пор половина человечества, дик, нелеп, ни на чем не основан, что и физиология и история обрекают женщину на ту пассивную, рабскую роль, какую она занимала и занимает в обществе.

Говорить в защиту женщин — пока значит не что иное, как доказывать на основании почти тех же фактов, на которые опираются и противники женской эмансипации, возможность и женщине быть гражданкою умственного и нравственного мира, составляющего в настоящую минуту исключительную привилегию мужчин.

Первая и главная помеха умственному и нравственному развитию женщины — это, по общественному мнению, самое физическое устройство ее и лежащие на ней обязанности матери и кормилицы. Однако этого пункта было бы, кажется, достаточно, при правильном фактическом доказательстве его справедливости, чтобы успокоиться на нынешнем положении дела и предоставить женщине исключительно ту роль, какую играет самка у большей части низших животных; родила, вскормила — и все тут? Но этим противники женского освобождения, как я уже сказал, не ограничиваются. Они утверждают, что и самый ум у женщины совсем не таков, как у мужчины, что и нравственность ее не такова. Из этого, разумеется, уж прямо выходит, что никак не следует давать воли ни тому, ни другой; иначе выйдет черт знает какой хаос вместо той прелестной, гармонической семьи, вместо того милого, образцового общества, какие существуют теперь.

Разобрать в подробности эти мнения о тройном препятствии, полагаемом самою природой женщины ее рав-

ному с мужчиной воспитанию и образованию,— мнения о физическом, умственном и нравственном несовершенстве ее, необходимо прежде, чем говорить об ином, лучшем строе семьи, который представляется нашим соображениям. Только коренная реформа в женском воспитании может вести нас к этому строю и упрочить его, а вместе с тем упрочить и благосостояние и порядок общества.

Итак, из физических свойств женщины, полагающих главную преграду ее умственному развитию вровень с мужчиной, называют прежде всего сравнительную слабость ее организма и падающий на нее акт рождения.

Я не стану, разумеется, уверять, что физическая сила в женщине равна мужской силе. Но, спрашивается, что за важное значение имеет вообще физическая сила человека при настоящем развитии общества? Наука с каждым годом, чуть не с каждым днем, все более и более устраняет ее, подчиняя нам разнообразные силы природы. Но если б людям и до сих пор приходилось сражаться со сказочными Змеями Горыничами и таскать на спине камни для возведения пирамид, то и в этом случае какая физическая сила могла бы требоваться для занятий хоть бы математикой, химией, историей или даже для непосредственного участия в гражданской деятельности? Для того чтобы снять с полки древний фолиант или навести астрономический инструмент, силы нужно гораздо меньше, чем на один круг вальса. Занятия химией нисколько не утомительнее занятий кухонных, которые ведь считаются же доступною женщинам специальностью. Наконец, одна бессонная ночь среди шаманского кружения бала едва ли не стоит целой недели усидчивого кабинетного труда.

Едва отнятая от груди, девочка начинает получать уже иное воспитание, чем мальчик. А между тем известно каждому, что до наступления половой зрелости они ничем почти не отличаются друг от друга и только эта зрелость нарушает существовавшее между ними равновесие физических сил. Что же мешает учить в это время девочку тому же и так же, чему и как учат мальчика? Что мешает стараться о том, чтобы она привыкла ценить и полюбила умственный труд? Нет, для систематического покорения ее вечной опеке мужчины необходимо убить в ней всякую самостоятельность мысли. Мальчику дают в руки книгу, девочке — куклу.

При жалобах на слабость женского организма, мешаю-

щую будто бы развитию ума, заботятся ли по крайней мере о здоровом физическом воспитании? Как известно, мы в этом случае вовсе не похожи на спартанцев. Физическое воспитание девочки совсем не таково, как воспитание мальчика. Вместо того чтобы развивать силу и укреплять организм, оно своею балующею исключительностью только расслабляет, делает женщину действительно каким-то беззащитным в физическом отношении существом.

Изнеженность, сообщаемая этим исключительным воспитанием, постоянная бездеятельность мысли и рядом с нею идущее несоразмерное развитие воображения ускоряют и самую половую зрелость. Первые явления этой зрелости застают женщину большею частью еще совершенным ребенком, и самая зрелость эта кажется какою-то аномалией, болезнью. ⟨...⟩ Здравое развитие ума полагает преграду преждевременному и вредному развитию чувственности и делает невозможным анормальное появление признаков зрелости в то время, когда самой зрелости еще нет или когда самое существование ее не имеет должной цены. Правильная организация и здоровое сложение детей возможны лишь при действительной, а не фиктивной зрелости матери. Это факт всеми признанный.

А между тем все женское воспитание направлено у нас словно нарочно на то, чтобы приготовлять искусственно-зрелых женщин чуть ли не в тринадцать лет. И до сих пор, несмотря на возгласы наши о том, как далеко ушли мы вперед от каких-нибудь персидских, турецких нравов, сплошь встречаются женщины, у которых физическое развитие и рост остановлены тем, что они готовятся быть матерями. Какого же здоровья можно тут ждать от детей? Это скороспелые плоды, истощающие дерево и пользующиеся из него слабыми соками.

В наше время детское образование все более и более упрощается. Элементарные познания приобретаются уже без того тяжкого труда, который обусловливал необходимость ферулы* и розог. Даже если предположить в девочке относительную слабость организма в сравнении с мальчиком, чего в сущности нет, то и тут равномерное с ним ученье ни в каком случае не может нанести физического

---

* Ферула — линейка, которой били по ладоням провинившихся учеников.

вреда и помешать будущей женщине стать здоровой матерью и здоровой кормилицей своего дитяти.

А между тем даже в тех первоначальных познаниях, без которых мужчина не может шагу ступить в жизни, чтобы не оказаться дураком, отказывают женщине или передают ей их в детстве так, что она привыкает мало-помалу видеть в них не что-либо существенное для жизни, а какую-то ненужную для себя заботу, которая минует вместе с детскою порой. Учась вместе с братьями, девочка замечает постоянное отчуждение себя от их интересов. На ее уроки смотрят сквозь пальцы; ей говорят: «Это для тебя лишнее!», «Это тебе не нужно!». Она старше своих братьев, зрелее пониманием; а между тем к ней несравненно менее требовательны, чем к ним. Нечего и говорить, что при таком взгляде невозможно не только мало-мальски серьезное образование, но даже и охота учиться. Во всех азбуках говорится, что «плоды учения сладки, а корень его горек». В то время как мальчика часто против воли заставляют сосать этот горький корень, девочке постоянно говорят: «Не сладко, так брось!» Как ни много успехов сделала мето́да элементарного образования, горечи в первых уроках осталось еще довольно, и приохотить к труду, пробудить любознательность, заставить полюбить знание — составляет все-таки главную задачу современного воспитателя. Только в женском воспитании задача эта отодвигается на второй план, если не забывается совсем.

Такое небрежное отношение оправдывают обыкновенно тем, что женщина в зрелом возрасте, если только она удовлетворяет главному своему назначению — быть матерью, не имеет и времени посвящать себя интересам науки или общества. Тут начинаются обыкновенно выкладки и расчеты, из которых прямым следствием выходит знаменитая аксиома г. Мишле[3] (в его книге «Любовь»), что «женщина есть существо больное». Действительно, при том направлении воспитания, какое дается в детстве женщине, все физиологические явления принимают в ней мало-помалу характер патологический. ⟨...⟩

Снимите «табу», наложенное для женщины на общечеловеческие интересы, перестаньте смотреть на первые уроки ее с гигиенической точки зрения госпожи Простаковой, и мало-помалу расчеты и выкладки ваши, доказывающие постоянную, несовместную с более широким кру-

гом деятельности болезненность женщины, потеряют свою убедительность.⟨...⟩

До сих пор я имел в виду тех женщин, которые удовлетворяют своему половому назначению — быть матерями; но нельзя же не вспомнить, что, независимо от неизбежных физиологических аномалий, самое устройство нашего общества вовсе не обеспечивает женщине эту долю. Что остается ей тогда? Жизнь без цели, без дела, без пользы, какое-то медленное умиранье. Верным застрахованием от такой жалкой судьбы было бы дельное и прочное умственное образование, которое открыло бы женщине путь и к полезной общественной деятельности.

Да и самые заботы материнские не обнимают собою всей жизни женщины. Прежде чем стать матерью, женщина не может же вся погрузиться в нянченье, обшиванье и одеванье кукол в виде приготовления себя к будущему воспитанию своих детей. Будь это так, следовало бы женщину считать ниже бессловесных животных, которым не для чего любить сначала кукол, чтобы полюбить потом детей своих. А время увяданья, когда способность деторождения уже истощилась, материнские обязанности кончены и дети давно живут самостоятельною и независимою жизнью? Что может быть печальнее и в то же время возмутительнее этой праздной дремоты, в которую женщина осуждена погрузиться в старости?

В ответ на все эти упреки и требования многие не прочь возразить: «Что ж? Попробуйте давать женщине совершенно равное с мужчиной образование. Мы против этого не спорим; ведь результаты всех стараний о женском просвещении будут за нас же. Опыт приведет-таки к убеждению, что женщина не способна к такому умственному развитию, как мужчина, у нее и мозг совсем иначе устроен. Были, правда, исключения из общего правила; но исключения ничего не доказывают. Сами женщины с этим согласны, умнейшие из женщин, как например г-жа Сталь[4], Рахель Фарнгаген[5] и др; Жорж Санд[6] прямо говорит, что женщина от природы дура («La femme est imbécile par nature»*). Но что такое женский ум, женская гениальность даже в помянутых исключениях? Это ум, это гениальность только относительно общего мелкого уровня женских способностей, а никак не в сравнении с умом и гением мужчин. Мы готовы, пожалуй, с вами

---

* Женщина глупа от природы (*франц.*).

согласиться, что физические препятствия в природе женщины не представляют существенной важности для ее образования и для расширения ее прав; но будет ли от этого какая польза для общества? Посмотрите на опыт веков».

Посмотрим.

II

Как в истории наук и искусств, так и в истории обществ и государств на каждой странице встречаем мы имена женщин как деятельных участниц в которой-нибудь из этих сфер. Стало быть, женщины никогда не были чужды ни умственному, ни социальному движению человечества. Как же после этого обвинять их в крайней ограниченности умственных способностей?

Не говоря о женщинах, стоявших во главе государств или усердно и с успехом служивших церкви (здесь они могли действовать под мужским влиянием, не самостоятельно), сколько женщин посвящали большую часть своей деятельности искусству или науке. Нет знания, которое осталось бы совершенно незнакомою для женской мысли областью. Между женщинами есть знаменитые естествоиспытательницы, путешественницы; математика, медицина, филология насчитывают в числе своих деятелей также немало женщин. Менее занимались женщины философией и историею; но и здесь есть несколько уважаемых женских имен. Про изящные же искусства, которые испокон веку считались приличною женщинам специальностью, и говорить нечего. Живописиц, музыкантш, а тем паче писательниц, романисток и поэтесс, не перечтешь.

Но для многих это-то именно участие женщин в прогрессе жизни и знания служит одним из доказательств их сравнительной неспособности, их умственного бессилия перед мужчинами. «Где,— спрашивают обыкновенно,— где в этом бесконечном списке женских имен хоть одно такое, как имена, например, Бэкона[7], Гумбольдта[8], Лапласа[9] в науке, как имена Данта[10], Рафаэля[11], Моцарта[12] в искусстве? Где великие женские открытия? где полезные женские изобретения? где данное женщиной новое направление общественной мысли? где начатый женщиною новый период в искусстве? в науке?»

Действительно, женщины занимают тут второстепен-

ное место, но не второстепенная ли роль принадлежала им и в жизни, и не вытесняла ли их самая эта роль и в более тесную сферу умственной деятельности? Едва ли станет кто отрицать неоспоримый факт, имеющийся у всех на глазах с первых доступных истории времен и до нашей просвещенной поры,— факт, что женщину постоянно обрекали на исключительное служение домашним интересам и всеми мерами старались сделать чуждою как интересам общества, так и интересам науки. Едва ли кто не знает, что воспитание ее стояло всегда не только вдали от жизни общественной в обширном смысле этого слова, но даже и в совершенном противоречии с современными требованиями общества, что к образованию не только равному с мужчиной, не только необходимому для первоначального нравственного воспитания своих детей (а это воспитание всегда вменяли в обязанность матери), но даже просто сообразному хоть бы с ограниченною чредой домашнего быта и неизбежному для этой чреды, у женщины были отрезываемы все законные (sic*) пути, что для выхода из своего пассивного положения ей приходилось отчаянно бороться со всевозможными препятствиями и в утвердившихся правах и в предписаниях действующей морали и действующего закона. Самые исключения из общей порабощенной массы, самые те женщины, имена которых служат лучшим залогом возможности широкого женского образования, не могли, при всех тяжелых усилиях своих, вполне освободиться от вековых уз предрассудка и несправедливости. Нужна не совсем обыкновенная сила ума, чтобы понять высокую цену для жизни того, о чем с детства втолковывалось нам как о чем-то ненужном и бесполезном (по крайней мере лично для нас). Нужна не совсем обыкновенная сила воли, чтобы вопреки прочно утвержденному порядку взяться за дело, признанное чуждым нашим способностям, и взяться за него небесплодно; нужно полное отрешение от всего своего прошлого, не только перевоспитание, но почти перерождение. Если такое перевоспитание и возможно, то уже в года зрелого сознания, когда действительно могут явиться помехой материнские обязанности женщины. Все детство, вся лучшая, цветущая пора молодости были потрачены даром; наука все это время оставалась запечатленною книгой: самая жизнь

* Так *(лат.)*.

показывалась только с некоторых, известных сторон. Счастье еще, если голос общей жизни настолько доходил до слуха, что можно было не отупеть окончательно в одних чисто животных инстинктах, не потерять всякую нравственную восприимчивость и найти в себе хоть изредка, хоть слабый отзыв интересам общечеловеческим!

Где же вина женской природы, что ни одно из этого множества женских имен, вписанных в историю общества, науки и искусства не может стать по значению своему наравне с вышеназванными мужскими именами! Если и даровитейшие представительницы женского элемента в науке и литературе, в обществе и государстве грешат подчас узкостью суждений, непрактичностью взглядов и действий, то не лучше ли источника этих недостатков поискать опять-таки в несовершенстве первого воспитания, трудности приобретения общедоступных для мужчины знаний и, наконец, в невольничьем положении посреди общества? Вы хотите видеть между женщинами Галлиев и Гумбольдтов, а запираете от них двери коллегий, университетов, академий, закрываете от них плотною завесой даже мир и природу и обращаете их как к единственным кладезям мудрости и просвещения к пансионам и институтам, где не дается понятия и об азбуке науки и преподается превратное понятие о жизни. Вы хотите видеть между женщинами великих художников, имена которых определяют век, когда они жили и действовали; а жизнь, эту единственную и твердую почву искусства, позволяете им наблюдать лишь издали. Чем шире сфера, изученная и воспроизведенная художником, тем важнее и прочнее его значение; где же доступна женщине такая сфера? Выходя на поприще литературы, женщины большею частью сходны с теми высоко даровитыми, но лишенными правильного и строгого образования личностями, которые выделяются из темной массы народа и называются обыкновенно «самоучками».〈...〉

Требуя для женщины равного с мужчиной образования, я вовсе не желаю видеть в каждой женщине ученого, философа, историка, математика и проч., и тем менее дипломата, политика, купца, администратора в нынешнем смысле этих слов. Я думаю только, что воспитание должно быть для всех одинаково в том смысле, что дело его развивать способности, а не убивать, расширять область мысли, а не суживать, и что нет такого

человеческого существа (если только оно не какой-нибудь несчастный урод), для которого были бы вредны какие бы то ни было стороны человеческого ведения и которому полезно было бы относительно некоторых предметов «оставаться в милом, простодушном незнании».⟨...⟩

Неравенство образования, неравенство общественных и семейных прав мужчины и женщины вносят в их отношения деспотизм и рабство. Любовь, соединившая их, нарушена этими враждебными отношениями, и на воспитании детей отражается дисгармония жизни воспитателей. Кто из нас, выходя из семьи, не несет на себе или преимущественного влияния отца, или исключительного влияния матери? Кто с самого детства не отдан на произвол колебаниям,— чью сторону принять, отцовскую ли, или материнскую?

Вот на каких основаниях утверждается необходимость расширить умственное развитие женщин. Делая вывод изо всего сказанного выше, повторяю, что возражения против способности их к такому развитию свидетельствуют только о том небрежении, в каком оставалось и, к несчастью, остается до сих пор женское воспитание. Несмотря, однако ж, на все вольные и невольные старания отодвинуть женщину как можно дальше от умственных и нравственных интересов жизни, история представляет нам столько замечательных и достопамятных в ходе цивилизации женщин, что сомневаться в возможности, а тем более пользе расширения образования и общественных прав женщины — нельзя. ⟨...⟩

III

В чем же, по мнению современных староверов, заключается⟨...⟩ прирожденное нравственное несовершенство женщины, мешающее ей занимать в обществе и в семействе равное с мужчиною место? Они окончательно решили, что женщина лишена всякой инициативы, что все хорошие общественные качества приобретены ею лишь под влиянием мужчины. Оставьте ее вне этого влияния, и она делается существом вполне безнравственным. В ней самой нет сознания силы и разума, сознания, которое одно образует нравственный характер, внушает отвагу, дает энергию воле, заставляет отвращаться от лжи, ненавидеть несправедливость, делает противным всякое подчинение и всякое преобладание.

Все это хорошо на словах; но так ли выходит на деле? Женщина (мы это видим и в прошедшем и в настоящем) находится в постоянном подчинении у мужчины. Но действительно ли чувство справедливости, присущее одному мужчине, установило такие отношения? Я уже говорил, что подчинение и зависимость, два совершенно различные понятия, постоянно смешиваются большинством, что на первых порах человечества, когда каждый шаг его на земле был опасностью и борьбой, когда физическая сила была главным обеспечением самого существования, а зависимость между мужчиной и женщиной была вполне неизбежна и отвечала требованиям справедливости. Если даже при полном равенстве физических сил между обоими полами, какое мы видим у низших животных и какое вправе предположить в первобытном человеке, мужчина и имел в некоторых случаях и в известные сроки преимущества перед женщиною в деле охранения племени, то в этом преимуществе не могло быть ничего обидного, деспотического. В других случаях, в другие сроки такое преимущество принадлежало женщине. Если мужчина, будучи защитником женщины во время ее беременности, во время родов и кормления грудью ребенка, и чувствовал порой свое важное значение для дитяти и матери, все-таки не мог же он не сознавать великой важности участия женщины в деле продолжения рода. Ведь только инстинктивное стремление продлить свое существование в детях и заставляло мужчину заботиться о безопасности своей подруги. Жизнью управлял еще стихийный фатализм. Любовь была еще вполне роковою силой, крепко связывающей чету, державшей в равновесии взаимные отношения. Она была и первою зиждительницею общества. «Любовь к женщине,— говорит гениальный германский мыслитель нашего времени[13],— есть основа всеобщей любви. Кто не любит женщины, не любит и человека». То же можно сказать и о любви женщины к мужчине, как в нем самом, так и в его потомстве.

Но с развитием общественности, с усложнением общественных отношений взамен любви женщину с мужчиной стали часто соединять материальные интересы, домашнее равновесие нарушилось, и физическая сила мужчины, деятельность которой не прерывалась периодически, как у женщины, ношением, рождением и кормлением детей, взяла перевес. Она продолжа-

ла еще быть главным залогом безопасности и благоденствия.

При отсутствии прочно связующей любви, чтобы удержать за собою власть, мужчине приходилось все более и более ограничивать свободу женщины. Стеснение ее обеспечивало притом большую свободу ему самому. И таким-то образом совершилось странное и доныне несокрушимое разделение нравственности на мужскую и на женскую, вместе с таким же разделением и всякого знания и всякой деятельности. Что считалось если не вполне законным, то по крайней мере дозволенным, простительным для мужчины, за то женщину наказывали и казнили изгнанием, побиением камнями, сожжением, наказывают и казнят и теперь не менее жестокою казнью общественного мнения.

И после этого можно говорить, что стоит только оставить женщину вне мужского влияния, она окажется существом вполне безнравственным? И после этого можно ценить так высоко инициативу мужчины в деле устройства семейных и общественных отношений? Не его ли господствующее влияние, низводя женщину на степень то рабы, то наложницы, породило в ней и все свойственные рабству пороки — лицемерие, ложь, робость и прочее? 〈...〉

Мне кажется странно опровергать еще одно, самое грязное из обвинений, взводимых на женщину, именно в том, что она лишена стыда, что она вся живет чувственностью, но нельзя оставить этих обвинений неразобранными, потому что, несмотря на свою дикость, они повторяются в более или менее грубой форме очень многими. «Женщина создана для любви». Это мнение с первого раза и грубым даже не покажется; напротив, сколько поэтов повторяло его на все лады, на всех языках, начиная с какого-нибудь древнеиндийского Джаядевы[14] и кончая хоть бы каким-нибудь русским Подолинским[15] или Туманским[16]. После такого долговременного повторения, после всех цветов поэзии, которыми она окружалась, фраза дале как будто не представляет никакого особенно дурного смысла. Но стóит только выразиться пояснее, и все, пожалуй, обидятся. Скажите: «Женщина создана служить игрушкой мужской похоти», и все восстанут против такого мнения, хотя оно в сущности то же, что и высказанное в льстивой фразе: «Женщина создана для любви». Любовь в этом случае поставляется целью

жизни, а не одною из тех зиждительных сил, которые организуют жизнь, вносят в нее строй и порядок.〈...〉

Единожды признав женщину человеком (или и это стало в наше время сомнительным?), признав за нею даже сравнительно меньшие перед мужчиной способности нравственные, умственные и физические, будем по крайней мере настолько последовательны, чтобы считать порок пороком, в ком бы он ни проявлялся. Считая женщин какими-то недоконченными природою существами, проявим столь высокую в нас силу разума, столь неумытое чувство справедливости хоть в том, что найдем облегчительные обстоятельства женским винам.

Но нет! Ложь овладела нами слишком деспотически, и тоже ложь глубоко корыстная, глубоко рассчитанная. Мы хотим с виду казаться совсем не тем, что мы в сущности. Темные поползновения свои мы одеваем в блестки разумности; эгоистические стремления к преобладанию маскируем заботами о порядке общества. Правду, прямое выражение мысли и чувства мы готовы называть бесстыдством; жалкая бесстрастность ставится нами в закон жизни, потому что с теми исключительно животными страстями, которые владеют нами, нельзя показаться на дневной свет, не утратив невозвратно своего человеческого достоинства.〈...〉

Вывод из всего вышесказанного нетруден и требования ясны. Соберем их, однако ж, воедино и постараемся выразить как можно определеннее и точнее.

Первое требование касается воспитания.

Как элементарное, детское воспитание, так и образование в обширном смысле, общее и специальное, должны быть, в существенных условиях своих, одинаковы для обоих полов. Одинаковая забота должна прилагаться к умственному развитию как мальчика, так и девочки. Преднамеренно устранять из женского воспитания известные области знания — значит стараться ограничивать умственные способности существа, одаренного мыслью. Всякое знание, признаваемое полезным для мужчины, должно быть признано полезным и для женщины. Личные способности каждого решают степень участия его в успехах науки, в делах общества. Но для того, чтобы человек мог взять на себя дело, согласное с его способностями, и найти в этом деле цель и счастье своей жизни, необходима полная свобода для их развития. Это правило одинаково для обоих полов. Навязывать жен-

щине с детства известный ограниченный круг деятельности так же нелепо, как назначать в детстве мальчику быть инженером или медиком, тогда как при свободном развитии его способности обратились бы как к делу более им свойственному к агрономии или истории. Уничтожая дикое разделение знаний на мужские и на женские, следует уничтожать и внешние разграничения. Пусть девочки учатся вместе с мальчиками; пусть самое воспитание приготовляет их к совместной деятельности в жизни. Никакой нравственной порчи тут быть не может. Только испорченное воображение может заподозревать чистоту детских отношений и видеть какую-то опасность в подобном сближении. После этого надо считать зловредным сближение братьев с сестрами и отделять их друг от друга высокой стеной, как только они начинают стоять на ногах и лепетать.

Высшее образование, как бы оно ни организовалось, точно так же должно быть доступно женщине наравне с мужчиной. Пусть университет, академия, пусть каждое специальное общественное учебное заведение принимает вместе и учеников и учениц, согласно желанию и внутренней потребности каждого. И здесь пусть будет открытое поле всем способностям, кому бы они ни принадлежали, человеку в юбке или человеку в панталонах. Опасения за общественную нравственность и здесь будут совсем неуместны. Постоянное, с детства начинающееся отчуждение друг от друга обоих полов более всего способствует ненормальному развитию воображения, а с ним вместе чувственности и безнравственности. Лучший пример закрытые учебные заведения для девушек: в их замкнутых стенах составляются самые дикие и нелепые представления о людских отношениях, представления, которые потом вносят разлад в жизнь, недовольство ею, а часто и горе на целый век. Постоянное разобщение в лучшие годы молодости не позволяет ни мужскому, ни женскому чувству окрепнуть в действительной симпатии, сосредоточиться на одном предмете, наиболее удовлетворяющем нашей внутренней потребности. Непостоянство наших симпатий; легкость наших отношений это не что иное, как тревожное искание прочного удовлетворения сердцу, отчужденному от круга, в котором такое удовлетворение нашлось бы скоро. Одинаковость стремлений, равенство умственного и с ним нравственного развития, родственность натур связывают

на университетской скамье дружеские отношения на всю жизнь. Прибавьте к этому естественное влечение одного пола к другому,— и вот вам прочная основа разумного и свободного союза для совокупной деятельности и взаимного счастья. Не бойтесь за юношу и девушку, соединенных такими узами; они сумеют оберечь себя от увлечений, которые кажутся вам столь пагубными. Истинная любовь неразлучна со взаимным уважением. Вспомните также, что их соединило нечто более прочное, чем одно половое влечение, которое играет такую важную роль при ином, изолированном, положении мужчин и женщин; влечение это значительно умеряется в данном случае другими симпатиями.

Раннее физическое развитие, на которое мы так жалуемся, мало-помалу войдет в разумные границы при подобном строе воспитания, и дети и юноши с испорченным воображением и неестественными требованиями от жизни будут редкими и жалкими исключениями.

Другое бедствие нашего общества, браки по принуждению или по расчету, часто совсем нерасчетливому, станут тоже невозможностью при лучшем, более глубоком понимании обеими сторонами и своих потребностей и выгод, и отношений своих к обществу. Такого понимания, сообщаемого свободным и разумным образованием, мы боимся, как повода к разврату, к распущенности нравов; а между тем нравственность наша не оскорбляется настоящим порядком вещей, который делает возможными союзы между изношенными стариками и шестнадцатилетними девушками или так называемые «приличные партии», и между молодыми, но едва знающими друг друга людьми.

Расширить таким образом женское образование — еще не все. Надо открыть женщине свободный доступ ко всем родам деятельности, теперь составляющим исключительную привилегию мужчины; иначе самое образование не будет достигать цели, будет мертвым капиталом для общества и часто тяжелым преимуществом для женщины, которой нет возможности применить к делу свои дарования и сведения. Нечего бояться, что при полной свободе выбора женщина вздумает браться за то, что менее всего будет согласно с ее природой, с материнскими обязанностями, которые в известное время потребуют особенного и, пожалуй, исключительного ее внимания. Наверное можно сказать, что, например, воинственных женщин, чувствующих пристрастие к штыку и крови,

найдется очень немного. Но если б и много их нашлось — не беда: опыт, вероятно, все более и более ограничивал бы их число.

Участие в труде и промышленности, в науке и искусстве вообще должно быть доступно каждому совершеннолетнему члену общества. Если это еще и не так на деле, то все-таки мы идем к такому порядку,— это ясно из всего хода современного общества.

Признавая женщину тоже членом общества, как мы это и делаем на словах, следует дать ей все исчисленные права. В какой мере и как она ими воспользуется — это уже не наше дело. Как существо мыслящее она требует этих прав, и мы обязаны дать ей их, как дадим их рано или поздно пролетарию и невольнику-негру. Несомненно одно, что действия ее будут настолько же, насколько и действия мужчины, направлены на поддержание и развитие личных, семейных и общественных интересов.

При решении вопроса об участии женщины во всех гражданских правах и обязанностях, в которых участвует доныне лишь один мужчина, нечего принимать в соображение половое назначение ее — быть матерью. При правильном устройстве семейных отношений браки не будут заключаться так рано, в ущерб физическим и нравственным силам как самой четы, так и ее детей, при лучшем нравственном развитии деторождению в жизни женщины будет принадлежать лишь пора полной физической зрелости, а пора увядания будет от него изъята. Средним числом должно приходиться не более четырех-пяти детей на каждую женщину; стало быть, время беременности, рождения и кормления займет в ее жизни всего восемь, десять лет. Если мы допустим, что это время и совершенно неудобно для деятельности в какой бы то ни было иной сфере, кроме домашней, если мы признаем его годами страдания и всякого бессилия, умственного, нравственного и физического, то и тогда требование наше в основе своей не будет несправедливым. Можно ли приносить свободу и счастье всей жизни женщины в жертву этих восьми, десяти лет, в которые она не будет мочь ими пользоваться? Как, кем и в какой мере должна быть обеспечиваема женщина на эти годы, если их следует признать решительно непроизводительными в ее жизни, это уж вопрос практического применения, нейдущий к этим общим замечаниям...

Но нет сомнения, он разрешился бы сам собой, при внесении в организацию семьи принципа, вытекающего из здравого взгляда на вещи.

Брак при исчисленных условиях становится высоконравственным союзом, интересы жены и мужа сливаются, деятельность их направляется к одной цели, и нынешняя непрочность супружеских отношений становится почти невозможною.

Истинно нравственное, согласное с общим благом воспитание новых поколений должно быть первым следствием такого порядка вещей. Ребенок с самых первых лет своих будет видеть в отношениях отца и матери ту гармонию прав, обязанностей и действий, которая как светлый идеал будущего счастья общества начинает владеть мыслью даже лучших людей нашего времени часто только после тяжкой борьбы с господствующим злом и неправдой.

Мы оставались постоянно в кругу общих вопросов. Частное применение их, указание кратчайшего и лучшего пути, как преобразовать существующие отношения, не входило, как я уже сказал, в задачу этих скромных заметок. Пусть только больший круг людей вникает в самые вопросы и тревожится ими: ответ даст сама жизнь.

Г. З. ЕЛИСЕЕВ

1821—1891

...Принадлежит к людям редкого ума.

Н. В. Шелгунов

На литературных мостках Волкова кладбища в Ленинграде есть могила, над которой возвышается бронзовый бюст человека с широкой окладистой бородой и острыми, проницательными глазами, смотрящими из-под чуть насупленных бровей. Под ним золотится надпись:

ГРИГОРИЙ ЗАХАРОВИЧ
ЕЛИСЕЕВ
1821—1891

Нынешнему поколению это имя мало о чем говорит. Но было время, когда Елисеева знала вся читающая Россия. Замечательный публицист, сподвижник Чернышевского, Некрасова и Салтыкова-Щедрина, он в течение более двух десятков лет был редактором и сотрудником лучших журналов прошлого столетия — «Современника», «Искры» и «Отечественных записок».

Родился Григорий Захарович Елисеев в далеком сибирском селе в семье бедного священника. Образование получил сначала в бурсе, затем в семинарии и, наконец, в Московской духовной академии, по окончании которой в 1844 году был назначен сначала преподавателем, а затем стал профессором Казанской духовной академии.

В эпоху «мрачного семилетия», когда в России все молчало, задавленное самодержавным гнетом, Елисеев, по словам историка П. Знаменского, стал открыто говорить слушателям академии «о горемычном житье народа и о крепостном праве, предмете тогда еще положительно запрещенном». Его лекции пользовались огромной популярностью. Это вызвало недовольство академического начальства, и за молодым профессором был установлен негласный надзор.

Вскоре преподавание в академии перестало удовлетворять Елисеева. Человек яркого общественного темперамента, он всегда стремился к живому практическому

делу, хотел немедленно видеть результаты своей деятельности. В 1854 году он оставил академию и отправился на службу в Сибирь. Его продвижение по служебной лестнице складывалось довольно успешно. Он занимал значительные посты и дослужился до чина надворного советника, что соответствовало званию подполковника. И здесь за ним закрепилась репутация человека передового и прогрессивного. Однако Елисеев убедился, что все его попытки что-то сделать, принести какую-нибудь пользу, не что иное, как капля в море народных бедствий, с которыми приходилось сталкиваться на каждом шагу. Он принял решение выйти в отставку и в начале 1858 года уехал в Петербург.

Служба в Сибири дала будущему публицисту громадный материал. Он узнал жизнь во всех ее проявлениях. Особенно хорошо Елисеев познакомился с жизнью русской деревни и положением крестьянства. Именно в Сибири он определил главное направление всей своей дальнейшей деятельности — всегда и повсюду бороться против любых форм угнетения и произвола, отстаивать интересы мужика, выступать за общественный прогресс и демократические идеалы.

Вскоре по приезде в Петербург Елисеев познакомился с Чернышевским, который привлек его к сотрудничеству в «Современнике», а с февраля 1861 года поручил публицисту один из важнейших отделов журнала «Внутреннее обозрение». Одновременно Елисеев вошел в состав редакции сатирического журнала «Искра», где в течение нескольких лет вел отдел «Хроника прогресса»

Период сотрудничества в «Современнике» и «Искре» — один из важнейших в творчестве Елисеева. В это время он полностью разделяет революционно-демократические взгляды Чернышевского и пользуется его неограниченным доверием. С его помощью Елисеев завязал отношения с революционным подпольем 60-х годов, принял участие в создании тайного общества «Земля и воля» и даже был избран кандидатом Центрального комитета этого общества. В квартире Елисеева помещался знаменитый Шахматный клуб, служивший местом легальных встреч революционеров. В делах III отделения сохранилась справка следующего содержания: «Отставной надворный советник Григорий *Елисеев* принадлежит к числу литераторов, составляющих интимный кружок *Чернышевского*, который им весьма дорожит; статьи его

в «Современнике» носят отпечаток проводимых этим журналом идей».

Уже первые статьи Елисеева в «Современнике» обратили на себя внимание глубоким знанием жизни, эрудицией и остротой взгляда автора. В его статьях чувствовалось умение обобщать частные факты и освещать их с точки зрения интересов крестьянских масс.

Накануне реформы 1861 года Елисеев выступил резким противником крепостного права, называя его порядком, «который мертвит все и убивает». Он настаивал на освобождении крестьян с землей. Позднее вместе с Чернышевским и Добролюбовым Елисеев в своих «Внутренних обозрениях» разоблачал антинародную и грабительскую сущность крестьянской реформы 1861 года.

Круг вопросов, затрагиваемых Елисеевым в статьях и заметках, печатавшихся в «Современнике» и «Искре», был очень широк. Он писал о политике правительства и о положении крестьянства, о русской истории и земстве, о гласности и откупах, об эмансипации женщин и воспитании в семье, об образовании и телесных наказаниях, вел активную полемику и борьбу против реакционной и либеральной прессы.

После ареста Чернышевского Елисеев стал одним из редакторов «Современника». Вместе с другими членами редакции он стремился продолжать революционно-демократические традиции журнала. В условиях жесточайшего цензурного гнета Елисеев не один раз писал о необходимости широкого общественного движения для «просвещения масс, гуманизирования их нравов... распространения между ними материального благосостояния», выступал противником существующего строя, ратовал за социальные преобразования, боролся против расхищения народных богатств набиравшим тогда силу капиталом и т. п. Одновременно публицист горячо защищал от нападок реакции имена Чернышевского и Добролюбова, отмечая в их деятельности высокую гражданственность и верность идеям времени.

Елисеев был подлинным журнальным бойцом, стремившимся откликнуться на самые актуальные проблемы действительности. Причем откликнуться не откладывая. Ежемесячный журнал не всегда мог предоставить такую возможность. Поэтому в 1862 году Елисеев редактирует еженедельник «Век», а в 1863 году — ежедневную газету «Очерки». Это были органы революционно-демократичес-

кого лагеря, проводившие те же самые идеи, что и «Современник». Да и писали там преимущественно одни и те же сотрудники.

Вскоре после покушения Каракозова на царя в апреле 1866 года Елисеев в числе других литераторов, подозревавшихся в антиправительственной деятельности, был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Против него было выдвинуто обвинение в связях с кружком революционера Ишутина, в подстрекательстве к освобождению Чернышевского с каторги и попытках организации артелей и ассоциаций. На допросах и во время очных ставок Елисеев держался твердо и отрицал все предъявленные обвинения. И это спасло его. За недостатком улик он в конце концов был освобожден «под строгий полицейский надзор», под которым находился вплоть до самой смерти.

После закрытия «Современника» в 1866 году Елисеев вместе с Некрасовым и Салтыковым-Щедриным возглавил журнал «Отечественные записки» и в немалой степени способствовал тому, что вскоре этот журнал стал достойным продолжателем революционно-демократических традиций «Современника».

В 1881 году Елисеев тяжело заболел и вынужден был почти полностью прекратить литературную деятельность. В последние годы жизни он работал над воспоминаниями, в которых намеревался рассказать о роли «Современника» и «Отечественных записок» в русской общественной и литературной жизни, о их главных сотрудниках — Чернышевском, Некрасове и Салтыкове-Щедрине. Болезнь и смерть помешали осуществить это намерение. До нас дошли только отдельные фрагменты его мемуаров.

Григорий Захарович Елисеев был не только талантливым публицистом, но и человеком высоких моральных качеств. Особенно его любила молодежь. В квартире Елисеева постоянно собирались молодые люди. Их привлекали глубокий ум хозяина, его меткие, пронизанные легкой иронией суждения. В нем они видели одного из близких Чернышевскому людей, продолжателя его дела.

«Г. З. Елисеев принадлежит к людям редкого ума, тонкого, проницательного, понимающего вещи и людей в самой их сущности, насквозь,— писал революционер и публицист Н. В. Шелгунов.—...В истории русской журналистики Г. З. Елисеев, как крупная выдающаяся сила, займет одно из видных мест...»

Внутреннее обозрение

Наше долгое молчание.— Тоска по нас читателей, и объяснение, почему мы для них необходимы.— Состояние русской журналистики во время нашего молчания.— Павел Иванович Мельников.— Наши старинные с ним счеты.— Разъяснение нигилизма и постепенности.— Действительно ли народ наш так невежествен и груб, что не может воспринять в себя европейской цивилизации.— Германия назад тому два века. ⟨...⟩

Долго, очень долго мы не беседовали с тобой, благосклонный читатель. Другим, более нас счастливым, летописцам суждено было поведать тебе о великих событиях, совершившихся в это время в нашей отчизне. С какою завистью к ним — этим летописцам и с каким опасением за себя смотрели мы, когда с нашим молчанием усилились громы их красноречия, когда пером, достойным Фукидидов[1] и Геродотов[2], описывая совершающиеся события, они готовы были, по-видимому, увлечь все за собою... Мы думали, что все пропало. Мы думали, что ты, читатель, навсегда нас забудешь и имя наше к тому не воспомянется перед тобою. Ведь что такое, в самом деле, были мы для тебя, чтобы нас помнить? — Говоря словами одного великого мужа, «мы не умели плести высоких речей, если бы даже целый мир стал не любить нас за это. Наш пафос непременно рассмешил бы тебя, как бы ты ни был серьезно настроен. Мы не умели ничего говорить о солнце и мирах. Мы смотрели только, как мучатся люди». Не велико искусство. Не велика заслуга!

Но скоро мы поняли, что в мире важна не великость искусства, не великость заслуги,— а их нужда. Нас некому было заменить. Ни у кого не достало уменья низойти с пьедестала пышного красноречия до той простоты и безхитростности речи, которою владеем мы, ни у кого не нашлось настолько терпкости и горечи, чтобы разнообразить умственную пищу твою, благосклонный читатель,— и наша победа была решена. Скоро стали примечать мы, что ты с беспокойством разрезываешь разные хроники и обозрения, затем быстро перелистываешь их,— и затем вдруг бросаешь на пол с неудовольствием и даже досадой.

Мы поняли, читатель, что ты чего-то ищешь, что ты сердишься, не находя этого чего-то нигде; сердце наше забилось от радости. Мы поняли, что это что-то *мы*, что ты нас ищешь. И мы поняли нашу необходимость для тебя.

Мы увидели ясно, что мы составляем необходимую приправу твоих умственных наслаждений, без которой они теряют для тебя всякую прелесть. Без нас все тебе кажется пресным, приторным, безвкусным. Мы — тот необходимый фон, без которого белое теряет прелесть истинной белизны и начинает представляться серым, даже грязным, голубое перестает блестеть своим ярким отливом и кажется полинялым, красное смотрит подержанным и т. д. Одним словом, мы — необходимая для тебя varietas *.— А varietas, как известно, delectat **.

Еще древние заметили, что только тот может вполне оценить наслаждение пищею, кто испытал все неудобства голода, что никогда не приятно так спокойствие, как после понесенных трудов, что никто так не насладится сладостно гармониею, как тот, чей слух был долго терзаем диссонансами и т. д. Гераклит [3], один из замечательнейших философов древности, назвал *борьбу* материею всего сущего и положил это начало в основание своей философии. Это же самое начало в недавнее время блистательно развито было Гегелем[4] в его диалектическом методе. «Во всяком явлении, говорит Гераклит, замечаются два противоположные стремления. Единство обоих элементов, поколику рассматриваем их, как стремление противоположностей,— *борьба, раздор*... потолику взираем на их единство или рассматриваем их в единстве,— *согласие, гармония. (Извините, что тяжеленько: переводец — киевской работы.)* Следовательно, гармония и борьба один и тот же предмет, рассматриваемый под различными углами зрения. Стало быть, без борьбы, без противоположностей не существовала бы и гармония, и значит, ничего не существовало бы». «Прекращение борьбы,— продолжает далее Гераклит,— мир есть смерть индивидуума и переход в более общую и широкую экономию жизни. Отсюда мир... есть начало разлагающее, начало смерти, как борьба начало обособляющее, начало жизни».

Чтобы доказать, как несомненна истина, которую два великих философа древнего и новейшего времени положи-

---

* Разнообразие *(лат.)*.

** Наслаждение, услада *(лат.)*.

ли в основании своей философии, нам не нужно ходить далеко: мы легко можем поверить ей по нашей литературе.

Надобно вам сказать, что, как из всех европейских государств нет ни одного, которое могло бы сравниться с нами богатством своих сырых продуктов, так, с другой стороны, нет также ни одного почти государства, которого мы не стояли бы ниже по бедности и по крайнему несовершенству, непрочности наших фабричных изделий, и вообще изделий, требующих напряженной работы головного мозга. К числу этих изделий должно отнести и *мысль*. Мыслию наше отечество очень бедно,— да и та, которая добывается по временам там и сям, бывает крайне несовершенна. Можно смело сказать, что во всех наших делах из 1000 человек занимается производством мысли едва 1/1000 часть. Остальные же затем 999 или повторяют на разные лады мысли, добываемые этою одною частию, или занимаются опровержением их или qvasi* опровержением, повторяя на разные лады: «Да как это так? — Да можно ли это? — Да прилично ли? — Да благонамеренно ли? — Да благовременно ли?» и проч. и проч. все в том же роде. То же самое или почти самое делается и в нашей литературе. Как ни скромна была литературная деятельность «Современника», но около него тем или другим из указанных нами способов пропитывалось очень много литературных собратий. Можно бы было с математическою точностию доказать, что половина так называемых литературных статей в наших газетах и журналах печаталась по поводу статей «Современника». Но,оставив в стороне это незначительное кустарничество, мы укажем на промышленность более капитальную, создавшуюся на счет «Современника». «Северная пчела» [5] в прошедшем году быстро выдвинулась было вперед из всех, занявшись прилежно «Современником»! А некоторые из ее сотрудников, в особенности Павел Иванович Мельников [6], долго напрасно старавшийся приобрести известность «Дневником», раскольническими сочинениями, снискал себе неувядаемую славу только патриотическою борьбою с «Современником». «Время» [7] сделалось тенью «Современника». Критический отдел его состоял исключительно из словопрений с критическими статьями вновь являвшихся книжек «Современника».

Теперь прошу представить себе читателя, что должно было произойти в русской литературе, когда замолк «Со-

---

* Как будто *(лат.)*.

временник», а вместе с ним замолк и Иван Сергеевич Аксаков [8], доставлявший исключительностию своих воззрений также весьма значительное пропитание русской литературе. «Времени» пришлось так плохо, что оно едва не закрыло своего критического отдела и едва не превратилось в собрание новейших романов. Если такое несчастие с ним не последовало, то единственно потому, что редакции его пришла счастливая мысль вызвать немедленно телеграммой г. Ап. Григорьева [9], который привез значительный запас критических статей по литературе, написанных им в сороковых и пятидесятых годах, и тем восполнил оскудевший отдел. «Северная пчела», потеряв быстро приобретенную ею известность, не знала, что ей делать, начала кидаться во все стороны, заговорила такое, что все рты разинули от изумления; даже и теперь, бедная, все не может оправиться от болезни. О разных сотрудниках ее, стяжавших неувядаемую славу, говорить нечего. Исчезли с лица земли. Исчез даже Павел Иванович Мельников! Sic transit gloria mundi! *

Павел Иванович Мельников! Явится ли он когда-нибудь снова на литературном поприще! Под своим ли именем явится или под какими-нибудь игреками,— нам все равно. С именем этим соединено в сердце нашем столько сладких воспоминаний, что мы никогда не забудем его. Можно сказать без преувеличения, что ему первому мы обязаны нашей известностью, которая начинается именно с того времени, как Павел Иванович Мельников почтил нас своим ответом. До того времени — читатель, постоянно пробегавший наши обозрения, знает это — на нас никто не обращал никакого внимания. ⟨...⟩ Из известных писателей Павел Иванович первый осчастливил нас своим вниманием, уделив нам почти целый столбец в 142 № «Северной пчелы» и адресовав его прямо к нашей личности таким образом: *автору внутреннего обозрения в Современник,* что нам приятно тем более, что Павел Иванович Мельников никогда почти не отвечает нападающим на него, а пишет обыкновенно, в таких случаях, в газетах, что «отвечать на выходку или выходки, направленные против него, он не будет».

Правда, в статейке, назначенной собственно для нас, делается, то и дело, обращение помимо нас и к «Современнику» и к свистунам вообще, но мы полагаем, что это не только не уменьшает нашей личной славы, а напротив

* Так проходит земная слава! *(лат.)*

некоторым образом увеличивает ее. ⟨...⟩ Правда и то, что Павел Иванович Мельников в статейке своей объявляет, что он отвечает нам, *в первый и в последний* раз. Но и это ничего. Для нашей славы довольно и того, что он почтил нас и одним ответом. Несколько изощрительных слов, сказанных заслуженным поэтом Державиным молодому Пушкину, составили славу последнего, ибо постоянно вдохновляли его к труду. Суворов, сказав случайно мальчику Давыдову, что он будет полководцем, и в самом деле чуть не сделал его полководцем. Усумнимся ли мы в том, что столбец, написанный об нас рукою Павла Ивановича Мельникова, составил нашу славу? Итак, хотя Павел Иванович объявил, что говорит с нами *в первый и в последний* раз, тем не менее мы приносим ему чувствительную благодарность и глубоко сожалеем, что не имели возможности дать ему ответ в свое время. Впрочем, мы думаем, что и теперь ответ этот будет кстати, так как он разъясняет именно тот самый предмет, о котором повели мы речь.

Павел Иванович начинает свою статейку тем, что обвиняет «Современник» в ненависти ко всем независимым органам литературы, а вследствие того, и к «Северной пчеле».— «В апрельской книжке «Современника»,— говорит Павел Иванович Мельников,— в отделе «Внутреннего обозрения» несколько страниц посвящено «Северной пчеле», по поводу отзыва ее о Чернышевском. Дело понятное: иначе быть не могло! «Пчела» «Современнику» стала ненавистна, но не столько за отзыв ее о г. Чернышевском, сколько за ее независимость, при которой она не кланяется никому, ни направо, ни налево. «Современнику» очень хорошо известно, что вся сила «Пчелы» заключается в ее независимости и потому (?) он прямо нападать на нее не может».

В этих немногих словах есть какое-то печальное недоразумение. Если Павел Иванович Мельников говорит о независимости «Северной пчелы» от «Современника», то в такой точно независимости от «Современника» находятся и все литературные органы. Нет ни одного, который бы зависел от «Современника». Есть, конечно, солидарные с ним, но солидарность есть дело добровольное. Солидарны между собою и «Северная почта» [10], и «Северная пчела», и «Наше время» [11], и «Русский вестник» [12]. Но кто же может сказать, что они друг от друга зависимы? Они солидарны между собою, конечно, по внутреннему убеждению. Если же под независимостью «Северной пчелы» г. Мельников разумеет независимость вообще, то в этом сильно мож-

но усомниться. Зависимость может выражаться не в одних поклонах направо и налево,— а вообще в точном исполнении того, что требуется для изъявления угодливости тому лицу, от которого зависишь. Говоря это, мы, впрочем, никак не думаем заподозрить «Северную пчелу» в подобной грубой зависимости от кого бы то ни было. Мы этим только хотим разъяснить понятие независимости. Итак, быть независимым не то значит, чтобы не кланяться направо и налево — это уж слишком грубо,— и не то, чтобы в том или другом случае не соглашаться с «Современником» или каким-нибудь другим журналом; быть независимым значит иметь цельное самостоятельное воззрение на все, собственное миросозерцание всего сущего и являющегося.— Вот запаситесь-ка таким миросозерцанием, да и держитесь его строго, проводите его неуклонно во всех ваших статьях,— тогда у вас песня пойдет другая.

Тогда вы не будете, во 1-х, держаться наших и ваших, сегодня говорить одно, завтра другое, послезавтра третье. Теперь большая часть наших литературных органов,— мы говорим не об одних вас,— поставлены точно таким образом. Человек, принимаясь за перо, не имеет никакого определенного цельного воззрения, которое он должен бы быть отстаивать или защищать и с которым должны были бы гармонировать все частные его мнения.— Ему все равно, согласиться ли с Петром, с Иваном, с Кондратьем,— и он соглашается по своему дневному личному настроению сегодня с одним, завтра с другим, послезавтра с третьим.— Оттого на деле и выходит, что газета, например, в один день со всем жаром и энергией отстаивает принцип полной женской эмансипации, а на другой день говорит женщине: *не ходи одна, ходи с тетушкой,* или в один день соловьем заливается о безусловной религиозной терпимости, а на другой день совершенно спокойно и еще звучнее воспевает о том, что иконе, написанной не на левкасе *, не следует молиться.— Но это бы еще куда ни шло — говорить сегодня то, а завтра другое — это у нас делается сплошь и рядом.— А то бывает даже так, что человек за один и тот же принцип, одни и те же воззрения и бранит, и хвалит. На сие мы, впрочем, не будем приводить примеров. ⟨...⟩

Далее, если бы вы запаслись каким-нибудь самостоятельным воззрением и поставили себе целью постоянно развивать его в своих статьях, тогда наша литература не

* Род шпаклевки (мел с клеем), наносимый под краску.

представляла бы собою того печального зрелища отсутствия почти всякой живой мысли, какое представляет она собою теперь.— Люди, не участвующие сами в литературе, справедливо говорят, что наши журналы и газеты заняты перебранками.

Упрек этот, конечно, не имел бы никакого значения, если бы перебранки были полемизирующими объяснениями или примечаниями к статьям, написанным собственно в утверждение какого-нибудь взгляда и воззрения! Но в том-то и дело, что перебранки эти чисто детские.— Журнал или газета, не имея никакого собственного взгляда, не знает, что ей делать, и смотрит, что делают другие. Сказал какой-нибудь человек не пошлую мысль, и — пошла работа. Кричат все: «а! вон, говорит, такой-то в бога не верует, родителей не почитает, развращает юношество»! Как у подобных гг. писателей не краснеют под пером типографские чернила! Разве позволительно так действовать человеку, честно употребляющему литературное оружие? Вы находите вредным, что человек, утверждаясь на известных началах, высказывает известные убеждения.— Вы утверждайтесь на своих и распространяйте другие противоположные убеждения. Вот честный образ действия! Мы уже заметили выше, что многие из наших газет и журналов проживали «Современником», что в них критические статьи, хроники, фельетоны наполнялись постоянно прямыми или косвенными репликами о «Современнике». Если бы все статьи о «Современнике» представляли собою серьезное, основательное опровержение начал и воззрений, им проводимых в силу других начал и воззрений, утверждаемых путем логическим, то подобные статьи мы конечно не обвинили бы в отсутствии мысли.— Но из подобных серьезных статей против «Современника» мы можем указать только статьи гг. Лаврова [13] и Юркевича [14].— Во всех прочих статьях заключалось иногда переливание из пустого в порожнее, от нечего делать, а иногда нечто и еще того худшее.— Чтобы показать примеры, что за полемика велась журналами против «Современника», мы берем находящуюся у нас под руками 4-ю книжку «Времени», в которой автор критического обозрения сего почтенного журнала полемизирует с г. Антоновичем по поводу повести г. Тургенева «Отцы и дети». Г. Антонович говорит: «Что значит неверие в науку и непризнание наук вообще,— об этом нужно спросить у самого Тургенева; где он наблюдал такое явление и в чем оно обнаруживается,

нельзя понять из его романа».— Замечание г. Антоновича на наш взгляд весьма дельное. У нас принято мнение обвинять нигилистов в непризнании науки. Может быть, господа, взводящие подобное обвинение, говорят и недобросовестно,— в таком случае они имеют в виду каких-нибудь шаромыжных нигилистов. Мы знаем, напротив, нигилистов, напоенных знаниями очень серьезными, очень разнообразными и обширными. Оно впрочем так и должно быть. Ведь тому, кто хочет доказывать, что добродетель сидит в желудке,— в чем обвиняют нигилистов, желая показать свой юмор, некоторые писатели вроде Василия Заочного [15],— надобно натурально вдесятеро иметь больше знания, чем тому, кто хочет доказывать общеизвестную истину, что добродетель похвальна.

Как же полемизирует против замечания г. Антоновича «Время»? А вот как:

«По этому случаю, мы могли бы многое вспомнить, например, хотя бы то, как г. Чернышевский смеялся над историей, как г. Антонович намекал, что можно обойтись без философии и что немцы ныне дошли до такой премудрости, что опровергли некоторые науки целиком».

Что это такое? Шутка, насмешка или печальное недоразумение? Г. Чернышевский пишет *положительные* исторические статьи, г. Антонович пишет *положительные* философские статьи, и тот, и другой обвиняются в непризнании истории и философии. Как все это понять и как вяжется это в голове обвинителя? Г. рецензент никак не может понять той простой вещи, что можно быть страстно влюбленным и в историю, и в философию, и во все науки, и можно вместе с тем, и даже именно вследствие этой страстной любви к ним, смеяться над многими науками в их современном состоянии. Если бы только на основании насмешек какого-нибудь лица под неудовлетворительностию какой-нибудь науки в современном ее положении можно было заключить о непризнании этим лицом самой науки, то Гете, этого идола «Времени», надобно было бы обвинять в непризнании решительно ни одной науки. Никто беспощаднее его не обвинял ни истории, ни философии, ни медицины. Какие насмешки г. Чернышевского могут сравниться, например, хоть с следующим отзывом Фауста об истории! —

ВАГНЕР

Однако ж любо, согласитесь сами,
Вникать в прошедший дух веков,

Все видеть — мненья прежних мудрецов
И то, как далеко подвинуто все нами.

ФАУСТ

О, далеко до облаков!
Скрижаль с прошедших лет делами
Семью печатями, мой друг, укреплена!
Что духом времени признать вы согласились,
То дух писателя, в котором отразились,
Никто не весть, как времена;
А иногда и так, что сердцу тошно,
Бежать готов, как поглядишь,— ну точно
С ветошьем лавка, чан помой,
А много, если важный факт какой,
Да прагматический, премудрый комментарий,
Приличный куклам лишь, а не разумной твари.

Что ж, и Гете не признавал истории? Нигилист был? В том-то все и дело, что только *постепенные* Вагнеры, которых природа лишила демонического раздражения мысли, не знающей покоя в своем вечном движении, могут довольствоваться всю жизнь крохотными знаниями, раз навсегда приобретенными, и самодовольно улыбаться, когда им говорят, что для мысли человеческой, беспредельной в своем поступании вперед, не может быть никаких окаменелых авторитетов. О полемике газет не стоит и говорить. Вероятно, Павел Иванович Мельников и сам убежден в том, что критические обозрения Василия Заочного, а также «Северной пчелы» годятся скорее для помещения в «Искру»[16] как пародии на действительные обозрения, чем в самом деле критические обозрения. И если появление их в серьезных газетах и можно чем объяснять, то разве или отсутствием всякого понятия редакции о критике, или крайним недостатком материала.

Наконец, если бы вы запаслись каким-нибудь самостоятельным воззрением и оставались ему верными, тогда не стали бы с ужасом смотреть на отрицание, вы увидели бы, что отрицание есть необходимое последствие всякого логически проведенного взгляда. На какой угодно опоре утверждайте вы свой взгляд, сделайтесь славянофилами, западноевропейцами,— отрицание непременно явится. Вот г. Аксаков, проводя последовательно свое славянофильское учение, находит необходимым отрицать многое,

точно так же и г. Чичерин[17] вследствие своего совершенно обратного г. Аксакову взгляда. Страшно не отрицание, а ничегонеделание, празднописательство, которое занимается литературной клеветой, сплетней и возбуждает беспокойство там, где нет никаких к нему поводов. ⟨...⟩

Не только «Время» и «Северная пчела» пришли в бедственное положение после того, как замолк «Современник». Даже и «Русский вестник» с «Современной летописью» [18] истощили очень скромный публицистический запас своих сведений. Дошло и у них дело до того, что мужи высшего классического образования, изучавшие в подлиннике Платона[19] и Аристотеля [20], вынуждены были писать передовые статьи величиною в 22 столбца (по счету Н. Ф. Павлова [21]) о чем бы вы думали? — о том, что казенных объявлений нигде не должно печатать, кроме «Московских ведомостей» [22]. Доходила ли литература наша когда-нибудь до такого бедственного, до такого убогого положения? — Казалось бы, хуже этого и представить ничего нельзя.

Однако ж нет, читатель, случилось нечто гораздо худшее даже и этого.

Раскрыв недавно, не помним уже, которую-то из недавних книжек «Отечественных записок» за прошедший год, мы к удивлению нашему в «Современной хронике» усмотрели, что г. Громека [23] грызет г. Скарятина [24], человека одних с ним взглядов и убеждений, то есть такого же постепеновца, как и он сам, и вдобавок к тому, трудившегося в одном с ним журнале. Конечно, если бы г. Громека нападал на г. Скарятина за измену тем общим принципам, которым оба они служат, то не могло бы быть никакой речи о таком совершенно законном нападении и мы бы в это дело не вступились... потому... всякое общество, всякая корпорация преследует своих членов за измену. Но в том-то и дело, что г. Громека преследует г. Скарятина не за измену дорогим принципам, а именно за слишком усердное служение им. «Вы, говорит он г. Скарятину, придерживаясь постепенности, уже слишком мельчите ступени и сглаживаете их до того, что они становятся не приметны даже для божьей коровки. Тут не то, что не выйдет того величественного амфитеатра с красивыми широкими ступенями, по которому хотим мы вести человечество и Россию вперед, а образуется необозримая гладкая поверхность с покатостями не только по все стороны, а, пожалуй, и назад, так что человечество не будет знать, куда ему двигаться, и поворотит —

чего доброго! — назад»!.. На это г. Скарятин со всею основательностию мог бы отвечать г. Громеке, что если г. Громека находит, что прогрессивные ступени г. Скарятина сглаживаются до покатости назад, то, в свою очередь, он, г. Скарятин, с своей точки зрения, находит, что шаги г. Громеки можно назвать скорее скачками исполина, чем шагами обыкновенного человека, что г. Громека устраивает для прогрессивного шествия человечества не ступени, а стремнины и пропасти, в которых оно легко может провалиться, и т. п. И каждый из двух поименованных состязателей был бы прав с своей точки зрения.

Г. Скарятин отвечал как-то иначе г. Громеке, и тоже остался прав.

Но для нас в этом споре важно не то, кто прав и кто виноват, а самый предмет спора. Он, с одной стороны, служит самым сильнейшим аргументом того вышеприведенного учения древних и новейших философов, что без борьбы нет жизни, что мир... носит на себе семя неизбежной смерти,— а с другой, ведет нас к более ясному уразумению самой постепенности. Если бы в начале постепенности, так думаю я, не было никакой жизни или, выражаясь точнее, не было никакой вражды, производящей борьбу, то, при отсутствии внешнего противодействия, мир... или, что то же, смерть и наступила бы. Но оно не умерло, напротив, чтобы жить само из себя, породило борьбу. Ясно, что в начале постепенности должно быть непременно начало вражды, известная хотя малейшая доля нигилизма. Иначе порождение никакой борьбы, никакого распадения было бы немыслимо.

Нигилизм в постепенности!

На первый взгляд представляется, что мы пришли как будто к абсурду. Однако ж в самом ли деле это абсурд? Будем доискиваться.

Постепенность! Что же такое постепенность? Разве постепенность есть что-нибудь новое в мире? Разве может что-нибудь в мире быть и совершаться, не подчиняясь закону постепенности? Постепенность есть необходимая форма ограничения всех вещей конечных, то есть всего сущего, постепенность есть необходимая форма представления нашего духа обо всем мыслимом. Разве нигилизм может действовать сам или стремиться создать что-нибудь вне себя помимо этих всеобщих необходимых законов мысли и бытия?

Читатель видит, что в начале, в корне нет не только

диаметральной противоположности между нигилизмом и постепеновщиной, напротив, есть полное тождество.— Так точно чистое *бытие* и чистое *ничто*, разоблаченные от своих атрибутов, являются мыслящему уму совершенно тождественными; но в их *окачествленном* состоянии, в их действительном воплощении в жизни и мысли тождество это не только исчезает, но они начинают поедать, уничтожать друг друга.

То же самое повторяется с постепеновщиной и нигилизмом. Все дело состоит в способе окачествления принятого начала, в приложении начала постепенности к жизни. Мы сказали, что закону постепенности подчинено все в жизни — и бытие, и мысль. Но постепенность не только во внутреннем развитии, но и во внешнем действовании, даже простом движении бесконечно различных творений, бесконечно разнообразна. И божия коровка движется *постепенно*, и черепаха ползет *постепенно*, и конь бежит *постепенно*, и птица летит *постепенно*, и паровоз мчится тоже *постепенно*.

Принятие той или другой постепенности, очевидно, должно вести не только к различным, но и противоречащим взглядам и воззрениям. Божией коровке полет орла, конечно, должен казаться делом опасным, чистым безумием. С другой стороны, отсутствие точной, однообразной, однажды навсегда принятой меры постепенности в приложении к разным явлениям необходимо должно вносить противоречие и разлад в наши собственные взгляды на предметы.

Этим вполне объясняется различие тех двух партий в нашей литературе, которые привыкли обозначать: *постепеновщиною* и *нигилизмом*.

Нигилизм выработал известную, однообразную меру постепенности для общественного прогресса, которою и руководствуется при обсуждении всех явлений, показывая их близость или отдаленность от этого идеала. *Постепеновщина* никакой точной определенной меры постепенности не имеет, прилагая к каждому явлению ту или другую постепенность совершенно по собственному произволу.— *Нигилизм*, в избранной им мере, может быть не верен действительности, слишком требователен от нее,— но зато он остается всегда верен самому себе, строго последователен и силен своим единством внутренним, как в целой партии, так и в каждом ее члене. Постепеновцы то и дело расползаются врозь в своих воззрениях и выводах не только один с другим, но и каждый сам с собою. И в общем

выходит удивительная нескладица, спутывающая многих до того, что, выслушав многочисленных прогрессистов различной постепенности, они решительно недоумевают, что им делать.

Ложиться спать или вставать?

Мы пришли к весьма важному вопросу о том: чем определить меру той постепенности, которую могли бы признать все нормальною для нашего прогрессивного движения.

Мера эта на первый взгляд представляется для всех совершенно ясною и очевидною. Мы существуем в мире не изолированно. Географическим положением, даже первоначальной территорией нашего государства мы поставлены в неразрывное соседство с Европой. По происхождению, по языку, по вере, по истории мы принадлежим также к семье европейских народов. Пути сообщения, наша торговля, промышленность, политика, одним словом, все связывает с ней нас самым теснейшим образом. В одной реке нельзя иметь и несколько сортов воды, в одной комнате нельзя иметь несколько температур воздуха. Находясь в семье европейских народов, нельзя жить с идеями и учреждениями, стоящими ниже общего европейского уровня. Крымская война доказала нам очень ясно, как опасно отставать при подобном родстве и соседстве. Отсюда ясно следует...

Нет, позвольте,— говорят,— очень не ясно, и даже вовсе не следует. И затем начинается ряд возражений, которые твердят все в том же виде со времен очаковских и покорения Крыма, что мы должны идти одной дорогой с Европой, а развиваться особой от нея особью. ⟨...⟩

Говорят одни, что до Европы мы далеко не доросли и нам ее не догнать. Европа, так умствуют они, развивалась веками, а мы начали развиваться только вчера. Притом самое развитие, в силу исторических судеб, идет у нас каким-то особенным образом, не похожим на европейский. Народ наш разделяется на две неровные половины. Огромное большинство его составляют миллионы неразвитых масс, почти еще не тронутых цивилизацией, другую составляет небольшое образованное общество, воспринявшее в себя идеи современной европейской цивилизации с разнообразными оттенками различных партий. Как требования первой незначительны, по крайней мере пока не выяснились относительно перемен существующего порядка, или, что то же, относительно прогресса, так требования второй

напротив очень значительны. По мнению одних, важны единственно требования большинства или, точнее сказать, его бестребовательность, по нашему мнению, важнее всего требования образованного большинства. Как ни прискорбно существующее разделение народа, как ни желательно бы было, чтобы развитие всего народа совершалось по возможности одновременно, но существующее разделение есть факт, неотразимый еще на долгое время. Самое устранение его, то есть слитие народа снова в одно нераздельное целое возможно только под условием распространения всеобщего образования. Поворотить назад образованное меньшинство не может, не отказываясь от человеческого смысла — да подобный поворот был бы, конечно, и весьма неудобен. Крымская война доказала, что при таком соседстве, какое имеем мы, не только неудобно поворачивать назад, но и застаиваться на одном месте очень опасно. Впрочем, в таком повороте не предвидится вовсе надобности. Взрослые не поворачивают своей жизни назад для развития детей. На то существует наука, чтобы сохранять и передавать сокровища и опыты человеческого ума, добытые в течение тысячелетий. Каждое дитя, каждый юноша переживает в сознании своем те тысячелетия, которые прожил род человеческий, и легко становится на современную ступень цивилизации. Так точно не так трудно, как кажется, поднять наши миллионные массы на ту же самую ступень, на которой стоят все европейские народы. Десяток, много, два лет совершенно свободного просвещения, свободных учреждений, свободной деятельности, и народ забудет тяжелое настоящее, как давно минувший сон. Вследствие незнания нами ни нашего собственного народа, ни народов, населяющих Европу, у нас образовалось совершенно ложное представление о нашем народе. Мы принимаем за несомненное, что наш народ находится на такой ступени грубости и невежества, на какой не находится ни один из европейских народов, что разрозненность, разорванность народа от образованного общества существует только у нас одних, потому, дескать, что у нас это произведено искусственно, насильственно реформою Петра, что у других народов ничего подобного не было. Такие представления в высшей степени ошибочны. Несмотря на то, что Европа далеко опередила нас во всех родах культуры, в некоторых местах народные массы стоят гораздо ниже нашего народа по своему умственному развитию. Этого мало. Не надобно быть пророком, чтобы предсказать с

достоверностью, что при существующем у нас общинном поземельном владении, воспитывающем практический и социальный смысл народа, цивилизация нигде не примется так быстро и так прочно, как у нас. Что касается разорванности народа, то она не составляет также какой-нибудь особенности, принадлежащей исключительно нам. Можно сказать, что до последних времен в Европе образованное общество было еще более отдалено от народа, чем у нас. Это так и должно было быть. Потому что европейские народности сливались из элементов враждебных — завоевателей и завоеванных; привилегированные классы в сообществе были там естественным продолжением первоначального состава общества. У нас же привилегированные касты в обществе образовались не в силу исторически положенных в основу общества элементов, а путем искусственным, вследствие неразумного подражания Западу. ⟨...⟩

Есть и еще предубеждение, сильно вкоренившееся в значительной части нашего литературного мира, а вместе с тем отчасти и в нашем образованном обществе, что мы среди других народов составляем по устройству самой природы какой-то особенный народ, что для цивилизирования своего мы предназначены добыть какие-то особенные средства, что повторение того, что сделала Европа даже хорошего, убьет нашу оригинальную природу. В пример особенного устройства нашего указывают обыкновенно на существующую у нас общину, на привязанность к вере, на патриархальность нравов — выражающуюся в любви и братстве, по крайней мере в простом нехитром народе. Все это показывает только очевидное незнание прошедшей европейской жизни, которую мы досель изучаем по историям, излагающим не жизнь того или другого народа, а замечательные проявления собственно государственной жизни, открытия наук, искусств и т. п. Община — необходимая форма первоначальной жизни всех народов. Она была и в Европе. Конечно, надобно пожалеть, что она там разрушена, но она все-таки не составляет особенности нашего устройства. Порывы пиетизма у нас никогда не доходили до таких размеров, в каких они существовали, например, хоть в Германии. Любовь и братство, вообще патриархальность ⟨...⟩ — необходимая принадлежность общинной жизни. Но этого мало: рассматривая жизнь, например, Германии назад тому 100 лет, мы увидим, к нашему удивлению, что она по своему складу до последних почти мелочей была похожа на нашу нынешнюю жизнь. Мы приведем

здесь несколько отрывков из одного немецкого писателя, изображающего жизнь Германии в XVIII столетии. Читатель увидит сам, что изображения эти точно сняты с жизни наших нынешних губернских и уездных городов; в числе их есть такие, в которых не нужно изменять ни одной иоты, чтобы приложить их прямо к России.

«Домашняя дисциплина была строга. По утрам везде, даже в семействах, не принадлежавших к пиетистам, творили в присутствии детей и прислуги краткую молитву, состоящую из трех частей: сперва пели священную песню, потом следовали молитвы или наставления, и потом снова пение. Вставали рано и ложились также рано. Обхождение в домашнем быту было формально, от детей и прислуги требовалась крайняя благоговейная почтительность, супруги почетных граждан говорили еще друг другу *«вы»*.

Все, что примыкало к семейству, друзья, отдаленные знакомые — получало в простой, иногда бедной жизни важное значение. От друзей все еще искали и ожидали — повышения, ходатайства, покровительства. Протежировать и принимать участие считалось обязанностью. Оттого-то знатные и влиятельные знакомства считались необыкновенным счастьем, которого следовало добиваться; серьезно хлопотали о том, как бы не пропустить случая оказать внимание, поздравить с днем рождения, устроить серенаду к какому-нибудь семейному празднику. Благоговение к высшим было очень велико: поцеловать своему патрону руку не считалось дурным тоном. ⟨...⟩

Духовное родство также скрепляло взаимные отношения бюргеров: крестный отец был обязан заботиться о преуспеянии крестника, и такое обязательство лежало на нем до самой его смерти. Родители охотно предоставляли крестному отцу, если он был с состоянием, решительный голос в решении будущей участи ребенка, но за то они ожидали, что он своей последней волею ясно докажет свое расположение к крестнику. ⟨...⟩

Но под этою окованною стариною жизнью началось уже свежее веяние нового, свободного духа; вопрос: отчего? начал касаться уже и мелочей вседневной жизни. И везде появлялись отдельные лица, которые с философским самосознанием стали говорить против обычаев, не имевших, как им казалось, никакого разумного основания. Еще больше было таких, в душе которых работал смутный порыв к свободе, самостоятельности и новому содержанию для жизни, порыв, который отдалил их от толпы и общества

и сводил на окольные пути, делая из них оригиналов, странности которых служили пищею для городских толков».

Досель речь шла все более о правах и обычаях. Сделаем теперь выписку о внешнем виде города:

«В городе, говорит автор, начинает водворяться порядок. Улицы становятся чище: кучи навоза, лежавшие лет 50 перед домами, даже в значительных городах, свезены по распоряжению правительства. Число скота, содержимого в городах, также уменьшилось; свиньи и рогатый скот, разгуливающий по городу между играющими детьми и валявшийся в уличной грязи, содержатся теперь взаперти по задним дворам и пристройкам. Правительство с неудовольствием взирает на то, что горожане внутри городских стен содержат скот, и положило акциз на него. Таким образом, скотоводство оттеснено в бедные предместья и ферверки, а земледелие только в маленьких местечках служит к пропитанию граждан. Полиция также исправляет свои обязанности, учрежден строгий надзор за нищими и мошенниками, паспорт становится необходимою принадлежностью путешественника, магистратские служители не пьянствуют на улицах, а сидят за столом в трактирах» и т. д. и т. д.

Удивительнее всего то, что даже нищенство, в существовании которого у нас И. С. Аксаков видит несомненный признак особенной, нам только русским принадлежащей доброты, было развито в Германии до огромнейших размеров. Вот в каком положении находился, по свидетельству этого путешественника, Кельн в 1791 году. «Кучи навоза лежали там постоянно на улицах, освещения не было никакого, мостовые были так плохи, что в темные вечера предстояла опасность сломить себе шею, даже дороги были небезопасны, потому что были наполнены голодающим сбродом. Нищие составляли собою огромный цех, простиравшийся до 5—6 т. человек: до полдня они сидели и лежали рядами при церковных дверях, некоторые помещались на стульях; занятие такого стула почиталось верным доходом, и нищие передавали их по наследству или в приданое своим детям; оставив эти обычные места своего пребывания, нищие рассыпались за милостынею по городу, по домам» и проч.

Прочитав все вышесказанное, читатель сам увидит, что у нас нет никакого особенного от природы устройства, в сравнении с другими европейскими народами, что мы

кажемся от них слишком различны только потому, что отстали от них лет на сто или более в нашем развитии, но что по этой самой отсталости мы имеем то важное пред ними преимущество, что можем избегнуть тех ошибок и промахов, от которых страдают они. Важнейший из этих промахов, сделанный ими, есть разрушение общины, как основы общества, и вследствие такого обезземления народа, развитие пролетариата и развращение масс народных бюрократической и канцелярской постройкой общества. Обо всем этом, впрочем, уже многократно и подробно было говорено в «Современнике».

Из сказанного читатель усмотреть может, что мы стоим за привитие к народу русскому европейской цивилизации во всей широте с сохранением нашего коренного общинного устройства и с устранением тех ошибок, которые сделали в своем развитии европейские общества, имевшие в виду большею частию не благо целого народа, а благо искусственно созданных привилегированных сословий и отдельных каст. (...)

М. А. АНТОНОВИЧ

1835~1918

...Был всегда дружен с Чернышевским.

Из донесения III отделения

В течение довольно продолжительного времени о критике и публицисте Максиме Алексеевиче Антоновиче говорили и писали как о «разносителе» и «ругателе», за всю свою жизнь не написавшего «ни одной хвалебной статьи». Действительно, выступления Антоновича всегда отличались резкостью и запальчивостью. Конечно, грубая форма, в которую он облекал свои мысли и суждения, отнюдь не делали ему чести и в известной степени даже подрывали авторитет «Современника», где сотрудничал критик. Однако следует иметь в виду, что резкость статей Антоновича, их задорный тон были вызваны отнюдь не вздорным характером публициста, а скорее принципиальными соображениями.

Расцвет критической и публицистической деятельности Антоновича падает на период реакции, на период «трудного времени», когда революционное движение переживало кризис. В борьбу против революционной демократии включилась вся либеральная и консервативная печать, пытавшаяся ошельмовать в глазах общественного мнения «нигилистов» и «мальчишек». В подобной обстановке трудно было сохранить хладнокровие и выдержку. И Антонович часто срывался, яростно нападал на всех, кто пытался опорочить или исказить идеи Чернышевского и Добролюбова.

На протяжении 1863—1866 годов Антонович вел систематическую борьбу против идеализма за торжество материалистических идей, отстаивал необходимость коренных преобразований общественной жизни. Он последовательно и решительно выступал против реакционеров, либералов, «почвенников» и славянофилов. Но, защищая идеи Чернышевского, Антонович далеко не всегда был на высоте. Ему недоставало умения ориентироваться в сложной общественной обстановке, делать правильные выводы в сложившихся обстоятельствах, не хватало глубины в

постановке и в решении многих вопросов политической и литературной жизни. В качестве примера можно привести выступления Антоновича, направленные против романа Тургенева «Отцы и дети», которому он посвятил несколько статей: «Асмодей нашего времени», «Промахи», «Лжереалисты» и отдельные фрагменты своих публицистических выступлений. В этих работах критику не удалось дать объективную оценку произведения Тургенева. Он не сумел вскрыть сущность жизненных явлений, положенных в основу романа, что в конечном итоге привело к тому, что Антонович исказил идейный смысл и содержание «Отцов и детей». Критик не увидел в романе Тургенева классового размежевания между демократом Базаровым и либералами, разделил героев по возрастному принципу на «отцов» и «детей», а Базарова назвал жалкой карикатурой на передовую молодежь.

Среди сотрудников-разночинцев «Современника» Антонович — фигура довольно типическая. Как и многие из них, он был выходцем из духовного сословия (родился в 1835 году), рано остался без родителей. Первоначальное образование получил в Ахтырском духовном училище, а затем окончил Харьковскую семинарию.

Мировоззрение Антоновича складывалось под сильнейшим воздействием русской литературы. Позднее он вспоминал о том, с каким восторгом читал произведения Пушкина, Гоголя и других русских писателей. Но в первую очередь формированием своих взглядов Антонович был обязан Белинскому.

Еще учась в семинарии, будущий критик стал серьезно интересоваться естественными науками и философскими проблемами. Однако систематическое занятие науками началось позднее, в С.-Петербургской духовной академии, куда он поступил в 1855 году. Именно здесь Антонович впервые познакомился с работами Чернышевского и Добролюбова, под влиянием которых и сложилось его материалистическое мировоззрение и созрело решение отказаться от духовной карьеры.

Еще будучи студентом академии, Антонович написал большую статью и отнес ее в «Современник». Добролюбов статью не принял, но его заинтересовал молодой автор, и он предложил ему продолжать писать. Знакомство с Добролюбовым сыграло решающую роль в дальнейшей судьбе Антоновича. Добролюбов «вел со мною длинные разговоры о всевозможных предметах и теоретических

и практических и на темы из самых разнообразных областей знаний и жизни»,— вспоминал позднее критик.

После окончания академии Антонович стал сотрудничать в «Современнике» и вскоре близко познакомился с Чернышевским. Много лет спустя он писал: «Через несколько месяцев после первой встречи с Н. Г. я коротко сблизился с ним и стал для него своим человеком: он удостаивал меня своей откровенностью и запросто поверял мне свои задушевные мысли и чувства».

Начиная с 1862 года за деятельностью Антоновича внимательно следило III отделение. В одном из донесений о нем говорилось: «Литератор Антонович был всегда дружен с Чернышевским и часто посещал его...» Известно, что Антонович имел непосредственное отношение к деятельности подпольного общества «Земля и воля», был хорошо знаком со многими революционными деятелями 60-х годов.

После смерти Добролюбова по предложению Чернышевского Антонович возглавил литературно-критический отдел «Современника», а с 1863 года стал одним из членов редакции журнала.

Работа в «Современнике» — самый яркий и плодотворный период деятельности Антоновича как критика и публициста. Позднее он сотрудничал во многих журналах («Космос», «Слово», «Русская мысль», «Новое слово»), занимался переводами, а в 1881 году поступил на службу сначала в правление одной железной дороги, а потом в государственный банк.

В конце жизни Антонович написал серию мемуарных очерков о «Современнике» и его руководителях Чернышевском и Добролюбове. Умер он в 1918 году.

Литературный кризис

Здравствуйте, мои добрые, знакомые читатели! К великому моему удовольствию, мне опять приходится беседовать с вами; не знаю, как вы без меня, а я без вас очень соскучился. Много кое-чего собиралось у меня в голове,

и еще больше, может быть, накипело в сердце; и как бы мне хотелось поделиться с вами моими мыслями и поверить вам мои чувства. Очень нерадостны эти мысли и невеселы эти чувства; но мне хотелось бы высказать их не столько для вас, сколько для себя самого, для облегчения той тяжести, которая давит меня, того гнета досады и неудовольствия, унизительного отчаяния и дерзких надежд, который я испытываю и который, вероятно, приходится испытывать почти каждому читателю; потому что предметы и явления, вызвавшие во мне указанные чувства, наверное занимают каждого и близко касаются всех нас. Читатель, надеюсь, простит мне эту эгоистическую сентиментальность, а я постараюсь по возможности забыть о себе и о своих чувствах и заняться предметами чисто объективными. Пусть отходят в сторону невеселые и безотрадные чувства и пусть испытующая и разъясняющая мысль занимается явлениями, вызывающими эти чувства; по крайней мере силою мысли нужно побеждать эти явления, если их нельзя победить другим образом, а торжество мысли рано или поздно поведет к торжеству самого дела.

Итак, я снова вступаю в храм литературы, или, говоря проще, выхожу на базар литературной суеты; безотрадным холодом повеяло на меня в этом храме, и чувство одиночества я ощутил среди литературного базара. Ищу глазами прежних знакомых и друзей и почти никого из них не вижу, и сердце мое болезненно сжимается; раздумываю, к кому пристать и куда приютиться,— ведь нельзя же толкаться на литературных распутьях и бродить, подобно многим, из стороны в сторону. Прежнее место, сказали некоторые добрые люди, уже занято другими, будто бы подверглось преобразованиям, наполнилось другим духом, изменило свои намерения и стремления и вследствие этого запаслось новыми орудиями и средствами; однако добрые люди сказали неправду: изменения, о которых они говорили, оказались чистейшей выдумкой их фантазии; место осталось незанятым, неприкосновенным, чистым и неизмененным; чистота его не была оскорблена даже мыслью о каких-нибудь податливых преобразованиях и видоизменениях средств и орудий деятельности. Действительно, только при этих условиях и возможно было стать на прежнее место, не роняя своего достоинства; в противном случае следовало бы отказаться от него, как бы ни сильна была установившаяся привычка и привязанность к нему. Утвердившись на старом наблюдательном посте и приютившись на преж-

нем месте, я могу теперь легко и беспрепятственно окинуть взором весь литературный базар. Есть предание, что когда-то несколько человек чудесным образом проспали лет двести, и, проснувшись, не могли опомниться от изумления при виде той новой для них картины, какую представлял их родной город и его общество; такое же почти впечатление испытал и я, после непродолжительного отсутствия снова явившись на литературный базар. В самом деле, как он изменился в такое короткое время — точно Апраксин двор[1] и толкучий рынок после пожара. Явилось на нем множество новых лавочек и магазинов, в которых предлагаются читателям умственные сокровища, но только совершенно не похожие на те, которыми прежде гордилась литература. Остались и старые магазины с прежними фирмами и вывесками, но содержание их изменилось, как сознаются сами хозяева; прежде, бывало, они старались привлечь к себе публику заявлениями и уверениями, что умственные товары, предлагаемые ими, составляют новейшее произведение, сделаны по последней моде, с целью изгнать из употребления и заменить товары старого производства; теперь же, напротив, они с гордостью говорят, что товары у них старые, испытанные, отлежавшиеся, убеждают публику не увлекаться модой, не обращать внимания на новейшие произведения и предупреждают ее насчет невыгоды и даже опасности их употребления. Некоторые литературные торговцы и распространители умственных сокровищ в раздумье повесили головы и не знают, что им делать, идти ли прежним путем или тоже смириться, оставить затейливые притязания на новизну и моду и запастись товарами испытанными и подержанными. Другие, более искусные, запаслись патентами и привилегиями, добыли себе исключительное право продавать товары, прежде не существовавшие на литературном базаре, которых и теперь нельзя достать ни у кого, кроме этих ловких привилегированных торговцев[2]. Наконец, мелкие литературные торгаши, не понимая общих изменений в ходе торговли, по-прежнему разносят тряпье и разные клочки, не думая о том, кому и для чего они нужны.

В самом деле, литература наша пережила или переживает какой-то кризис; с нею приключилось что-то, болезнь, что ли, какая, вследствие которой она переменилась и исхудала, стала незлобивее и кротче. Недавно еще казалось, будто все органы литературы проникнуты одним духом

и одушевлены одинаковыми стремлениями; все они, по-видимому, согласно шли к одной цели и преследовали одинаковые интересы. Были, конечно, между ними разногласия и споры, существовала даже, пожалуй, вражда; но это были домашние споры и домашняя вражда между своими, частные несогласия между членами одной семьи, между разными частями одного и того же лагеря. Были пункты, в которых сходились все литературные органы; на этих пунктах они, казалось, забывали междоусобную вражду, прекращали домашние споры и дружно стояли за общее дело, отражая нападения внешних общих врагов; при этом даже литературные пигмеи храбрились и говорили с заносчивостью и смелостью чисто исполинскою. Были явления, на которые нападала согласно вся литература, и были другие явления, которым с не меньшим согласием рукоплескали все органы литературы; и все это, по-видимому, выходило из одной общей идеи, из одного чувства, одушевлявшего всех писавших. Обличениям, бичеваниям, преследованиям неправд не было конца, без света и гласности литература и шагу не могла ступить, жить без них не могла, как рыба без воды. Зайдет, бывало, речь о прогрессе, о движении вперед, о тормозах, задерживающих это движение,— и вся литература стройным хором затянет, хоть и на разные лады, но одну и ту же песню, и только одна газета Греча [3], наследие Булгарина [4], составляла диссонанс в этом хоре; но потом и она переродилась и пошла вслед за другими... [5] Людей отсталых и консерваторов литература преследовала с удивительным единодушием, указывала на них публике как на зачумленных, которых нужно обегать; консерватизм и отсталость были бранными словами в ее лексиконе. Каждый пишущий скорее согласился бы отсечь свою руку, чем позволить ей написать что-либо не прогрессивное, скорее вырвал бы у себя язык, чем сказал что-нибудь не в либеральном духе. Если бы явился в то время какой-нибудь консервативный или отсталый литературный орган, остальная литература заела бы и уничтожила его; он не нашел бы для себя ни одного сотрудника; не только какой-нибудь знаменитый и известный, но даже самый последний, безвестный литератор не захотел бы ронять своего достоинства участием в таком органе. Вся литература отличалась неслыханным бескорыстием, самою недоступною неподкупностью, упорною самостоятельностью и независимостью; не было ни одного литературного явления,

ни одного факта, которые бы не соответствовали или противоречили этим высоким качествам; даже никто не верил в возможность подобных явлений и фактов; одна мысль об них привела бы в то время в ужас и омерзение всякого умевшего писать. Отсутствие этих явлений было действительно высоким преимуществом, которым могла гордиться русская литература даже перед западными, более развитыми литературами, где подобные явления встречаются нередко, где они вошли как бы в обыкновение и не считаются предосудительными. ⟨...⟩ Да, славное время было когда-то! В литературе раздавались, по-видимому, энергичные голоса, старавшиеся нарушить покой тупого самодовольства, расшевелить апатию и разогнать лень; везде слышался призыв к самоотверженной деятельности на пользу общего дела и для блага любезного отечества. Публику бесконечно радовало такое состояние литературы и приводило в восторг это согласное, нигде не виданное литературное шествие к одной цели, этот дружный, почти фанатический крестовый поход против всего, что враждебно литературе и обществу и что мешает их развитию. Поистине, то был золотой век нашей литературы, период ее невинности и блаженства!

Теперь же, особенно в последнее время, в нашей литературе наступил век железный и даже глиняный; пора ее невинности и безукоризненной нравственной чистоты миновалась; единство в целях и единодушие в стремлениях исчезло; возникли несогласия относительно того самого пункта, который прежде соединял всех. Вражда вышла за пределы литературного домашнего круга; один литературный орган старается подставить ногу другому и вырыть яму на том пути, который лежит вне области литературы; сделаны были литературные нападения на те предметы, которые по условиям нашей литературы не должны бы были подлежать литературной критике и которых она не могла касаться, не изменяя своему нравственному достоинству. Пожалуй, и теперь в значительной части литературы заметно согласное шествие, но только оно уклонилось уже от своего первоначального направления и постепенно свертывает в сторону; кажется, как будто какой-то неблагоприятный ветер и противное течение относят литературу от того обетованного берега, к которому она направлялась прежде, и она не обнаруживает ни малейшего желания, ни малейшего усилия противиться ветру и течению и пассивное движение изменить в активное. Обли-

чения и бичевания раздаются реже и реже и в последнее время почти совсем замолкли; литературные судьи умерили свои требования, понизили свои идеалы и ограничиваются самыми скромными желаниями. Обличительное направление сменяется защитительным; в литературных исполинах и пигмеях заметен большой упадок храбрости; многие из самых рьяных обличителей постепенно и незаметно превратились в адвокатов того, на что направлены были прежде их обличения. Главные борцы, прежде сражавшиеся за литературный простор, находят теперь, что литература слишком распущена, ведет себя распущенно и обжирается разными либеральными сластями и что поэтому ее нужно остепенить, обуздать и отрезвить, посадив ее на скудную отшельническую пищу. О благодетельной гласности и помину нет; начинает, кажется, устанавливаться убеждение, что и без гласности хорошо. Литература потеряла свое преимущество перед «деловым человеком», и она, подобно ему и с его видами, научилась подпускать экивоки.⟨...⟩ Прогресс уже не имеет обаятельного действия и потерял прежнюю неодолимую прелесть; литераторы, знаменитые в прежнее время, с честью служат антипрогрессивным началам, и, кажется, если б явились сотни литературных органов с какими угодно ультраконсервативными и ультраотсталыми направлениями, все они нашли бы для себя сколько угодно самых заслуженных деятелей, только бы поставили на вид какие-нибудь приманки и побуждения. Ибо высокие качества, которыми наша литература могла гордиться перед западной, начинают тускнеть и уступать место противоположным качествам. Восторженных призывов к общеполезной, патриотической деятельности не слышно более; сама литература старается убаюкивать тупоумное самодовольство, забавлять себя и других пустыми побрякушками. Замечая в среде совершающихся событий появление какой-нибудь ничтожной безвредной букашки, она делает из нее слона, смотрит на нее с умилением и восторгом, доходящим до совершенного ослепления; она обращает внимание только на праздничную, выставляющуюся напоказ сторону жизни, любуется ее мишурным блеском и фальшивыми прикрасами и не знает или намеренно не хочет знать и скрывает от других горькую жизненную драму и раздирающуюся трагедию, которые совершаются за кулисами наружной жизни. Поэтому восторг литературы не имеет ни малейшего смысла,

кажется в высшей степени комическим и жалким; своею восторженностью она обманывает себя и вводит в обольщение других; радостно успокаиваясь на настоящем, она поддерживает апатию и без того уже апатического общества; преувеличивая значение достигнутого, она расслабляет и останавливает энергические стремления к будущему и с близорукою непроницательностью указывает предел этим стремлениям в ограниченном и тесном пространстве настоящего. Все сказанное доселе относится не ко всей литературе абсолютно; есть в ней и исключения, не подходящие под высказанные общие положения,— это только в Содоме не могло найтись и десятка порядочных людей; поэтому кто найдет обидными для себя описанные выше качества литературы, тот пусть относит себя к исключениям.

Таковы общие и главные черты перемены, последовавшей в нашей литературе. Если эта перемена и покажется кому-нибудь преувеличенной и невероятной, то только оттого, что здесь собраны вместе и сгруппированы в тесную картину черты и явления, разбросанные на обширном пространстве литературы и обнаруживавшиеся в разных углах и не в одно время. Кто же имел возможность следить, хоть и не пристально, за значительной частью литературы и сопоставлять разнородные и разновременные факты ее, тому эта перемена не покажется невероятной; может быть, он и сам ее заметил. Наконец, кто желает представить себе эту перемену наглядно, в конкрете, так сказать, в олицетворении, тому следует только вспомнить радостные и восторженные песни, которые распевал «Русский вестник» на светлом празднике нашей литературной весны и сравнить их с теперешними его мрачными и злобными речами, похожими на завывание осенней бури и обозначающими наступление литературной осени. Но многим, быть может, эта перемена в литературе покажется слишком резкой и неожиданной, каким-то внезапным переломом и скачком. Действительно, на первый взгляд может представиться, что в литературе совершилось нечто необыкновенное и непредвиденное, реформа в обратном смысле и решительный разрыв с прежним; можно подумать, что самая перемена есть не что иное, как следствие того естественного закона, по которому за усиленным напряжением следует ослабление и сильный удар в одну сторону сопровождается отражением в другую, противоположную. На этом основании изменение в направлении литературы можно было бы объяснить тем, что она дошла до крайности, до последнего

предела в одном направлении и поэтому естественно должна была избрать другое, что она истощила все свои силы в высоких стремлениях и чувствует потребность в отдохновении, вследствие чего она охладела к прежним стремлениям и не обнаруживает прежней энергии. Все такие объяснения, верные во многих случаях, неприменимы, однако, к той литературной перемене, о которой речь идет. Все, что представляет литература в настоящее время, есть продолжение того, что существовало в ней прежде; перемены не последовало никакой; кажущаяся перемена есть не что иное, как развитие и полнейшее раскрытие того, что прежде было только в зародыше; настоящие литературные явления — это ствол и ветви того корня, который незаметно существовал и прежде; метаморфоза литературная не походит на превращение вола в лягушку, а на развитие лягушки из головастика. Говорят, зародыши всех млекопитающих в первые моменты их развития бывают сходны между собою, так что в это время трудно узнать, что выйдет из зародыша; в первоначальной зародышной форме осел походит на льва, свинья на собаку и т. д. Нечто подобное было и во время зарождения нашей современной литературы; все литературные направления и стремления существовали в зародышном, безразличном состоянии; трудно было заметить разницу между ними, которая, быть может, и для них сама была незаметна, и нелегко было определить, какие определенные формы разовьются из них, нормальные или уродливые. Существовал какой-то хаос и столпотворение вавилонское; блестящие фразы и прекрасные слова лились рекой; все рассуждения ограничивались общими местами и бессодержательными мыслями, поэтому и трудно было разобрать, где высказывается искреннее убеждение и где щеголяет пустота, прикрывающаяся благовидной маской. Дело шло только о словах и словоизвержениях, поэтому никто не скупился и на самые бойкие и смелые выражения; слова не взвешивались, за них не требовалось ответа и отчета, сопровождавшегося практическими неудобствами, поэтому и произносились самые сильные и пикантные слова. Это и придавало литературе кажущийся однообразный блестящий характер и заставляло думать, что в ней существует полное согласие в благородных целях и высоких стремлениях. Но потом, когда общие места оказались недостаточными, когда потребовалось хоть и не самое дело, но все-таки прямое и определенное суждение о нем, когда слова нужно было взвешивать и давать ответ за них, когда

представились пробные случаи, о которых нужно было судить решительно, сказать *да* или *нет*, и такое или другое суждение уже окончательно должно было обрисовать каждое направление и поставить его одесную или ощуюю *,— тогда-то пустота, прикрывавшаяся благовидным покровом, явилась в полной наготе; обнаружились замешательства и опасения проговориться в чем-нибудь; вместо бойких речей потекли чересчур благоразумные рассуждения и резонерство; высокие стремления остались в стороне〈...〉, а наконец и прямо стало высказываться то, что прежде тщательно пряталось в самом далеком уголке сердца. Это обнаружение и осуществление в действительности того, что было скрыто и заключалось в возможности, и кажется нам переменой; к этой перемене, стало быть, можно вполне применить знаменитую фразу г. Самарина [6]: оставаясь в том же виде, литература изменилась в самом принципе своем, хотя на самом деле изменения в ней никакого нет. Такое происхождение современных литературных разновидностей из одного прежнего корня также можно указать на конкретном примере. В утробе «Русского вестника» лежали многие зародыши; из них вышли птенцы, долго остававшиеся в родительском гнезде; и наконец птенцы разлетелись и образовали свои особые гнезда. Из доброго корня «Русского вестника» сначала выросли два отпрыска, «Атеней» [7] и «Русская речь» [8], безвременно увядшие; из него же вышла и ныне существующая роскошная и цветущая ветвь, на которой произрастают гг. Н. Павлов [9], Чичерин [10] и Ржевский [11]; тот же корень дал и отдельные побеги в виде гг. Громеки [12] и Скарятина [13].

Что изложенный взгляд на совершившуюся перемену в литературе верен, это доказывается уже тем, что люди проницательные и прежде не обольщались видимой блестящей стороной литературы, не верили в действительность и искренность высказывавшихся в ней благородных стремлений, смелых порывов и бескорыстного самоотвержения; за блестящими фразами они умели разглядеть ограниченность и мелочность, понимали, что литература лицемерит, что все ее независимые и высокие порывы осядутся при первом удобном случае, при первом испытании. Вследствие этого они смело и с самоуверенностью издевались над восторженностью литературы, над ее эффектными стремлениями к свету и гласности и над ее мнимою готовностью на всякого рода подвиги для общего

* Справа или слева.

блага. Вспомните того демона, который на все возвышенное в литературе клал клейма пошлости, Громекой не был увлечен, не верил экономистам, не оценил Розенгейма[14], одним словом,

Весь наш прогресс, всю нашу гласность,
Гром обличительных статей,
И публицистов наших страстность,
И даже самый «Атеней» —
Все жертвой грубого глумленья
Соделал желчный этот бес,
Бес отрицанья, бес сомненья,
Бес, отвергающий прогресс[15].

Тогда эти насмешки действительно многим казались неосновательным глумленьем, в них видели пустой скептицизм как следствие неверия во все возвышенное, и неблагородное желание охладить благороднейшие порывы. А теперь прочтите прежние, с адской силой написанные, статьи разных господ, сличите их с тем, что они говорили в недавнее время и говорят в настоящую минуту,— и вы почувствуете невольное уважение к памяти людей, которые глумились над этими статьями и у которых, стало быть, было верное чутье и инстинкт истины, угадывавший сразу фразистое лицемерие. Теперь для всех стало ясно, почему эти люди преследовали многих господ, возбуждавших в то время общий восторг, они тогда уже ясно видели, что это за господа и что выйдет из них при малейшей перемене обстоятельств; теперь все сознали, что глумление этих людей было следствием ясновидения и проницательности.

Таким образом, значит, общие и менее резкие черты той перемены, которая обнаружилась теперь, существовали в ней и прежде и были замечены людьми проницательными; значит, собственно говоря, и не было золотого периода в нашей литературе, невинного и блаженного ее состояния; вместе с золотом существовала и грязь, об руку с невинностью шла и виновность. Вся разница в том, что прежде эти противоположности были заметны менее, а теперь стали заметны более и что прежде видимый перевес склонялся в сторону одних противоположностей, а теперь склоняется на сторону других. Претендовать и сердиться за это на литературу нет никакого основания; ведь нельзя же требовать от нее идеального нравственного совершенства и ангельской непорочности. Литература, как обыкновенно говорят, есть отражение общества; если

общество страдает известными недугами, то оно не должно осуждать и литературу за эти недуги. В литературе действуют такие же личности, из каких состоит все общество; литературные деятели не суть какие-нибудь избранные идеальные существа, они такие же люди, как и все смертные, и ничто человеческое им не чуждо. Поэтому каждый может судить о литературе по себе, по своим знакомым, по целому обществу. Кто выработал для себя известные убеждения, определил известные нравственные правила и следует им неуклонно во всех случаях, кто никогда не поддавался своекорыстным расчетам и по требованию внешних выгод и обстоятельств не изменял своему достоинству, не унижался до угодливости и заискивания, тот может и должен надеяться, что подобные качества он встретит и в области литературы. Кто же, напротив, не имеет никаких правил и убеждений, кто бесчувствен ко всякого рода высшим интересам ⟨...⟩, кто по робости или апатии терпеливо переносит оскорбления своего достоинства, тот должен быть уверен, что и литература представит ему явления в таком же роде, управляемые такими же побуждениями. Зачем же эти явления суются в литературу, вы скажете, зачем они так гордо выступают, показывая вид, будто ими руководит желание поучать и просвещать, и скрывая свои настоящие желания? Конечно, так; это очень худо; но что ж с этим делать? Между обществом и литературой существует круговая порука и взаимная поддержка; различные нравственные настроения в обществе обусловливают собою различные направления в литературе. ⟨...⟩

Несомненно, таким образом, что литературная перемена есть только развитие свойств, принадлежавших литературе с самого начала ее возрождения. Такое понятие о перемене устраняет вопрос о ее причине. Когда зрячий сделается слепым, тогда есть возможность найти непосредственную причину такой перемены; но когда мальчик вырастет и сделается юношей, тогда мы видим в этой перемене просто выражение закона развития организмов, зависящего от многих сложных причин; тут уже вопрос о развитии одного индивидуума исчезает, и является общий вопрос о развитии организмов и о развитии вообще. И в нашей литературе в последнее время обнаружились не какие-нибудь случайные явления, а просто развились естественным образом те качества, которые лежали в ее натуре. ⟨...⟩

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

1826—1889

Это огромный писатель.

М. Горький

В начале 1840-х годов в литературном салоне друга Белинского М. А. Языкова часто можно было встретить молчаливого молодого человека в форме воспитанника Царскосельского лицея, угрюмо глядевшего на всех большими серыми глазами. Он обычно садился в соседней комнате и внимательно прислушивался к разговорам, которые вели между собой гости хозяина. Его лицо светлело только тогда, когда начинал говорить Белинский. Немногие из бывавших у Языкова знали, что зовут этого молодого человека Михаил Евграфович Салтыков, что он пишет стихи и даже печатается. Но поэтом Салтыков не стал, а в конце 40-х годов опубликовал в журнале «Отечественные записки» одну за другой две повести «Противоречия» и «Запутанное дело». Причем повесть «Запутанное дело» он намеревался напечатать в «Современнике». Однако Панаев посоветовал ему обратиться в другой журнал, так как, по его словам, «цензура в «Современнике» такую повесть не только запретит, но еще и гвалт поднимет». И действительно, повесть наделала много шуму, и за ее публикацию Салтыков (он служил тогда в военном министерстве) был сослан в Вятку, откуда вернулся только в 1856 году.

Этот год стал переломным в литературной судьбе писателя — на страницах журнала «Русский вестник» начали печататься знаменитые «Губернские очерки», подписанные новым, незнакомым читающей публике именем — Н. Щедрин. Это было произведение, в котором Салтыков нарисовал широкую русскую действительность, проникнутую любовью к простому трудовому народу и ненавистью к его угнетателям.

«Губернские очерки» определили характер дальнейшей деятельности Салтыкова как писателя-сатирика. Большое влияние на формирование взглядов Салтыкова оказал Чернышевский. Близко знавший писателя врач Н. А. Бе-

логоловый писал: «Салтыков не отрицал, что... он многим обязан своим развитием Чернышевскому». Но еще раньше на становление мировоззрения писателя большое влияние оказали статьи Белинского и участие в кружке М. В. Петрашевского, в котором обсуждались идеи утопического социализма, велись жаркие споры по политическим и нравственным проблемам. «От этих бесед,— вспоминал Салтыков,— новая жизнь проносилась над душою, новые чувства охватывали сердце, новая кровь сладко закипала в жилах».

В начале 60-х годов Салтыков начал сотрудничать в «Современнике», а после смерти Добролюбова и ареста Чернышевского вошел в состав редакции журнала. Помимо художественных произведений, многие из которых позднее были объединены писателем в две книги — «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе», Салтыков напечатал в «Современнике» большое количество публицистических произведений, в том числе хроникальные обозрения «Наша общественная жизнь», в которых затронул многие важные вопросы современной действительности. Их идейную направленность довольно точно определил И. А. Гончаров, бывший в то время цензором, который, в частности, отмечал, что это произведения замечательные «по запутанности» и «темноте», «проистекающей из желания автора сказать больше, чем дозволяет цензура». По словам Гончарова, Салтыков «перебирает явления общественной жизни желчно, местами злобно, всегда оригинальным языком и вообще с замечательным талантом. На литераторов, журналистов, на их старые идеи, особенно на вражду к новому, он нападает открыто, также на предрассудки, застой, порчу общества и т. п. Там же, где он проводит свой взгляд вообще на современный порядок вещей, свои идеи, он впадает в темноту... и делается совершенно непонятен».

Но демократически настроенный читатель хорошо понимал, что хотел сказать Салтыков, умел за иносказаниями, намеками (которые Гончаров называл «темнотой») раскрыть истинный смысл взглядов и суждений писателя. Жестокие цензурные условия заставляли сатирика прибегать к «эзопову языку», языку умолчаний, скрытой иронии, глубокого подтекста, помогающему маскировать свои мысли. К подобной манере письма русский читатель был уже приучен. Он отлично разбирался в том, о чем хотел сказать писатель. Недаром знаменитый русский

математик С. В. Ковалевская писала о Салтыкове: «Поразительно как умеют читать между строк в России! Нечто вроде незримого единения и таинственного понимания установилось между публикою и любимым автором».

Иносказательная манера письма, сознательное умолчание, фантастика, гипербола, гротеск, своеобразный синтез художественности и публицистичности становятся характерными чертами творческой манеры писателя. Эта манера была свойственна как художественным, так и публицистическим произведениям великого сатирика. Ей он не изменял до конца своей жизни.

Сатира Салтыкова в духовной жизни русского общества выполняла очищающую роль. Ее острие было направлено против социального зла и реакции, против самодержавного государства и его институтов, против соглашательства и предательства либералов. Один из современников писал: «От него не уходит ни одна общественная гадина, которой он не послал бы вслед хорошего пинка или ядовитого удара сатирическим бичом». Недаром Салтыкова называли «прокурором» русской жизни, «безжалостным сатириком, наводившим ужас своим убийственным пером...».

Салтыков видел жизнь во всей ее сложности и неприглядности, говорил о ней сурово и трезво, никогда не скрывая своего отрицательного отношения к безобразиям русской действительности. «Неизменным предметом моей литературной деятельности был протест против произвола, двоедушия, хищничества, предательства, пустословия и т. п.»,— писал Салтыков.

Но помимо этого в его произведениях всегда звучала глубокая боль и чувство сострадания ко всем несчастным, поруганным и угнетенным. Для всех произведений Салтыкова характерно жгучее чувство современности. Они являются своего рода социальными исследованиями современной писателю действительности. Сатирик был беспощаден ко всему, что мешало жить и свободно дышать. Но при всем сарказме и негативном отношении к русской действительности, Салтыков никогда не терял веры в торжество социальной справедливости. «Я убежден,— писал он,— что честные люди не только пребудут честными, но и победят и что на стороне человеконенавистничества останутся лишь люди, вконец раздавленные личными интересами»

Салтыков всегда говорил то, что думал, с беспощадной прямотой судил о людях и не стеснялся говорить

им в глаза даже то, что обычно не принято высказывать открыто. Это создавало ему репутацию человека резкого и грубого. Да и сам Салтыков признавался, что у него «трудный», «тяжелый» характер, и называл себя «диким человеком», «мужиком».

Внешний вид Салтыкова, его суровое и всегда хмурое лицо, угрюмый взгляд больших серых неподвижных глаз, грубый голос, манера держаться — все это иной раз отпугивало от него людей и отнюдь не располагало к сближению. Но под внешней «свирепостью» и грубостью скрывалось доброе сердце, отзывчивость и даже деликатность. Критик и публицист Н. К. Михайловский, много лет бок о бок проработавший с Салтыковым в журнале «Отечественные записки», рассказывал: «Иногда это суровое лицо освещалось такою почти детски добродушною улыбкой, что даже люди, мало знавшие Щедрина, но попадавшие под свет этой улыбки, понимали, какая наивная и добрая душа кроется под его угрюмой внешностью».

Салтыков всегда был готов прийти на помощь нуждающимся, с трогательной заботой относился к начинающим и терпящим нужду молодым литераторам, живо откликался на любое проявление доброты и внимания. И больше всего он ценил в людях доброту. В одном из писем к Белоголовому Салтыков признавался: «Я на Вас убедился, что на свете не перевелись еще добрые люди и что это хорошо. Я сам в этом отношении несколько попорчен; очень подла уж была среда, в которой я провел большую часть своей жизни, и порядком-таки она меня раздражала, но во всяком случае человеческая доброта в моих глазах есть предмет достойный величайшего уважения».

О чем бы ни писал Салтыков, его никогда не покидала мысль о родине. «Я люблю Россию до боли сердечной,— писал он,— и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России...»

«Самым умным писателем той эпохи и одним из умнейших во всей мировой литературе» назвал великого сатирика А. В. Луначарский.

Тяжело больной Салтыков до последнего дня не выпускал из рук пера. Служение русской литературе он считал делом всей своей жизни и, умирая, завещал своему сыну: «Паче всего люби русскую литературу и звание литератора предпочитай всякому другому».

Наша общественная жизнь

(X. Март 1864 года)

На свете не всё же мальчишки; не всё жулики и демократы. Рядом с тем молодым поколением, против которого ратуют московские публицисты, растет другое, на котором с доверчивостью и любовью могут отдохнуть взоры их. И если бы И. С. Тургенев попристальнее следил за нашею современностью, то, нет сомнения, что от наблюдательного взора его не ускользнуло бы это новое явление русской жизни. Это тем более вероятно, что уже в изображении молодого Кирсанова он обнаружил некоторые признаки знакомства с ним.

Это особенное молодое поколение, не имеющее ничего общего с так называемыми жуликами, я назову «мальчиками».

Хотя «мальчики» не со вчерашнего дня завелись на Руси, однако я имею полное основание называть их явлением новым. Нов не факт собственно, ново его положение, нова та роль, которою он завладел среди общего жизненного круговорота. И вчера были «мальчики», но вчера их гладили по головке, их называли умниками, им обещали ляльки; сегодня — *они* гладят по головке, *они* называют умниками, *они* обещают ляльки. Роли за ночь переменились. Старые драбанты[1] расшаркиваются, старые драбанты слоняются по передним, вздыхают и потеют в интимных беседах с лакеями и сторожами; старые драбанты вопиют умиленными голосами и ходатайствуют... Молодые драбанты возлежат, задравши ноги на стол; молодые драбанты снисходительно выслушивают, поощряют и обещают... Молодой драбант улыбнется — у старого сердце засмеется от умиления; молодой драбант учинит невежество — старый драбант допытывается, отчего окрестность заблагоухала розами; молодой драбант наморщит брови — у старого насквозь цепенеет желудок; молодой драбант протянет руку — старый уж ловит ее, ловит с энтузиазмом, но в то же время и с осторожностью, как будто он хочет сказать: «Я вне себя, но я не смею!» Разве это не ново? разве это бывало когда-нибудь видано?

Если б я был на месте московских публицистов [2], то взглянул бы на «мальчиков» — и утешился бы. Я позабыл бы о всех своих горестях: и о том, как, будучи учителем латинского языка, вынужден был трепетною рукой ставить полный балл мальчишке, который склонял mensa, mensis, mensorum, o mens'е, но зато провозглашал себя прогрессистом, и о том, как, будучи учителем российской словесности, я должен был воздержаться от телесного наказания даже тогда, когда некий кадет на публичном экзамене, вместо того чтоб отвечать на билет, во всеуслышание гаркнул: «Величайший из критиков новейшего времени, Кроличков...» Повторяю: я все забыл бы, потому что далеко не все пропало. Я взглянул бы на «мальчиков» и увидел бы в них именно тот прочный залог нетороплививого преуспенья, о котором тоскуют их публицистские души.

Я рассуждал бы так: «Старых драбантов жалеть нечего, ибо они в течение всей своей многовислой жизни ничего, кроме яичницы, сотворить не сумели». И не то чтобы яичница была противна моей публицистской душе, но досадно и горько, что, сотворивши яичницу, старые драбанты не умели ее отстоять. Между тем у молодых драбантов руки молодые и проворные; этими руками они успевают не только отстоять какую угодно яичницу, но даже сумеют отыскать в ней какой угодно принцип.

Ввиду такого результата, я пошел бы даже дальше на пути самоутешения: быть может, я простил бы даже «мальчишкам»...

Но увы! я не московский публицист и потому не имею достаточных поводов для заявления «мальчикам» о своем сочувствии. Признаюсь, во мне нет даже той прозорливости, которая необходима для того, чтобы усматривать в них будущих великих общественных деятелей. По правде сказать, я просто думаю, что это мразь.〈...〉

Говоря о «мальчиках», я буду вынужден нередко прибегать к выражениям, вроде «благонравие», «благонамеренность», «готовность», «почтительность» и пр. и пр. Прошу читателя знать наперед, что все эти выражения я буду употреблять отнюдь не в собственном их смысле, а в ироническом. Предупреждаю об этом в том внимании, что такое предупреждение должно избавить меня от разных неполезных недоразумений и в то же время дать речи моей тот характер, который она действительно имеет.

Мне ставили в вину, будто я преследую слово «благо-

намеренность» (и притом совершенно безвинно) и даже будто бы имею тайное намерение изгнать из людской памяти самое понятие, которое в этом слове заключается. Это клевета. Я, собственно, не имею ничего против этого почтенного выражения и преследую лишь иезуитизм, который им прикрывается. Вообще, на мой вкус, ни один лексикон не представляет никакого выражения, которое можно было бы назвать неприличным, но человеческая злоба так велика, что нередко прибегает к самым почтенным словам для изъяснения понятий совершенно неприличных. Отсюда тьма-тьмущая преднамеренных извращений, искажений, которые ни под каким видом терпимы быть не могут. Конечно, такие извращения допускаются вовсе не из вражды к слову, но с целями более дальновидными и хитрыми. Бывают странные примеры в истории: иной человек до того себя отрекомендует, что и сам наконец начинает секретно сознаваться, что не было бы решительно никакой несправедливости, если бы за его деяния кто-нибудь пришиб его. 〈...〉 Но открыто выразить это он не хочет, во-первых, потому что скромен, а во-вторых, потому что умирать никогда не поздно. Он решается жить, но в то же время очень хорошо сознает, что жить в том виде, как он есть, совсем невозможно, потому что никакой, даже самый простодушный человек не имеет ни малейшей охоты служить общей ходячей лоханью. Нужно, стало быть, добыть себе маску, нужно прикрыть себя такою бронею, которая представляла бы некоторый decorum *, держала бы в решпекте слишком любознательные и развязные руки и представляла бы защиту от заушений. Вот эту-то неловкую броню и представляют те самые слова и выражения, о которых мы с вами ведем теперь речь, читатель. А так как это броня все 〈же〉 фальшивая, и люди, добивающиеся ее, могут постепенно весь наш академический словарь перепортить, то мудрено ли, что я, как издавна одержимый любовью к отечественной словесности, преследую подобные поползновения и стараюсь возвратить словам настоящий их смысл?

Но для того чтобы ближе познакомить читателя с «мальчиком», я попытаюсь начертать здесь примерную биографию одного из них. Назову моего героя хоть Чубиковым [3].

Вася Чубиков, которого вы нынче видите распростра-

---

* Благопристойный вид (*франц.*).

няющим из себя во все стороны свет, когда-то был маленьким. В то время, когда он родился, в природе не происходило ничего величественного: солнце не померкло от стыда, звезды не падали как листья от жалости, и завеса не разодралась от негодования [4]. Тем не менее так как родины были легкие и быстрые, то родители заключили, что мальчик будет легко и быстро происходить в жизни. И действительно, как только родился маленький Вася, как тотчас же попросил ляльки, а так как вместо ляльки ему с двух сторон закатили изрядную дозу ромашки, то он заревел благим матом и обнаружил при этом ту голосистость, которую обнаруживают вообще младенцы, предназначенные природой совершить в жизни что-либо очень великое.

Родители у Васи были чистенькие и миленькие: papa служил и получил чины, maman занималась поддерживаньем родственных и других связей; сверх того, они имели и порядочные средства. Поэтому воспитание Васи было самое блестящее. Ничто огорчительное не поражало души его, и он рос в полном неведении, есть ли на свете иные рубашечки, кроме батистовых, и иные курточки, кроме бархатных... С самого раннего детства он не знал другого названия, кроме «mon bijou» и «mon petitcoeur»*; когда у maman бывали гости, его выводили напоказ, и он грациозно расшаркивался сперва одной ножкой, потом другой; гости гладили его за это по голове и говорили: генералы — «Э! да какой у вас воин растет», а штатские — «Посмотрите! ведь уж он и теперь дипломатом смотрит!» И, таким образом, Вася почти грудным ребенком уже получил весьма прочные начатки того пошлогласия, которому впоследствии с таким успехом посвятил целую свою жизнь.

И действительно, мудрено было не заразиться в этой атмосфере. Куда не оборотится Вася — пошлость так и кипит вокруг, так и выступает, словно пот обильный, из всех пор. При таком положении дела пошлость делается законом, становится правом, руководящею нитью жизни. Рано начал помышлять Вася о том, что хорошо бы сделаться «воином», но не худо бы, пожалуй, и «дипломатом» быть. Что такое «воин», что такое «дипломат» — он хорошенько не сознавал и в простосердечии своем мыслил, что это продолжение того же бархатно-курточного периода его жизни, в течение которого он был так счастлив. Любо-

---

* «Мое сокровище» и «мое сердечко» *(франц.)*.

знательности в ребенке было мало; а если и проявлялись по временам слабые ее признаки, то они очень скоро увядали благодаря глухой и безответной атмосфере, в которой он жил. Его никогда не интересовал вопрос, что это за конфета, которую он ест, откуда она и из чего сделана, что такое курточка, которую он носит, и что за образ, перед которым он каждое утро и каждый вечер повторяет заученные молитвы: он просто думал, что это какие-то первоначальные тела. Но этот недостаток здорового реального элемента в жизни с лихвою восполнялся обилием элемента мечтательного и иссушающего. Целые фантастические истории одна за другой слагались в воображении Васи, истории, в которых тщеславие и чванство были на первом плане, а галуны, побрякушки и всякого рода шитье играли роль орнаментов. И Вася уже серьезно начинал задумываться над тем, чем ему лучше быть, воином или дипломатом, когда вопрос этот, помимо его воли, был разрешен родителями.

Вася был мальчик хилый, и потому родители решили, что ему всего удобнее избрать дипломатическую карьеру. И вот, на тринадцатом году, он был отдан в какое-то очень милое заведение, имевшее специальностью выпускать из недр своих совершенно готовых общественных деятелей. И действительно, заведение имело свою историю, которая как нельзя более подтверждала такую репутацию; воспитанники его славились изящными манерами и безукоризненным знанием французского языка, так что про них говорили: «Это почти что пажи!», сверх того, заведение уже поставило благодарному отечеству несколько знаменитостей, на которых указывали пальцами, и всякому родителю было лестно сказать: «Вот и мой Сенечка будет такой же!» Одним словом, Васенька очутился здесь в той самой сфере, к которой он был, так сказать, предназначен самою природою и, бросив воинственные поползновения, окончательно посвятил себя дипломатии.

Учили в заведении плохо: всему понемногу, и притом такому «всему», после которого в самой благоустроенной юношеской голове могла оставаться только чепуха и белиберда. Было тут что-то похожее на законоведение, и на историю, и на математику, и на политическую экономию, и даже на философию, но все это преподавалось в таком благонравно-сокращенном и искаженном виде, что даже в глазах самих воспитанников это были совсем не науки, а только «предметы», в которых ежемесячно каждый

обязывается получить, по мере возможности, высший балл. Даже профессора были какие-то чудаки, которые как будто для того только и нанимались, чтобы в лицах показать воспитанникам, до какого прискорбия могут доходить люди, лишенные прекрасных манер. Зато в танцевальном классе дело шло самым успешном образом; профессор был человек ловкий, обладавший изящными манерами, и тем с большим успехом посвящал своих юных питомцев во все тонкости хореографического искусства, что эти последние, еще прежде поступления в заведение, были самым основательным образом по этой части подготовлены. Такие же точно утешительные результаты оказывались и по части нравственности.

Нравственностью отличались все вообще воспитанники заведения, но не в том смысле, в каком понимают это слово угрюмые моралисты, а нравственностью, так сказать, изящною. Главные признаки ее заключались в милой предупредительности, в почтительном выслушивании наставлений старших, в умении, по зову наставника, бесшумно и не торопясь перебежать в одно мгновение ока с одного конца залы на другой, в искусстве смотреть в глаза старшим доверчиво и прямо, но не дерзостно и т. д. Рядом с этим казенным кодексом, как необходимое к нему дополнение, развивался воспитанниками свой собственный нравственный и умственный кодекс, отличительными признаками которого служили: elégance, sentiments chevaleresques и cutte des dames*. Этот кодекс развивался по субботам и воскресеньям, когда воспитанников распускали по домам. Милые cochonneries **, изящно разыгрываемые на сцене Михайловского театра, с самых юных лет составляли исключительную умственную пищу питомца; воображение его возбуждалось самым неестественным образом, и притом не тем собственно, что видели его глаза и слышали уши, а, так сказать, *по поводу* слышанного и виденного. Такого рода возбуждения самые тлетворные и в то же время самые паскудные, ибо французские драматические cochonneries дают зрителю не действительность, которая, как бы ни была гнусна, все-таки ограничивает воображение, а только заставляют угадывать эту действительность, манят и дразнят воображение и вынуждают его совершать самобытные подвиги творчества. И точно, Вася уже в школе очень

---

* Элегантность, рыцарские чувства и культ дам *(франц.)*.
** Свинства *(франц.)*.

твердо знал, что у женщины есть такие милые подробности, которые, вместе с французским языком, делают ее существом в высшей степени шикарным.

Вася всем нравился, у всех успел заслужить. Он нравился старшим своею почтительностью, преданностью и откровенною доверчивостью взгляда. По-видимому, Вася никогда не огорчался, но всегда был весел и за все благодарил. Он хорошо понял, что в стенах заведения заключается зерно его будущности, и потому вполне сообразовался и с духом, в нем господствовавшим, и со всеми его требованиями. В то же время и дома он успевал исподволь обделывать свои дела; был ласков и любезен с родными, изысканно-предупредителен с покровителями и сильными мира, целовал руки у барынь, в особенности же у пожилых, и как-то робко, но в то же время и горячо нажимал при этом губами. По вечерам (в праздники) он не прочь был покутить с товарищами и за это получил от них название лихого малого. Одним словом, будучи семнадцати лет от роду (почти накануне своего выпуска из заведения), он уже всех пленил. Милые старушки, которые еще не решились сделаться старушками, просто млели при виде его, милые старички уже угадывали в нем будущую опору и, взирая на его вечно ясное лицо, говорили: quel charmant enfant!* Родители радовались и втихомолку проливали слезы.

Вася мечтал и что-то обдумывал. Перед умственным его оком расстилалась целая бесконечная карьера, усеянная богатством и почестями и обрамленная, в виде орнаментов, картишками паскудно-игривого содержания. Разумеется, что и мечтал-то он как-то рутинно, то есть представлял себе карьеру не в ином каком-нибудь виде, а именно в том, в каком таковая была сделана дядей Иваном или кузеном Simon; но разве оно и могло быть иначе при той рутинной обстановке, которая шаг за шагом преследовала его детство? Ум, рассудливость и пытливость были вычеркнуты в нем из наличности еще гораздо прежде вступления его в настоящую, заправскую жизнь; всем завладело, все полонило изворотливое, честолюбивое и похотливое воображение. И к удивлению, Вася не только ⟨не⟩ пострадал от такого неестественного, почти отрадного состояния своей головы, но сразу почувствовал себя как нельзя лучше. Должно думать, что голова эта была как раз у места на пле-

* Что за очаровательный ребенок! (*франц.*)

чах своего владельца, а сам владелец как раз у места в той сфере, где ему приходилось жить и производить фурор.

Наконец Вася оставил школу и, сопровождаемый изрядным чином и приличным напутствием от школьного начальства, оделся у Шармера и расчесал себе пробор на затылке. Наступил 1856 год, который, без сомнения, останется надолго памятным в истории нашего общественного развития. В воздухе пахло уничтожением крепостного права; дворяне и литература благородным манером толковали о каких-то новых экономических началах, о гласности и устности, о том, что государству нужны слуги молодые и бодрые, и о том, что Россия есть золотое дно. Начальство улыбалось и даже поощряло эти толки, ибо видело в них не что иное, как упражненьица на заданные темы. Оно само как-то расползлось и почувствовало себя снисходительным. «Что ж,— думалось им,— довольно-таки взаперти посидели, пускай и погуляют немножко». И действительно, началось гулянье великое, и продолжалось оно до тех пор, пока на смену улыбающемуся поколению не явилось поколение новое, уже не улыбающееся, не вооруженное «прицициями» и «мероприятиями», поколение, которое, отгулявши на скорую руку свое гулянье, в непродолжительном времени положило таковому конец.

Вася, как круглый невежда, ничего из всего этого не понял, кроме того только, что Россия есть золотое дно и что государству нужны люди молодые и бодрые, но этого скудного умственного материала было для него достаточно, чтоб пленить и приводить в восторг неприхотливых слушателей. Эту идею (вместе с другою — о необходимости уничтожения инспекторского департамента гражданского ведомства) он развивал везде: и в канцелярии, и у Дюссо, и в салонах. «Mon cher *,— говорил он,— как посмотришь да сообразишь *все это*, так ведь просто изумительно, какую наше старичье чушь наделало!» и, конечно, был бы первый весьма сконфужен, если бы кто-нибудь был настолько догадлив, чтоб спросить: а какую же такую чушь старичье наделало? Но тогда на этот счет было просто: вопросов никто не делал, все верили на слово и восклицательную форму считали лучшею и удобнейшею для выражения человеческих мыслей. Вася и это хорошо понял, и тем

* Мой дорогой *(франц.)*.

более не скупился на воздыхания и восклицания, что эти последние, как известно, никогда никому ничего не стоили. Напротив того, Васе они принесли даже положительную пользу, ибо при помощи их он успел себе составить репутацию юноши либерального и не чуждого «современных идей».

Одним словом, герой наш, с помощью способов весьма дешевых и незамысловатых, сумел пристроить себя в жизни довольно прочно. Он уже успел скомпоновать несколько проектов, из которых в одном был с замечательною ясностью разработан вопрос «о представлении частным лицам, в губернских и уездных городах обитающим, права открывать танцевальные и увеселительные заведения[5], испрашивая на то разрешения начальства; и хотя проекты эти были оставлены без последствий, однако на «перо» было обращено внимание. Замечено было, что Вася малый со смыслом, что перо у него бойкое, и даже идеи хоть не совсем удобные (как будто гнусные), но оригинальные. Очевидно, что Вася крепчал и мужал и что в голове его назревал некоторый злокачественный нарыв, из которого готова была развиться какая-то целая система. «Mon cher! Надо администрировать посредством увеселений — c'est le systéme autrichien et c'est le seul bon!»* — проповедовал он, граня тротуары по Невскому, и так как это была единственная сфера, в которой он чувствовал себя достаточно приготовленным, то и развивал свою идею научным образом и во всех подробностях. Сержи, Мишели, Леоны и Юшки слушали его и спрашивали, не предположено ли по его проекту каких-нибудь инспекторских мест по части административных увеселений.

Крестьянская реформа несколько осадила Васю и остудила его либеральные увлечения. При одном известии о том, что дело кончено, maman Чубикова мгновенно позеленела; papa говорил: «Бог милостив!» Сержи, Леоны, Мишели и Юшки подняли головы, насторожили уши и нюхали, чем пахнет, Вася задумался и начал размышлять о том, что эта за штука такая, от которой позеленела его maman. Перед умственным его оком один за другим сменялись все эти проекты увеселений, и ему в первый раз показалось, что он хватил уж чересчур, что он уж слишком большой прогрессист. Он кстати припомнил, что, кроме теории

---

* Это австрийская система, и это единственно хорошая система! *(франц.)*

увеселений, есть еще теория ежовых рукавиц, и принял ее к соображению.

С этих пор юную его грудь стал грызть некоторый червь. Ему было всего двадцать восемь лет, но он уже был на виду и мог дерзать высоко. Он начал развивать свою новую теорию и стал доказывать, что цикл либеральных увлечений уже совершился и что в дальнейшем ходе все зависит от того, как будет себя вести общество. Мысль эту он развивал исподволь и, так сказать, келейно, потому что опасение прослыть ретроградом все-таки еще заставляло его по временам трепетать. Но перед старцами он изливал свою душу со всей откровенностью и понравился им еще более. Наконец наступил 1862 год и окончательно развязал Васе язык.

1862 год совершил многое[6]: одним он дал крылья, у других таковые сшиб. Вася был из тех, у которых выросли крылья и вытянулся язык в целую версту. Уж и болтался же он в ту пору, эффектно освещенный заревом петербургских пожаров. Maman в это время еще больше позеленела, трясла головой и потихоньку шептала: «Quallons nous devenir!»*, но papa все еще говорил: «Бог милостив!» В первый раз Вася имел по этому поводу стычку с papa.

— Нет, тут не «бог милостив», а ежовые рукавицы надо! — говорил он и, казалось, изрыгал из себя пламя, как Везувий. Papa оставалось только умолкнуть и удивляться, какой у него сын способный.

С этих пор теория ежовых рукавиц окончательно вытеснила из Васиных разглагольствований теорию увеселений и проповедовалась беспрепятственно. Казалось, он верным чутьем поднюхивал, что кому и когда нужно, и сообразно с этим управлял утлою ладьею своей. Он опять скомпоновал несколько проектов в самом новейшем духе, из которых один трактовал «об истреблении гибельного нигилистского разврата в самом его зародыше», и хотя эти проекты оставлены были без последствий, однако на «перо» было вновь обращено внимание. Одним словом, мой Вася опять сугубо понравился.

На днях я его встретил на той всеобщей людской выставке, где встречаются люди, бог весть с которых пор друг друга не видавшие,— на Невском проспекте. Идет мой Вася солидно и истово; идет — и блещет. В гла-

---

* «Что с нами будет!» *(франц.)*

зах какая-то мгла; нос холодный, на сжатых губах — ироническая улыбка.

— Что это, какой ты, Вася, мрачный? — спросил я его после первых взаимных приветствий (меня Вася до сих пор любит за то, что я в школе растолковал ему, что Омар и гомар[7] совсем не одно и то же).

— Mon cher, тут не до веселья! дела такая пропасть, что, право, не постигаю, как еще я изворачиваюсь! — отвечал он и таинственно шепнул мне на ухо: — Я в настоящее время проект составляю!

— Гм... проект?

— Вот изволишь видеть, mon cher: теперь у нас везде какая-то разладица. Принципов нет, bureaucratie * с земством ни то ни сё... я предпринял все это привести в известность!

— Однако это, брат, штука!

— Ничего! с божию помощью, как-нибудь уладим! Главное, mon cher, надобно доказать, что bureaucratie и земство — одно и то же... ты меня понимаешь?

— Да это само собой разумеется; это нечего и доказывать!

— Ну вот! Я хочу доказать этому Каткову[8] (я, mon cher, им очень в последнее время недоволен; эта история с гласными...[9] это, наконец, черт знает что такое!), что там, где он видит какой-то разлад, какие-то две стихии, в сущности нет ничего... такого!

Вася взглянул на меня, как бы спрашивая, понял ли я, и когда увидел, что я понял, то прибавил:

— Я даже хотел бы, чтобы ты прочитал мой проект, потому что хоть и в разных мы лагерях...

— Помилуй, Вася! какие же тут лагери!

— Ну нет! признайся... ведь ты ... немножко нигилист?

Вася улыбнулся и ласково потрепал меня обеими руками за бока. Но я глядел ему прямо в глаза, как человек совершенно ни в чем не виноватый.

— Я не знаю даже, об чем ты говоришь! — сказал я.

— Я говорю о прошлогодних поджигателях![10] — отвечал он совершенно спокойно.— Но не в том дело; я пришлю тебе мой проект и попрошу высказать откровенно твое мнение. Я желал бы, чтобы мысль моя была обсуждена со всех сторон. Ты понимаешь: со всех сторон!

Мы расстались; Вася, разумеется, не прислал мне

* Бюрократия (*франц.*).

своего проекта, и я решительно не знаю, какая его постигла участь. Не сомневаюсь, однако, что он будет оставлен без последствий, но что «перо» опять-таки будет замечено, и Вася прослывет окончательно талантливым и даже необходимым публицистом. Дело, очевидно, не в том, каковы проекты, а в том, каковы люди, их составляющие. Если эти люди нам милы, то как бы ни были нелепы их мысли, все-таки авторы их не перестанут быть нам милыми. Как растолковать невольные симпатии, которые связывают людей между собой? А может быть, Вася в самом деле в какой-нибудь фантастической рубашке родился? а может быть, скрывается у него где-нибудь родинка такая, которая привлекает к нему все сердца?

Я совершенно убежден, что Вася пойдет очень далеко, потому что такого рода люди и ко времени, и к месту. В такой исторический момент, когда разрозненные общественные стихии ищут опознаться и организоваться, нельзя отказывать и ерунде в праве выказывать подобные же стремления. Напротив того, не лишнее даже ее к тому поощрять, потому что, получив известную организацию, ерунда перестает быть разлитою в целом обществе, утрачивает свою неуловимость и делается более доступною для истребления. Это уж плохой признак, если ерунда начинает о чем-то беспокоиться, если она оказывает поползновение сплотиться, подыскивает союзников и заговаривает о каких-то принципах: это значит, что ей приходится туго и что недалек ее час смертный. Ибо ерунда только тогда хороша, когда она ерунда веселая, разудалая и разухабистая, когда всякое чрево поет ей хвалу, и нет в целом свете души человеческой, которая не отплясывала бы трепака по вся дни живота своего, а не тогда, когда ерунда корчит серьезные мины, начинает объяснять себя и даже выделяет из себя философов. Но так как процесс умирания — процесс продолжительный, и как в то же время ерунда, по приведении ее в известность, оказывается ратью-силой великою, то очень понятно, что такие философы, как мой друг Вася, весьма ей по сердцу и что она всячески стремится их ублажить и обласкать.

А потому моему Васе не житье, а малина. Триста купчих предлагали ему руку и сердце; из Крутогорска, из Семиозерска и даже из Глупова шлются к нему телеграммы за телеграммами, в которых приглашают его продолжать; портной Шармер вызывается делать ему даром платье, с тем чтобы Вася с трех до пяти часов пополудни

прогуливался в нем по Невскому. Но Вася бережет себя; он отказал всем тремстам купчих, потому что заприметил княжну Оболдуй-Тараканову, которой в настоящее время двенадцать лет и при помощи которой он надеется свою карьеру усугубить; на глуповские телеграммы он отвечал сухим «благодарю», потому что всякое поползновение со стороны глуповцев к выражению чувств (хотя бы и панегирических) считает еще преждевременным; что же касается до Шармера, то и его предложения Вася не принял из опасения, что об этом могут узнать в его société*.

Вася великий интриган, и если видит у кого-нибудь во рту кусок, то с быстротою молнии его выхватит и проглотит. Если же кусок засел слишком плотно, то он смотрит на него и казнится. Вообще, он полагает, что все куски по праву принадлежат ему, и это убеждение дает его лицу такое приятное выражение, что даже вчуже смотреть на него весело. Точно вот так и говорит его взор соколиный: всем вам, сколько вас тут ни есть, не разминуться-таки с моей пространной утробой! Приятелей у Васи нет, но связи он поддерживает охотно; он не прочь при случае и подольститься, если от этого должно произойти что-нибудь очень хорошее, а в особенности если это подольщательство можно произвести как-нибудь секретно. Я полагаю, что в темной комнате он даже отважится поцеловать в плечико. Но самое величайшее для него наслаждение — это подставлять ножки и двоедушничать. Мысль, что он дипломат, до такой степени крепко засела в его голове, что он слова не может сказать, чтобы не соврать, шагу не может сделать, чтобы не вильнуть ногой куда-нибудь в сторону. Но это не только не вредит ему, а придает еще больше блеску и привлекательности, потому что члены той ерунды, в которой он обращается, на всякую ложь взирают с почтением и признают ее за высшее выражение человеческого ума. И когда сойдется разом несколько таких Вась, равной силы, то зрелище выходит даже занимательное, потому что все врут. Разумеется, когда-нибудь может за это и достаться Васе, но он загадывать вперед не любит и весьма основательно рассуждает, что если и доподлинно придет такое время, что его к стенке прижмут, то и тогда можно будет солгать, только солгать надобно будет как-нибудь почудовищнее, чтоб у самих допрашивателей встали

---

* Обществе *(франц.)*.

от этой лжи дыбом волоса и отшатнулись бы они от него, как от пса зачумленного.

Убеждений Вася, ни вообще, ни в частности, не имеет никаких, но охотно говорит о том, что «в наше время, mon cher, прежде всего необходима дисциплина».

Если ему возражают, что дисциплина есть только орудие, а отнюдь не убеждение, то он не дает возражателю кончить и очень самодовольно говорит: «Я, mon cher, в эти тонкости не пускаюсь: по-моему, дисциплина, дисциплина и дисциплина!» И действительно, когда на него смотришь и слышишь его голос, то невольно начинаешь что-то понимать и об чем-то догадываться.

— Я, любезный друг,— говорил мне однажды Вася,— могу сегодня думать так, а завтра могу думать не так. Я думаю, mon cher, как мне нравится и как мне в данную минуту думать выгодно. И в этом случае дисциплина...

— Должна схватывать твои мысли, так сказать, на лету?..

— C'est le mot! *

И как я ни старался доказать Васе, что обязанность ловить на лету такие мысли, которые перебегают из одного угла в другой, есть обязанность трудная, почти невозможная, но Вася нисколько моими доводами не тронулся.

— Во-первых,— сказал он мне,— я могу тебе указать на историю, которая именно свидетельствует, что невозможного на свете не существует; во-вторых — entendons nous, mon cher! ** Я согласен, что могу мыслить так или иначе, но, во всяком случае, мои мысли все-таки принадлежат к одной категории и вращаются не бог знает в каком необъятном пространстве. Я, любезный друг, звезд с неба хватать не желаю и обнять необъятное претензии не имею; все мои желания и помыслы не выходят из скромного круга благонамеренности и благоустройства; следовательно, и сообразоваться с ними совсем не так трудно, как это представляется с первого взгляда. Нужно только на всякий случай быть готовым...

Наружность Вася имеет красивую, солидную, почти почтенную. Для каких-то таинственных целей он страстно желал поседеть поскорее, и ласковая природа даже в этом не отказала своему баловню и украсила его голову несколькими преждевременными сединами. Вася носится

* Вот именно! *(франц.)*

** Договоримся, дорогой мой! *(франц.)*

со своею тридцатилетнею сединой словно с сокровищем и теперь хлопочет только о том, чтоб в его взоре показывалось нечто меркнущее. Если и этого он достигнет, то счастию его не будет границ, потому что тогда он уж совсем будет похож на деятеля высшей школы, изнывающего под бременем соображений. Словотечение Вася имеет изобильное и беспрепятственное. Он может свободно, в продолжение нескольких часов сряду, нанизывать одну пошлость на другую, и ни разу не поперхнуться, ни разу не обмолвится умным словцом. Из одной пошлости он незаметно переходит в другую, потом опять возвращается к первой, и опять переходит в другую, и таким образом топчется на одном месте, как те негодные лошади, про которых говорят, что они «секут и рубят и в полон берут», а с места все-таки ни взад, ни вперед не трогают. Голоса он никогда не возвышает, и если вступает с кем-нибудь в спор, то спорит чрезвычайно легко и приятно, а именно: никогда не обращает внимания на возражения своего противника и продолжает мерно, учтиво и всладце растягивать свою пресненькую, благонамеренную канитель. Во время словотечения Вася охотно прислушивается к звукам своего собственного голоса, как будто бы целый мир гармонии проносится в эти минуты над его душою. За эту способность члены той ерунды, в которой он обращается, прозвали его оратором.

Несмотря на свою холодную наружность, Вася нравится дамам. Они находят, что наружность часто обманчива, и в особенности хвалят Васю за его скромность. Действительно, никто никогда не слыхал от Васи ни одного слова об его сердечных победах, хотя достоверно известно, что он всею своею карьерой обязан преимущественно женскому влиянию. Вася любит женщин, но относительно увлечений держит себя осторожно; в глазах его они не что иное, как милое средство, правда, очень милое, но не больше, как средство. Даже maman, которая очень интересуется победами Васи и, пожалуй, не прочь ему посодействовать,— и та не может добиться от него никакого признания по этой части, потому что друг мой очень хорошо понял, что в таком деле первое условие успеха есть величайшая тайна. «Женщина, mon cher,— это святыня,— говорит он,— ее нужно держать строго, ее можно даже мальтретировать *

* Грубо обращаться (от *франц.* maltraiter).

(иногда они это даже любят), но келейно, mon cher, келейно! чтобы про это знали только заинтересованные в деле лица, да стены, которые достаточно, в этом случае, благоразумны, чтобы не выдать секрета!» И согласно с этим действует.

Одевается Вася солидно, но не без щегольства; пестрых цветов не допускает решительно и ограничивается черным и белым. Иногда он умышленно производит небольшой беспорядок в своей куафюре, потому что это дает ему вид мыслителя. Иногда вдруг начинает ходить с перевальцем и грациозно покачиваясь, чтобы показать себя утомленным, и потом тут же сряду, если нужно, начнет выступать бодро, чтобы показать, что он бодр и никакие труды сломить его не могут. Вообще, заботы о наружности стоят у него всегда на первом плане, и слово «приличие» вертится у него на языке бессменно. «Mon cher! приличие соблюсти необходимо,— выражается он по этому случаю.— Приличие — это весь человек! Приличие — это то тавро... ты понимаешь: тавро? — по которому всегда можно отличить un homme bien né * от всякой дребедени, которою наполнена наша печальная земная юдоль!» «Всегда готов, всегда приличен» — вот девиз, который избрал себе Вася, и даже самые смелые, самые искушенные ерундисты и ерундистки не могут надивиться той стойкости, с которой он преследует самую малейшую подробность того обширного и разнообразного кодекса, который называется кодексом приличий.

Вася не прочь и покутить, но изредка и притом в таком обществе, которое и по своему положению в жизни, и по своим взглядам на нее вполне подходило бы к его собственному положению и его собственным взглядам. «Таким образом, не может случиться ничего неприятного, а если что-нибудь и выйдет, то сора из избы не вынесет никто». Посещает он и лореток, и даже у влиятельнейших из них целует ручки, но от увлечений воздерживается, потому что лоретки народ болтливый и пылкий, могут, пожалуй, нагородить в его жизни чепухи. Впрочем, хорошенькая и бойкая лоретка играет-таки не последнюю роль в его жизненных предположениях, и он не отказывается доставить себе это хорошенькое лакомство со временем... когда достигнет. «Когда достигнет!» — в этом слове заключается для Васи разрешение всех жизненных зага-

---

* Человека благородного происхождения *(франц.)*.

док, и так как он сладострастен, то понятно, что эдем, который рисует ему воображение, не отличается ни особенным целомудрием, ни даже умеренностью. В сущности, Вася больше всего на свете любит милую безделку, и ему стоит танталовых мучений то воздержание, на которое он временно себя осудил. Но зато, когда достигнет,— что это будет, что это будет, когда он достигнет!

Таким образом, жизнь Васи течет как по маслу; но не могу скрыть, однако ж, что и у него встречаются кое-какие огорчения, которые слегка возмущают чистые струи его существования.

Во-первых, в самой той ерунде, в которой он постоянно обращается, выискиваются люди, которые, бог весть почему, именуют Васю «балалайкою». Я очень верю, что люди эти поступают таким образом единственно из зависти, но Васю тем не менее название это оскорбляет. Быть может, тайный голос говорит ему, что в названье есть что-то похожее на правду, быть может, самолюбие его возмущается тем, что «как же это балалайки осмеливаются обзывать меня балалайкою?». В том странном, полудиком оркестре, где нет иных инструментов, кроме балалайки, между исполнителями всегда происходит непримиримая, остервенелая вражда. Всякому хочется доказать, что странные, нелепые звуки, которые наполняют воздух, извлекаются не им, а его соседом; всякому хочется обозвать своего соседа «балалайкой». Сосед, разумеется, обижается, и затем начинается одна из тех бестолково-бесконечных распрей, в которой и оскорбляющие, и оскорбляемые, вследствие совершенного и непонятного ослепления, не могут сообразить, что стоит только взглянуть им себе на руки, чтобы прекратить всякие недоразумения и взаимно облобызать друг друга. Сверх того, на Васю прозвище это еще и потому оказывает неприятное действие, что он боится, как бы оно навек за ним не осталось. А это иногда бывает. Иногда человека, даже добродетельного, таким прозвищем наградят, в котором, пожалуй, и смысла отыскать трудно, и за всем тем пойдет он щеголять с ним через всю свою жизнь, до такой степени, что и фамилия-то его настоящая забудется, а прозвище за ним останется. И если тот человек был на пути к почестям, почести от него отнимутся; если он в это время имел в виду сделать прекрасную партию, родители невесты откажут ему от дома, и счастие его расстроится навеки. Все это Вася имеет в виду, и потому самое слово «балалайка» ему

ненавистно, и он не только не откликается на него, но даже в разговоре осторожно его обходит.

Второе огорчение Васи заключается в том, что у него есть несколько прискорбных знакомых, от которых он почему-то не имел решимости отстать. Связи эти начались отчасти в школе (где между множеством чистеньких и приглаженных мальчиков все-таки попадались пять-шесть лохматых личностей), отчасти же образовались немедленно по выходе из школы, когда Вася еще, так сказать, метался и не знал, куда себя пристроить. С тех пор в нем окончательно утвердилась и созрела теория ежовых рукавиц, знакомства эти стали особенно ему ненавистны. Встречаясь с ними, он как-то уморительно сжимается и все озирается по сторонам, словно опасается, чтобы кто его не застал.

— И ведь какие между ними нахалы есть — так и лезут! — жаловался он мне однажды.— Один там у меня отставной поручик есть... все это, понимаешь, еще скверные остатки детства и молодости... так трудно даже поверить, какой наглец! так вот и стремится! так и стремится! и такая ведь бестия: чем больше видит народу, тем нахальнее и настойчивее действует!

— Да ты бы как-нибудь развязался с этим поручиком! — посоветовал я.

— Не могу! Ты понимаешь, любезный друг, что он не один, а их тысячи, и что мы в такое время живем, когда никто ничего не понимает. Кто может поручиться, что этот самый поручик не окажется завтра каким-нибудь инфантом испанским?

— Я тебя начинаю, наконец, плохо понимать, Вася!

Вася остановился, взял меня за руку и крепко сжал ее.

— В такую эпоху,— сказал он мне взволнованным голосом,— когда вчерашние мальчишки сегодня уже являются сильными мира... в такую эпоху нет ничего невозможного!

Я угадал, что Вася намекает на Сашу Клаверова [11], который в это время действительно сделал какой-то удивительный скачок на жизненной лестнице, и понял его горесть.

— Так вот видишь, оно и нельзя пренебрегать-то,— продолжал Вася.— А между тем только грудь да подоплёка (я ведь немножко славянофил, mon cher!) знают, чего мне это стоит! Однажды этот поручик...

По всем видимостям, Вася хотел рассказать что-нибудь

ужасное, потому что даже волосы на голове у него зашевелились, но разговор наш был прерван чьим-то приходом, и я, к сожалению моему, так и не успел узнать, какое свинство учинил ужасный поручик с моим приятелем.

Третье горе Васи — это так называемые «нигилисты». Невинные эти люди решительно возмущают светлое течение его жизни. Пойдет ли он на Невский — ему кажется, что навстречу ему полезут целые выводки нигилистов, что они смеются над ним и даже грубят ему. Пойдет ли он в итальянскую оперу [12] — ему кажется, что он со всех сторон угнетен, что он уж не хозяин здесь и что г-жа Барбо млеет совсем не для него.

— Помилуйте! ведь я не хожу в ихнюю Александрию [13], ведь я не мешаю им! так пусть и они не мешают мне, пусть же оставят мне хоть это убежище, в котором я мог бы спокойно предаваться *моим* удовольствиям.

Вообще, он полагает, что с нигилистами следует поступить строго: дозволить им посещать только Александринский театр и гулять только по мещанским и подьяческим. Я не ручаюсь даже, что он не составит проект в этом смысле, но знаю наверное, что проект этот, как влекущий за собой совершенное загромождение мещанских и подьяческих улиц, принят не будет.

Итак, я рассказал тебе, читатель, полную биографию друга моего Васи и даже, легко может быть, и наскучил тебе ею. Но скорее всего может случиться, что я упустил из виду многие характеристические черты, которые могли бы сделать задуманный мною образ более заманчивым. К этим чертам я могу еще возвратиться впоследствии, потому что подвиги моего Васи не только не прекратились, но, напротив того, обещают литься как река. ⟨...⟩

В. А. СЛЕПЦОВ

1836–1878

...Был человеком с чутким сердцем, великодушным характером, мятежной душой...

Е. Водовозова

«Крайний социалист. Сочувствует всему антиправительственному» — так говорилось в отзыве канцелярии С.-Петербургского оберполицмейстера о замечательном писателе-демократе Василии Алексеевиче Слепцове.

В середине 60-х годов имя Слепцова пользовалось огромной популярностью. Это был человек тонкого ума, широко и всесторонне образованный. Большинство современников (за исключением явных недругов) единодушно отмечали его обаяние, чуткость и отзывчивость. Все привлекало к нему внимание: внешний облик, разносторонняя одаренность, талант писателя и организатора, умение зажечь окружающих своим оптимизмом и несокрушимой верой в будущее. Вот как рисовала его портрет А. Я. Панаева: «Наружность у Слепцова была очень эффектная и отличалась изяществом; у него были великолепные черные волосы, небольшая борода, тонкие и правильные черты лица; когда он улыбался, то видны были необыкновенной белизны зубы. Цвет лица был матово-бледный. Он был высок, строен, одевался скромно, но тщательно». В его квартире всегда был образцовый порядок, а ее убранство свидетельствовало о тонком вкусе хозяина. Причем большинство изящных предметов, наполнявших его жилище, было сделано им самим. «Он мог сделать все, что угодно,— писала Панаева,— и так хорошо, точно несколько лет обучался этому мастерству».

На первый взгляд Слепцов производил впечатление человека несколько высокомерного и холодного. Но это была всего лишь своеобразная поза. Он был на редкость застенчив и всячески старался скрыть это от окружающих. Известная общественная деятельница середины прошлого века Е. Водовозова писала: «Несмотря на свою сдержанность и внешнюю холодность Слепцов был

человеком с чутким сердцем, великодушным характером, с мятежной душой, вечно ищущий, с живой общественной жилкой».

Слепцов был прирожденным общественным деятелем. К нему тянулась молодежь, вокруг него всегда были люди. Он организовывал литературные и музыкальные вечера, на которых нередко сам выступал с лекциями и с чтением своих произведений. После выхода в свет романа Чернышевского «Что делать?» в Петербурге стали возникать коммуны и артели, подобные той, о которой говорилось в произведении великого революционера. Слепцов организует так называемую Знаменскую коммуну. В ней объединилась для совместного проживания, образования и артельного труда группа демократически настроенной молодежи. Слепцовская коммуна попала в поле зрения III отделения, и за ее членами было установлено наблюдение. Когда это стало известно, коммуну решено было распустить.

Василий Алексеевич Слепцов прожил недолгую, но содержательную жизнь. Родился он в дворянской семье, но рано порвал со своим классом и по убеждениям и образу жизни был типичным разночинцем, вечно нуждающимся и живущим своим трудом. Образование Слепцов получил сначала в Московской гимназии, а затем в Пензенском дворянском институте, откуда был исключен за то, что во время богослужения вошел в алтарь и произнес: «А я не верую». Один год он учился на медицинском факультете Московского университета, потом был актером в Ярославском театре. Натура беспокойная, ищущая, Слепцов много ездил, часто менял профессии. В конце 50-х годов с целью изучения народной жизни он совершил путешествие по Подмосковью и побывал на строительстве железной дороги Москва — Нижний Новгород. Впечатления, полученные от знакомства с бытом крестьян, с условиями жизни фабричных и строительных рабочих, легли в основу серии его очерков «Владимирка и Клязьма». С этого времени началась литературная деятельность Слепцова.

Вся жизнь Слепцова — это неустанные поиски ответа на вопрос о социальной справедливости, и свое литературное творчество он считал «делом», которое может помочь ему решить эту проблему.

Общественно-политические взгляды и идейные позиции Слепцова складывались в период общественного

подъема, наступившего после смерти Николая I и под влиянием идей революционной демократии. В начале 60-х годов мы видим его в кругу сотрудников «Современника». Он сближается с Некрасовым, Чернышевским и становится убежденным демократом и социалистом. На страницах «Современника» были напечатаны цикл его очерков «Письма об Осташкове», несколько очерков и рассказов, посвященных народной жизни («Питомка», «Ночлег» и др.) и повесть «Трудное время». Выступал Слепцов и как публицист. Им были написаны три цикла статей: «Петербургские заметки», появившиеся в «Современнике», «Провинциальная хроника», печатавшаяся в «Искре», и «Новости петербургской жизни», опубликованные в «Женском вестнике», а также несколько статей, фельетонов, корреспонденций. Правда, многие из них были запрещены цензурой и стали известны совсем недавно.

Публицистические выступления Слепцова были посвящены самым жгучим вопросам современности. Главная их тема — борьба с реакцией, наступившей в стране после поражения революционно-демократического движения в 1862 году. Преодолевая цензурные рогатки, Слепцов настойчиво проводил в своих статьях революционные идеи. В первую очередь он обращался к молодому поколению, призывая его не терять веру в будущее, искать пути борьбы с ненавистным самодержавным строем.

Для современного читателя публицистика Слепцова при всей ее яркости и образности трудна для восприятия. «Эзопов язык» писателя порой сложнее языка произведений Щедрина. Причем это было характерно не только для публицистики Слепцова, но и для его художественных произведений, в частности для повести «Трудное время», полной намеков и иносказаний.

В 1866 году после покушения на Александра II Слепцов был арестован и провел несколько недель в заключении. Условия, в которых он содержался, были ужасными. Писатель тяжело заболел и после настойчивых хлопот матери был выпущен на поруки. Как позднее писала его мать Ж. А. Слепцова, он вышел из тюрьмы больной, «с опухшими ногами, оглохший, исхудалый: вот арест-то и свел его преждевременно в могилу».

Выйдя из заключения, Слепцов продолжил литературную деятельность: работал над романом «Хороший человек», принял участие в организации журнала «Жен-

ский вестник», некоторое время был секретарем редакции «Отечественных записок». Однако обострившаяся болезнь заставила Слепцова уехать из столицы. Он жил во многих городах, постоянно меняя врачей и лекарства. Умер он 23 марта 1872 года в городе Сердобске Саратовской губернии.

Письма об Осташкове

Ни об одном из уездных великорусских городов не было писано в последнее время столько, как об Осташкове. Всякий, кому случалось бывать в этом городе, считал непременною обязанностью печатно или изустно довести до всеобщего сведения о тех диковинах, которые ему пришлось в нем увидать: о пожарной команде, библиотеке, театре и проч., то есть о таких предметах роскоши, о которых другие уездные города пока еще не смеют и подумать. Всякий, посетивший это русское Эльдорадо, по мере сил и крайнего разумения отдавал должную справедливость заботливости городских властей и хвалил жителей за примерное благонравие. Затем благородный посетитель не упускал случая поставить осташковскую мостовую и пожарную команду в пику всем прочим уездным городам русского царства и намекнуть в конце, в виде нравоучения, что почему бы, дескать, и другим городам не взять примера с Осташкова и не завести у себя и то, и другое, и пятое, и десятое; желательно было бы... и проч., как это обыкновенно говорится в подобных случаях. Такого рода похвалы и советы, без всякого сомнения, делали честь благородному посетителю, обличая в нем желание наставлять нерадивые города на путь истины, но вместе с тем они отчасти и повредили Осташкову во мнении прочих городов. Благородный посетитель как будто нарочно всегда старался изобразить Осташков каким-то благонравным мальчиком, у которого и волосики гладко причесаны, и курточка не изорвана, и тетрадочки не закапаны салом, за что начальники его всегда хвалят и ставят в пример другим, нерадивым мальчикам, и за что товарищи его терпеть не могут. Но если бы благородный посетитель потрудился

дать себе отчет в том, что он видел, и пожелал бы узнать причины — почему, например, один город сидит себе по уши в грязи и грамоте даже учиться не хочет (как Камышин), а другой — без театра и библиотеки немыслим? Почему осташковская мещанка, кончив дневную работу (большею частию тачание сапог), надевает кринолин и идет к своей соседке, такой же сапожнице, и там ангажируется каким-нибудь галантным кузнецом на тур вальса или идет в публичный сад слушать музыку; а какая-нибудь ржевская или бежецкая мещанка, выспавшись вплотную на своей полосатой перине и выпив три ковша квасу, идет за ворота грызть орехи и ругаться с соседками? Почему вышневолоцкий сапожник сошьет сапоги из гнилого товара и еще на чаек за это попросит; а осташковский сошьет хорошие сапоги и вместо чайку попросит почитать книжечку? Почему осташ называет себя гражданином, а не Митькой, Прошкой и т. д.?

Если бы благородный посетитель задавал себе такие вопросы и добился бы на них положительных ответов, то, во-первых, он перестал бы хвалить осташей за благонравие и, во-вторых, не стал бы укорять других за нерадение; потому что уже самое желание решить эти вопросы избавило бы осташей от похвал, от которых им ни тепло, ни холодно, а жителей нерадивых городов — от нареканий, которые им кажутся крайне оскорбительными и пользы, видимо, никому не приносят.

Осташков действительно один из замечательнейших русских городов, даже единственный в своем роде; но замечателен он вовсе не тем, на что обыкновенно туристы и хроникеры стараются обратить внимание публики. Осташков выходит из ряда обыкновенных уездных городов; но не тем, что в нем есть театр, мостовая и доморощенные музыканты-кузнецы, чем любит похвастаться осташковский житель; не тем, потому что все это крайне плохо и не могло бы удовлетворить действительным потребностям города,— если бы таковые существовали и если бы все эти учреждения были вызваны именно *потребностями* развитого общества. Благосостояние Осташкова представляет чрезвычайно любопытное и поучительное явление в русской городской жизни. Осташков, с его загородными гуляньями, танцами и беседками, можно рассматривать, как одну из тех драгоценных картин-игрушек, на которую потрачено много труда и денег и на которой удивительно искусно изображены: рыбак с удочкой, крепость, мальчи-

ки, идущие в школу, и барышня в беседке, с цветком в руке. Все это чрезвычайно мило, и если завести ключом скрытый позади картины механизм, то рыбак начнет ловить рыбку, мальчики пойдут в школу, а барышня и крепость останутся на месте, и при этом можно будет слышать марш. Но как бы это ни было мило, тем не менее картина все-таки останется игрушкой и будет только делать честь и — главное — удовольствие ее изобретателю; что же касается людей, изображенных на картине, то им, надо полагать, ничего больше и не остается делать, как ловить рыбу, ходить в школу и сидеть в беседке. И если бы вдруг рыбаку вздумалось посидеть в беседке, а мальчики сочли бы за лучшее заняться рыбной ловлей, то, вероятно, встретили бы непреодолимые препятствия, потому что такая перемена ролей не вошла в план изобретателя, и самовольная отлучка с указанного места послужила бы признаком неисправности механизма.

Но, с другой стороны, почему не предположить, что найдется еще искусник — и перехитрит первого; и сделает такую картину, на которой вместо рыбака будет сделан турок, курящий трубку и двигающий глазами, барышня же хотя и будет, но не станет сидеть в беседке, а поедет на осле и за ней побежит собачка, мальчики же вместо того, чтобы идти в школу, будут плясать. В этом случае все, как видно, зависит от искусства и фантазии изобретателя, и если переврать надлежащим образом известное изречение Пинетти[1], то можно будет довольно удачно выразиться о таких картинах или о таком городе, говоря следующим образом: здесь нет жизни; здесь только механизм, пружинка и колесики. Доказательства тому читатель найдет в письмах, которые за этим следуют.

Взгляд на Осташков, метафорически высказанный выше, сложился не вдруг, а выработался медленно, после многих и самых курьезных заблуждений, хотя у автора этих писем было в руках много средств доискаться истины и разрушать разного рода мистификации. Но все-таки хлопот и недоразумений было много, потому что механики не любят открывать секретов, доставивших им известность, и принимают строжайшие меры против непрошеного любопытства; в чем читатель также будет иметь случай убедиться ниже.

Автор

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

НАРУЖНОСТЬ ГОРОДА

Третьего дня, поздно вечером, я приехал в Осташков и на другой же день пошел знакомиться с городом и его жителями. На первый раз мне хотелось сделать визиты разным должностным и другим лицам, пользующимся в городе особенным почетом; к некоторым же из них у меня были и письма. С вечера привезли меня на постоялый двор (гостиниц здесь нет), где дали мне чистую, действительно очень чистую комнату, с постелью без клопов и с отлично вымытым полом. Все было пошло хорошо. Встаю на другой день, посмотрел в окно: дождь идет, грязь непроходимая на улице; спрашиваю: «Есть ли у вас извозчики?» — «Нет извозчиков».— «Что же я буду делать? А раки есть?» — «Есть». Надо заметить, что Осташков славится раками. Я заказал себе раков к обеду, а между тем от нечего делать разговорился с коридорным... или, не знаю, как его назвать, одним словом, с хозяйским братом, который здесь в доме занимается счетной частию, чистит сапоги, ставит самовар и просит на водку. Хозяйский брат,— некто Нил Алексеевич,— с первого же знакомства поразил меня изумительной юркостью движений и необыкновенным сходством с бессрочно-отпускным солдатом, хотя он просто-напросто здешний мещанин и даже в ратниках не бывал. Впоследствии, впрочем, сколько я ни замечал, осташковские мещане, или граждане, как они себя называют, все отчасти смахивают на отставных солдат: бороду бреют, носят усы, осанку имеют воинственную и, когда говорят, отвечают — точно рапортуют начальнику. Вообще дисциплина в нравах. Так вот, Нил Алексеевич, к крайнему сожалению моему, сообщил мне, что Федор Кондратьевич* *уехатчи* в Петербург и неизвестно когда вернутся.⟨...⟩ После обеда я⟨...⟩ пошел бродить по городу. Осташков, как вам известно, стоит на берегу озера Селигера, или лучше сказать, Осташков стоит на полуострове и с трех сторон окружен озером; а так как город выстроен совершенно правильно и разделен на кварталы прямолинейными улицами, то вода видна почти отовсюду, и притом озеро кажется как будто выше города, чему причиной служит низменность почвы. Город весь в

* Савин, осташковский городской голова. *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

воде, и даже с четвертой стороны у него огромнейшее болото. Над озером стоит туман, и дальние берега чуть-чуть мелькают: с одной стороны виднеются какие-то деревни да несколько ощипанных кустов; в другую сторону, к югу, лежат острова.⟨...⟩

Попробую я теперь дать себе отчет в том, что я видел сегодня. А знаете, что меня всего более поразило в наружности города? Как вы думаете? — Бедность... Но вы не знаете, какая это бедность. Это вовсе не та грязная, нищенская, свинская бедность, которой большею частию отличаются наши уездные города,— бедность, наводящая на вас тоску и уныние и отзывающаяся черным хлебом и тараканами; эта бедность какая-то особенная, подрумяненная бедность, похожая на нищего в новом жилете и напоминающая вам отлично вычищенный сапог с дырой. На первый взгляд вас приятно поразит и мостовая, и бульвар, и эти громкие вывески: *общественный банк, общественная библиотека, публичные сады, благотворительные заведения* и т. д.; даже и на этих ершей, на это обилие ершей, на все эти декорации вы смотрите снисходительно, добродушно улыбаясь, потому что все это пахнет чем-то таким новым, свежим, благоустроенным. Стриженые березки, капканы, решетки, просьбы цветов не рвать, собак не водить,— все это вам давно знакомо; вам даже почему-то приятно встретить в захолустье, в Осташкове, этих старых чудаков, как иногда приятно бывает встретить какую-нибудь глупую няньку, которая вас бивала в детстве. Но все эти приятные ощущения быстро сменяются тяжелым раздумьем, как только вы свернете в одну из второстепенных улиц. Вы вдруг замечаете ужасно резкий переход, как будто вам подавали всё трюфели да фазанов, а тут вдруг хрен!.. У вас и глаза было разлакомились, вам уж начало было казаться, что и дальше все то же будет, а тут и пошли, и пошли: и хижины бедные, богом хранимые, и больные ребятишки, и окна, заклеенные бумагой, и бледные, изнуренные лица с неизлечимой анемией,— одним словом, все это горе-злосчастье, с холодом, да с голодом, да с лихими напастями, от которых вы было вообразили так дешево отделаться. «Что же это значит?» — тоскливо думается вам...

Город расположен чрезвычайно искусно, и надо быть очень непроницательным, чтобы не обратить на это внимание. Если вы захотите всмотреться пристальнее, то вы

непременно заметите, что тут прошлась чья-то искусная рука, что кто-то так ловко скомпоновал все эти objets d'art*, что они неминуемо вам должны броситься в глаза. Вы непременно заметите, что для каждой вещи выбрано именно такое место, на котором она больше выигрывает и привлекает на себя ваше внимание. А что делается в отдаленных улицах, того вы не увидите, потому что туда вам и идти незачем, да и мостовых там нет, там болото. И если вы можете понять и достойно оценить все это, то вы отдадите должную справедливость художнику, потратившему много труда и соображения на то, чтобы произвести на вас самое отрадное впечатление во время вашего кратковременного пребывания в Осташкове.⟨...⟩

Но так как у вас нет в городе никакого спешного дела, а в комнате одному сидеть скучно, к тому же все виденное вами так успело уже расположить вас в пользу Осташкова, то вам вдруг приходит в голову фантазия сейчас же, не откладывая, проехаться по городу и проглотить его разом.⟨...⟩

Обрадованный возможностию похвастаться родным городом, ямщик вывозит вас на площадь.

— Вон оно, озеро-то! — говорит он, самодовольно указывая кнутом на озеро, показавшееся вправо.

Площадь, впрочем, на первый взгляд ничем особенно вас не поражает, но, оглядывая ее пристальнее, вы вдруг замечаете бульвар, прудок с островком, гуляющих дам в модных костюмах, красивый обжорный ряд, лавки... вы видите, что в лавке сидит женщина и вяжет что-то...

«Ого-го!» — думаете вы. Ямщик между тем берет влево и везет вас вокруг всей площади.

— Что это за сарай с колокольчиком?

— Это пожарная команда.

«А! это та самая знаменитая пожарная команда, о которой я так много читал в «Московских ведомостях»[2],— думаете вы и в то же время с удивлением и не без удовольствия читаете вывеску: *Осташковская общественная библиотека основана с 1832 года.*

— Каково? — говорите вы уже вслух,— с тридцать второго года и притом *общественная*!.. а в других городах!..— но тут вдруг начинаете столбенеть.

---

* Произведения искусства *(франц.)*.

— Что это? телеграф? — вскрикиваете вы.— Ямщик! глаза мои меня не обманывают? это точно телеграф?

— Верно,— успокаивает вас ямщик, совершенно довольный вашим восторгом.

— Кто же его устроил?

— Федор Кондратьевич.

— А куда проведен этот телеграф?

— Из думы Федору Кондратьевичу. Ну, куда ж теперь ехать?

— Вези, куда знаешь,— говорите вы растроганным голосом.

Объехав всю площадь и выказав вам один за другим все красивые каменные домики, которыми обстроена площадь, ямщик везет вас в прежнем направлении, то есть по главной же улице, пересекающей площадь. Но, уезжая с площади, он указывает опять-таки кнутом на озеро и обращает ваше и без того напряженное внимание на строящуюся пристань. Вы высунулись из экипажа и видите движение, народ: возят песок, сваливают камень, в пристани стоят две огромные лодки, похожие на суда, развеваются паруса, вы слышите где-то свист парохода; озеро, синее и блестящее, точно взморье так и манит вас к себе, а на том берегу виднеются деревни, лес синеет вдали.

— Экое место! Что за природа! — восклицаете вы.— Воздух-то, воздух какой!

А между тем в то время, как вы смотрели на озеро и наслаждались природой, слух ваш поражается звуками отдаленной музыки.

— Что это? ученье? — спрашиваете глубокомысленно вы, сообразив, что если уж и есть музыка в Осташкове, то не иначе как военная.

— Нет; ученья у нас никакого нет,— снисходительно замечает вам ямщик,— а музыка у нас своя играет в саду.

— Как в саду? что ты говоришь?

— Я врать не стану, сами посмотрите.

Но чем ближе подвигаетесь вы к музыке, тем удивление ваше возрастает все более и более. Немного не доезжая сада, вы снова видите здание совершенно такое же, как и казармы; на здании красуется огромная вывеска: *Дом благотворительных заведений общественного банка Савина.*

— Что здесь, в этом доме?

— Воспитательный дом, богадельня для престарелых и увечных, уездное училище, женское училище, воскресные классы.

— Недурно!..

А музыка слышится все громче и громче. Вы уже ясно слышите, что это не какой-нибудь паршивый квартетишко из отставных дворовых музыкантов, вы уже можете догадаться, что это целый оркестр; вы видите толпы гуляющих дам и кавалеров, шум, говор, изящные наряды; вот стоит карета, вот еще несколько экипажей, а тут народ. Сколько народу! да это просто Тверской бульвар.

— Нет, это выше сил моих! Я этого не вынесу! — говорите вы, окончательно подавленный таким неожиданным сюрпризом.

— Да откуда же у вас музыканты? — спрашиваете вы наконец у ямщика.

— У нас свои музыканты; граждане играют на музыке.

— Как граждане? какие граждане? где граждане?

— Так точно. Осташи, граждане.

— И ты гражданин? — вдруг почему-то струсив, спрашиваете вы ямщика.

— Справедливо. И я гражданин.

— Несчастный! что ты сказал?.. Да где ты живешь?! — говорите шепотом.

— У хозяина живу, у Иван Прохоровича.

— Замолчи, глупый человек!

— Да что ж вы в самом деле? У нас в городе все грамоте знают. Вот ведь вы опять не поверите?

— И ты знаешь?

— Знаю.

— И читаешь книги?

— Читаю.

— Врешь?..

— Ей-богу, читаю. Да что вы, не верите? Вот я вам сейчас покажу человека. Вон наш ямщик стоит у решетки: хотите, я его при вас спрошу?

Вы крайне заинтересовываетесь.

— Парфен! подь сюда! Вон барина я привез, не верит, что у нас все грамоте знают. Слышь, хвастаете, говорит. Скажи ему, какую я книжку читал.

— Это точно, ваше благородие, что он «Трех мушкетеров» прочитал. Будьте без сумления. Мы тоже для праздника хвастать не станем,— подтверждает другой ямщик.

— Да нет, слышь, Парфен, и про музыку не верит, что граждане играют. Вот он у меня чудной какой! — и ямщик смеется.

— И насчет музыки это верно он вам докладывает.

В это время вдруг грянул хор; человек 50 великолепнейших голосов начали разом какой-то торжественный гимн.

Славься, славься, наш Осташков!..—

долетает до вас, и вы слышите, как несколько страшных басов забирают верха.

— А вот певчие,— ведь это кузнецы поют,— доколачивает вас ямщик.

Вы уничтожены, вы неподвижно лежите в тарантасе, ничего не видите, не слышите и только в изнеможении, покачивая головой, говорите:

— Боже! Боже мой! и кто бы мог поверить? Осташков, уездный город... ямщики романы Дюма читают, кузнецы гимны поют... благотворительные заведения... банк... воспитательный дом!.. И Европа этого не знает! 〈...〉

ПИСЬМО ВТОРОЕ

ВИЗИТЫ

Сегодняшний день я посвятил визитам к разным, более или менее важным лицам в городе, к которым были у меня рекомендательные письма. Одни из этих лиц должны были принести мне пользу своим знанием города, другие могли указать пути, познакомить с кем нужно или растолковать, чего я не пойму. Вообще все с вечера было хорошо обдумано, на письма я возлагал надежды не малые и весь следующий день был у меня рассчитан; но при первой же встрече с действительностью, как это часто случается, теория спасовала.

Накануне, с вечера, я отдал Нилу Алексеевичу два письма: первое — к некоторому должностному лицу, а другое — к одному почтенному ремесленнику, с тем, чтобы эти письма он снес на другой день, утром, и кстати бы узнал, когда и кого можно застать дома. Нил Алексеевич отнес их чуть свет, а утром, только что я успел открыть глаза, слышу — уж кто-то меня спрашивает, вбегает ко мне Нил Алексеевич и точно фельдфебель

докладывает: «Господин Ф[окин]. Прикажете принять?» Входит очень чистенький старичок с ясным взором, в длинном сюртуке, с воротничками á l'enfant*, и рекомендуется: Ф[окин], то есть тот самый ремесленник, к которому было послано письмо. Я было немножко сконфузился и стал извиняться, но Ф[окин] оказался до такой степени любезным, симпатичным и готовым сделать с своей стороны все, что можно, для облегчения мне знакомства с городом, что я успокоился.〈...〉

После обедни Ф[окин] пригласил меня к себе пить кофе и оставил даже обедать. Тут, впрочем, узнал я не много нового: Ф[окин] все хлопотал о том, чтобы я как можно больше ел, а жена его, оказавшаяся отличной хозяйкой, до такой степени суетилась и старалась угодить, что мне даже стало совестно: точно я генерал какой-нибудь. После обеда, когда мы сели на диван, Ф[окин] рассказал, что в городе много купеческих капиталов**, но что все они, кроме двух-трех, ничего не значат, потому что в гильдию записываются во избежание рекрутской повинности[3], что город записали было по числу капиталов в первый разряд, но голова поехал в Петербург хлопотать о том, чтобы выписать город из первого разряда, так как купцы не в силах нести всей тяжести возлагаемых на первоклассный город обязанностей.

— Наш городочек маленький, жалкенький, где нам за другими тянуться? — говорил Ф[окин], сидя на другом конце дивана и добродушно, кротко улыбаясь.

— Как же вы говорите, что город ваш беден? Ведь у вас промыслы большие: кожевенный, кузнечный, рыболовный.

— Это все так, только нам все-таки до Ржева или до Старицы далеко. Всякие промыслы, всякие ремесла есть у нас; каких-каких мастеров у нас нет, а ведь ни одного такого промысла нет, чтобы во всей силе, настоящий, значит, был. Есть вон, пожалуй,— спохватившись, заметил он,— есть, точно, фабрика бумажная, да ведь городу от нее пользы никакой, и работают-то на ней больше чужие, не здешние; ну кузнечики точно, что еще туда-сюда, поколачивают, а настоящий только один и есть Алексей Михайлович Мосягин. Беднеет наш городочек,— заключил он,— очень беднеет. Торгуем больше по привычке,

* Как у ребенка *(франц.)*.

** В Осташкове в 1860 году было 307 купеческих капиталов 3-й гильдии, 2 капитала 2-й и один — 1-й. *(Примеч. В. А. Слепцова.)*

для виду, этими там сапожками да рыбкой. Гордости у нас много, потому и торгуем. Рыбкой и то обеднели: повывелась рыбка совсем.

— Ну, а как же банк-то? Откуда же там двести тысяч?

Ф[окин] улыбнулся.

— А как бы нам кофейку,— закричал он в другую комнату.— Как бы хорошо теперь кофейку со сливочками.⟨...⟩

— Как у вас женщины хорошо одеваются! — говорю я, желая свести разговор с этого чувствительного предмета опять на Осташков.— Я сегодня видел у обедни: какие шляпки! какие бурнусы!

— Да, уж у нас бабеночки любят принарядиться,— лукаво подмигивая мне, отвечает Ф[окин].— Театры, гулянья да наряды просто их с ума свели. Другая ложечки да образочки последние заложит; хоть как хочешь бедна, а уж без карнолинчика к обедне не пойдет.

— А разве у вас есть закладчики?

— У нас местечко есть такое: что хотите возьмут. Что кокошничков[4] старинных с жемчугами, понизей[5], сарафанчиков парчовых снесли туда наши бабеночки: все принимают, ничем не брезгуют. Мода такая у нас; опять танцы, публичные садочки, театры; ну, разумеется, никому не хочется быть хуже другой: осмеют. Из последнего колотятся, только бы одеться по моде да к обедне в параде сходить. Другая гражданочка всю неделю сапожки тачает не разгибаясь, а ручки-то у нее все в вару, ребятишки босые, голодные, а в церковь или на бульвар идти, посмотрите, как разоденется, точно чиновница какая.

А тут опять является поднос с вареньем, брусникой и мочеными яблоками. Наконец я начинаю чувствовать, что наелся до изнеможения, что к продолжению беседы оказываюсь неспособным и потому отправляюсь домой спать.⟨...⟩

Солнце уже село, и по всему озеру разлился тот великолепный фиолетовый цвет, который можно видеть только на взморье. Не мог я не заглядеться на озеро, на дальние берега, на сети, развешенные над водой. В воздухе пахнет рыбой и мокрым деревом; рыбаки, вернувшиеся с ловли, выгружают добычу, стоя по колени в воде; лодка несется под парусом, ближе и ближе, и сразу врезалась носом в берег. Чайки уныло кричат, ребенок

плачет где-то в рыбачьей избушке. Так я дошел до самого дома должностного лица и позвонил. Застал я его за чаем, в обществе двух офицеров и одного красивого молодого человека в штатском платье. Пошли опять те же вопросы:

— Так вы, собственно, посмотреть на Осташков приехали? — и т. д.

— Не стоит,— говорило должностное лицо, развалясь в кресле.— Самый подлый городишко. Вы не верьте, что вам об нем рассказывали,— врут.

— Чем же он нехорош?

— Да всем. Первое — жизнь дорога, климат убийственный, говядина гнусная, общества никакого; раки только вот одни и есть; да еще воры здесь отличные. Вот это правда.

Офицеры дружно засмеялись.

— Новоторы[6] — воры, да и осташи хороши,— как будто про себя сказал красивый молодой человек, покачиваясь на стуле.

Я делаю легкое возражение и указываю на поголовную грамотность в Осташкове как на факт весьма знаменательный.

— Помилуйте! что ж тут знаменательного? это все вздор! — отвечает должностное лицо в припадке отрицания.— Все вздор! Невежество полнейшее. Да и какого он черта будет читать? Позвольте вас спросить.

— А библиотека?..

— Библиотека!..— иронически повторяет должностное лицо.— Нашли библиотеку... Да вы не знаете ли... извините, не имею чести знать вашего имени...

— Василий Алексеевич.

— Знаете ли вы, почтеннейший Василий Алексеевич, что такое библиотека?

Пауза. Мы смотрим друг на друга.

— Ведь это, батюшка, четыре тысячи двести тридцать восемь томов. Понимаете? четыре тысячи двести тридцать восемь томов, ну и кончено, и весь разговор. У нас-де вот четыре тысячи двести тридцать восемь томов; у нас двести тысяч в банке; у нас его превосходительство всегда довольны остаются. Ведь это все *у нас*, а *у вас* что? У вас этого нет. У! у! у вас нет, у вас нет! а у нас есть, а у нас есть! Вот вам и библиотека! Помилуйте, что тут может сделать грамотность, когда у меня в брюхе пусто, дети кричат, жена в чахотке от климата и тачания голе-

нищ? Что толку в том, что я грамотный, когда мне и думать о грамоте некогда? Бедность одолела, до книг ли тут? Ведь это Ливерпуль! Та же монополия капитала, такой же денежный деспотизм; только мы еще вдобавок глупы,— сговариваться против хозяев не можем — боимся; а главное, у них же всегда в долгу. А праздник пришел, я первым долгом маслом голову себе намажу и к обедне, потом гулять на бульвар или в театр. Нельзя же, у меня развитой вкус; тщеславие дурацкое так и прет меня врозь. Баба готова два дня не евши сидеть и детей поморить голодом, только бы на бульвар в шляпке сходить да на Житном в беседочке посидеть. Разврат! Девчонка, вон она... (он указал на печку). От земли не отросла, а тоже в училище без кринолина ни за что не пойдет. Вот вы говорите там — грамотность, библиотека, школы... Ну, хорошо-с. Ведь уж учат, кажется на что лучше: и грамматике, и географии, и истории, и чему-чему не учат; и там в школе они все это отлично знают и гимны там разные поют, а не угодно ли послушать — как он говорит, когда выйдет из школы? Отчего же это от *горазно*, да от *горажже*, да от разных там *питьчи* да *едчи* никак он отвыкнуть не может? Поглядите вы на него в школе, где он вам об Тургеневе расскажет, и потом послушайте его через год по выходе из училища, когда уж он в работу пошел и начнет *в воды* шкуры мочить, или *из воде* рыбу таскать. Вот вы тогда и увидите, какую пользу ему грамотность принесла. А тут вот еще просветители-то радеют.— Он указал на офицеров.

— Ваши солдатики-с!

Офицеры, занявшиеся было своим разговором, стали вслушиваться.

— А что? — спросил один.

— Да разные художества развивают в наших мещанах, то бишь гражданах. Все забываю. Ведь они у нас не мещане, а граждане.

— Что ж? я дурного еще ничего не вижу в том, что они граждане.

— Да и я не вижу; только гражданами-то у нас мещане себя называют. Вчера еще он был гражданин, а сегодня, положим, в гильдию записался; попробуйте-ко его гражданином назвать, так он на вас просьбу подаст — оскорбили. Сегодня уж он купец, а не гражданин. Вы думаете, он понимает, что это такое — гражданин? Он себя потому гражданином называет, что эта кличка все-

таки лучше, нежели мещанин, так же вот, как лакей у богатого барина никогда не назовет себя «лакеем», а говорит: «Я камердинер», «Я дворецкий». Вы, батюшка, не обольщайтесь этими штуками: банками там разными да театрами,— это все блестки. Вот вы поживите здесь да копните-ко хорошенько, вот и увидите. ⟨...⟩ Узнаете, какие мы тут успехи оказываем, как мы эти разные современные польки вытанцовываем. Я вот вам как скажу, осташ кровно убежден в том, что лучше его города быть не может, что Осташков так далеко ушел вперед, что уж ему учиться нечему, а что Россия должна только удивляться, на него глядя. Кроме своей пожарной команды и Федора Кондратьича осташ знать ничего не хочет; он не шутя уверен, что там, дальше, за Селигером, пошла уже дичь, степь киргизская, из которой время от времени наезжают к нам какие-то неизвестные люди: одни за тем, чтобы хапнуть, а другие, чтобы подивиться на осташковские диковины и позавидовать им.

Потом он знает еще, что где-то там за Селижаровской есть город Питер и что ежели в Осташкове что-нибудь нездорово, то Федор Кондратьич съездит в Питер и отстоит своих осташей.

— Это так,— подтвердил красивый молодой человек, а хозяин, прихлебнув из стакана, продолжал:

— Вот хоть бы вы теперь приехали, как вы думаете? Чтó они о вас говорят? Собрались где-нибудь и толкуют: «Вот, мол, приехал, нарочно приехал посмотреть на нас. Стало быть, мы, братцы, известны всему свету, и все только о нас и говорят, только и думают». Впрочем, нет, и это вздор, они о вас думают просто, что вы шпион, только никак понять не могут, от кого и зачем вы подосланы. Какой тут прогресс! Помилуйте! — подумав немного, сказал он.— Застой, самый гнусный застой и невежество с одной стороны, и нищета с другой. Вот стуколка здесь процветает, это правда! — вдруг неожиданно завершил он, обратясь к офицерам.— Так ли я говорю, господа?

Офицеры, осовевшие было во время разговора, встрепенулись и отвечали одобрительной улыбкой.⟨...⟩

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

ШКОЛЫ

В продолжение этой недели я видел и слышал столько, что вдруг всего и сообразить не могу. А тут еще скверная привычка — систематизировать все на свете и от всякого вздора добиваться смысла — только сбивала меня с толку. Беспрестанные противоречия и в словах и на деле с каждым днем осложняются все больше и больше, а вместе с ними сильнее и неотступнее мучит меня вопрос: что такое Осташков? И чем проще стараюсь я разрешить его, тем более теряюсь в этой путанице противоречий, которые как нарочно случаются самым непонятным, самым невозможным образом. Наконец, мне приходило в голову, что все эти господа, с которыми я здесь вижусь,— все более или менее врут. Убедившись в этом, я взялся за факты, за цифры — и они врут! Понимаете ли? врут официальные сведения, врут исследования частных лиц, врут жители, сами на себя врут! Вы понимаете, как это должно раздражить любопытство, как это поголовное вранье подстрекает и поддразнивает, и до какой степени вопрос,— что такое Осташков? — становится интересным. Теперь я решился просто записывать, что вижу и слышу, записывать все, не сортируя, не анализируя фактов и слухов. Делайте с ними что хотите, освещайте их как угодно; я буду только записывать.〈...〉

По ту сторону улицы из деревянных домиков самой обыкновенной, провинциальной наружности так и вырезывался какой-то старинный, каменный, двухэтажный дом, выкрашенный желтой краской, с неуклюжими окнами и крутой железной крышей.

— А это духовное училище.

— Знаете что? Нельзя ли туда зайти — посмотреть? Я ни разу не бывал в этих заведениях.

— Я думаю, что можно. Пойдемте, спросим.

Тут только я вспомнил, что на днях я познакомился с одним из учителей этого училища, и мы прошли к нему в квартиру, тут же в училищном доме. В это время была рекреация*, и мы застали его. Не без некоторого сердечного волнения проходил я коридором, где попались нам несколько человек учеников, в затрапезных халатах, с

* Школьная перемена.

коротко остриженными, точно выщипанными головами и с затасканными книжонками в руках. Когда мы вошли в убогую комнатку учителя, он пил чай, встретил меня уже как знакомого и предложил чаю.⟨...⟩ Учителя духовного училища живут особняком и ни с кем почти не знаются, кроме духовенства. Я объяснил ему мое желание — видеть училище, но он сказал, что не может меня ввести в класс без позволения инспектора, который был тут же в училище и исполнял должность преподавателя греческого языка.

— Погодите, я схожу, спрошу.

Он ушел. Я стал рассматривать тетрадки учеников, кучей лежавшие на окне.⟨...⟩

Вернулся учитель с разрешением, и мы⟨...⟩ пошли по каменной лестнице с обшарканными ступеньками наверх; и так как рекреация уже кончилась, то мой знакомый учитель привел нас в свой класс. Он учил латинскому языку. Ученики вскочили, и старший прочел молитву. Я попросил заставить кого-нибудь переводить для того, чтобы мне удобнее было рассмотреть учеников. Боже мой, что это такое?! И еще, говорят, в Осташкове духовное училище одно из лучших в этом роде. Во-первых, меня поразил особенный запах, который так и бросается в нос, только что отворишь дверь в класс. Что это за запах, трудно определить. Это какая-то смесь, букет какой-то, составленный из запаха капусты, кислых полушубков и дегтярных сапог, смешанный с запахом живого человеческого тела, и притом такого тела, которое бог знает с которых пор не было в бане и страдает изнурительной испариной; только испарина эта уж остыла и прокисла. Это не тот прелый запах жилого покоя, который всем известен; а другой, уже успевший сконцентрироваться, прогоркший, страшный запах. Комната не топлена, и ученики сидят кто в чем пришел: в халатах, тулупах, в кацавейках, с бабьими котами* на ногах, другие даже в лаптях, простуженные, с распухшими лицами и торчащими вихрами. Уныние какое-то на лицах, точно все ждут наказания. В другом классе шла арифметика. Учитель вызвал ученика к доске и задал задачу. Ученик вылез из парты, поклонился учителю, как будто остерегаясь, чтобы тот его по шее не ударил, и поправил себе штаны. Другой ученик подошел к учителю, точно так же

* Женские полусапожки.

поклонился и подал мел. Наконец, в третьем классе, где ученики были уже постарше и относительно лучше одеты, преподавал сам инспектор, молодой человек очень робкого вида. Когда мы вошли в класс, ученики встали и не садились до тех пор, пока им не велели сесть. Один ученик делал конструкцию, а другой, уж не знаю зачем, молча стоял за ним и смотрел в книгу. Поблагодарив инспектора за позволение, мы вышли в коридор.〈...〉

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ

ОСТАШКОВСКАЯ ПОЛИТИКА

По мере того как число знакомых моих с каждым днем возрастало, я все больше и больше стал приходить к убеждению, что задача: что такое Осташков? — наконец приходит к разрешению, что доказательства более или менее исчерпаны и даже начинают уж повторяться. Теперь, когда противоречия разного рода, так неожиданно поразившие меня вначале, почти все разъяснились,— теперь только вспомнил я о человеке, с которым я познакомился случайно, сейчас же по приезде сюда, и который тогда на все мои расспросы отвечал одно: «Я вам ничего не могу сказать. Поживете — увидите». В то время я счел это излишнею осторожностию с его стороны, но теперь вижу, что он был совершенно прав. Никто никогда не мог бы мне рассказать того, что я видел и слышал сам. И теперь-то, именно теперь, мне очень хотелось поговорить с ним и проверить мои наблюдения. Я застал его дома, он собирался идти гулять, и мы отправились вместе на озеро.

— Ну что? скоро вы собираетесь ехать? — спросил меня мой знакомый, когда мы вышли на улицу.

— Да, я думаю, что уж здесь больше делать нечего.

— Здесь всегда нечего делать. Все уже сделано давно. Неужели вы в этом еще не успели убедиться?

— Не хотелось бы мне в этом убеждаться.

— Ну, это другое дело. Желания бывают разные, а я говорю о конкрете, так сказать, о факте. Случается, что факты противоречат желаниям. Это я часто замечал.

— Однако вот что,— перебил я моего знакомого.— Я думаю, что вступление такого рода лишне. Приступимте прямо к делу. Вы понимаете, что мне хочется знать наконец ваше мнение о том предмете, о котором мы с вами не упоминаем,— о городе.

— Да что ж, мое мнение? — сказал он, размышляя.— Мое мнение такое: исправный город. Чего ж еще?

— Дело не в исправности.

— Город смирный,— продолжал он,— благочестие процветает. Примерный город. Ну да черт его возьми! — совсем неожиданно заключил он.— Нет, это все вздор. Дело-то вот в чем. Я все боялся, не увлеклись бы вы всеми этими фестонами да павильонами. А если не увлеклись, так, стало быть, понимаете, что это такое. Я могу вам помочь только, прибавив каких-нибудь два, три факта; тени, так сказать, усилить могу для рельефности.

А много было взору моему
Доступно и понятно, потому...

да потому, что как там они ни хитрят, а все-таки видны белые нитки. Тут какая история, я вам скажу. Корень-то всему злу знаете что? Банк! Странно? не правда ли?

— Да как же это так?

— Да весьма просто-с. Жил был в городе, в Осташкове, первостатейный купец богатейший, коммерции советник Кондратий Алексеич Савин. Жил он здесь, можно сказать, царствовал, потому капиталы имел у себя несметные. И задумал этот самый купец под старость, душе своей в спасение и всему свету на удивление, соорудить казнохранилище... Да нет, это стихи какие-то выходят. Будем продолжать просто. Итак, Кондратий Алексеевич покойник мужик был умный и дело затеял с толком: пожертвовал двадцать пять тысяч на ассигнации на учреждение банка, с тем чтобы барыши с него шли на богоугодные учреждения. Вот с этого все и пошло. А надо вам сказать, что династия Савиных ведется в Осташкове спокон веку, так что представить себе Осташков без Савиных или Савиных без Осташкова как-то даже невозможно. Начал благодетельствовать городу Кондратий Савин, и по его смерти стал благодетельствовать по наследству сын его Степан, а по смерти и сего последнего вступил на место его второй сын, Феодор.

Заведен у нас такой порядок: граждан, которые не в состоянии уплатить долга банку, отдавать в заработки фабрикантам и заводчикам. Оно бы и ничего, пожалуй не слишком еще бесчеловечно, да дело-то в том, что попавший в заработки должник большею частию так там и остается в неоплатном долгу вечным работником.

Уже как это устроивается, бог их знает. Известно только, что при всеобщей бедности жителей предложение труда превышает запрос; вследствие этого, конечно, плата упадает и ценность труда зависит от фабриканта. Но вы не забудьте, что рядом с этой нищетою стоит театр, разные там сады с музыкою и проч., то есть вещи, необыкновенно заманчивые для бедного человека и притом имеющие свойство страшно возбуждать тщеславие. Теперь эти удовольствия сделались такою необходимою потребностию, что последняя сапожница, питающаяся чуть не осиновою корою, считает величайшим несчастием не иметь кринолина и не быть на гулянье. Но на все это нужны деньги. Где же их взять? А банк-то на что? Вот он тут же, под руками, там двести тысяч лежат. Ну, и что ж тут удивительного, что люди попадаются на этих удовольствиях, как мухи на меду?

— Но, скажите, пожалуйста, ведь эти приманки, однако, не дешево же обходятся?

— Кому?

— Да тому, кто их устраивает?

— Ни гроша не стоят. Театр, музыка, певчие, сады, бульвары, мостики, ерши и павильоны — все это делается на счет особых сборов, так называемых *темных*. Это очень ловкая штука. В том-то она и заключается, что ничего не стоит, а имеет вид благодеяния.⟨...⟩

ОТЪЕЗД

⟨...⟩ Сегодня я уезжаю из Осташкова. В продолжение этого короткого срока я так усердно изучал город, что теперь мне кажется, будто я век прожил в нем и покидаю родину. Но, расставаясь с ним, я покидаю его с таким же чувством, с каким кончаешь какой-нибудь долгий и тяжелый и долго неудавшийся труд, но который таки кончился. И рад и жаль расстаться.⟨...⟩

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «СОВРЕМЕННИКА»

Хотя мода на обличения и заявления, видимо, всем надоела, тем не менее необходимость принуждает меня прибегнуть к помощи типографского станка для приведения в ясность одного запутанного частного дела.

Я бы мог обнародовать письмо это и в другом издании, но здесь речь идет о деле, касающемся, собственно, читателей «Современника», которые могли бы и не прочесть моего письма, если бы оно явилось в какой-нибудь газете. Да притом же дело это возникло из-за статьи, напечатанной в «Современнике». Заключается оно в следующем.

В майской книжке «Современника» прошлого 1862 года была помещена статья моя под заглавием: «Письма об Осташкове». Первые три письма, напечатанные в ней, составляли только незначительную часть всех материалов, собранных мною для полной характеристики города Осташкова. Так как во время разработки этих материалов оказался недостаток в разных подробностях и мелочах, о которых я не слишком заботился вначале, то я и обратился к некоторым знакомым мне лицам, живущим в Осташкове, с просьбою доставить мне дополнительные сведения. Таким образом устроилась у меня с этими лицами корреспонденция.〈...〉

В июне месяце того же 1862 года известился я чрез одного из корреспондентов моих, что майская книжка «Современника» в Осташкове *запрещена*, и, хотя «Современник» выписывается постоянно городскою публичною библиотекою, однако майской книжки в чтении не имеется. По случаю последовавшего о ней запрещения всеобщее любопытство возбудилось еще более, так что знакомые мои просили меня выслать в Осташков новый экземпляр этой книжки.

Вслед за этим дошли до меня слухи, что в Осташкове производится строжайшее исследование об открытии злонамеренных лиц, способствовавших моим разысканиям и давших мне возможность ближе ознакомиться с некоторыми чертами осташковских нравов. Наконец явились I и II книжки «Современника» за 1863 год, в которых напечатано было продолжение «Писем об Осташкове». Вскоре после этого получил я известие, что *злонамеренные лица* открыты из этих «Писем»; и что по наведении справок *под рукою* оказалось, что означенные лица действительно способствовали раскритикованию некоторых секретных свойств города Осташкова и его жителей, свойств до сего времени составлявших, так сказать, городскую тайну. Какие последовали по этому случаю распоряжения насчет «Современника», мне неизвестно, что же касается моих злонамеренных корреспондентов,

то я знаю, что против них приняты деятельные меры, имеющие целию лишить их на будущее время возможности выносить из избы сор. Меры эти пока заключаются в преследовании заподозренных в сношении со мною; но кроме того, им угрожает опасность быть удаленными из городского общества «с очернением». Такой оборот дела многим может показаться невероятным, а угроза невозможною для исполнения; однако ж я убежден, что опасность, угрожающая многим осташковским знакомым, и возможна и вероятна. В бытность мою в Осташкове мне приходилось не раз слышать рассказы о подобных случаях, а каждый живший в уездном городе сам знает, как это делается. Удаление из города зависит от приговора членов городского общества, но кто же сомневается в том, что общественное мнение в уездном городе всегда почти находится в полном распоряжении какого-нибудь сильного лица? Что же касается *очернения,* то об этом и говорить нечего; что может быть легче — очернить человека, который *меня* чернит или способствует очернению меня в глазах всей просвещенной публики? В этом случае границ изобретательности человеческого ума никто еще не полагал. Следовательно, кто же *мне* может в этом препятствовать? Но печальнее всего то обстоятельство, что лица, которым угрожает опасность подвергнуться остракизму, в рассказанном мною случае страдают совершенно безвинно. Сообщая мне разные сведения, они никогда и предвидеть не могли, что оказывают этим своему городу такую плохую услугу. Рассказывая мне всякую всячину, они имели в виду одну цель: помочь мне по мере сил своих прославлению родного города; они и представить себе не могли, что каждое лишнее славословие прибавляло только лишнее обвинение против тех, от кого зависит судьба их родного города. Кто же виноват, если картина вышла некрасива? Во всяком случае, не я и не мои корреспонденты. Я думаю даже, что все эти подкопы и домашние меры, принятые против моих знакомых, служат доказательством, что я не погрешил против истины.

ПРИМЕЧАНИЯ

В. Г. Белинский. Взгляд на русскую литературу 1847 года

(Стр. 45)

Впервые опубликовано в «Современнике», 1848, № 1. Без подписи. Печатается в сокращении по кн.: В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. X, М., 1956. Здесь и в других статьях, помещенных в сборнике, сокращения обозначены знаком ⟨...⟩. Прямыми скобками отмечены места, изъятые цензурой при первой публикации.

[1] Цитата из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (глава седьмая, строфа XILIV).

[2] *Тредьяковский* (Тредиаковский) Василий Кириллович (1703—1769) — поэт, переводчик, ученый-филолог, много сделавший для установления правил русского литературного языка.

[3] *Никита Федорыч* — управляющий имением из повести Дмитрия Васильевича Григоровича (1822—1900) «Антон-Горемыка».

[4] Перефразированная строка из басни И. А. Крылова «Ворона и лисица». У Крылова: «Ворона каркнула во все воронье горло».

[5] *Тыранов* Алексей Васильевич (1808—1859) — популярный в 1840-х годах русский художник-портретист.

[6] *Брюллов* Карл Павлович (1799—1852) — талантливый русский художник, автор картины «Последний день Помпеи» и многих портретов, отличавшихся тонким психологизмом.

[7] *Шекспир* Уильям (1564—1616) — великий английский драматург и поэт, крупнейший гуманист Позднего Возрождения.

[8] *Скотт Вальтер* (1771—1832) — знаменитый английский писатель, автор многочисленных исторических романов, широко известных в России.

[9] *Тори* — политическая партия в Англии, возникшая в конце XVII века. Выражала интересы крупно-земельной аристократии и высшего духовенства англиканской церкви. В середине XIX века преобразована в Консервативную партию.

А. И. Герцен. Письма из Avenue Marigny

(Стр. 61)

Впервые опубликовано в «Современнике», 1847, № 11. Подпись: И—р. Печатается в сокращении по кн.: А. И. Герцен. Собрание сочинений в 30-ти томах, т. V, М., 1955.

[1] Речь идет о герое повести А. И. Герцена «Доктор Крупов».

[2] *Гизо* Франсуа (1787—1874) — французский историк, государственный и общественный деятель реакционного направления.

[3] *Прудон* Пьер Жозеф (1809—1865) — французский мелкобуржуазный социалист. Один из теоретиков анархизма. Взгляды Прудона критиковал К. Маркс в «Нищете философии».

[4] *Консидеран* Виктор (1808—1893) — французский социалист-утопист, ученик Ш. Фурье (см. примечание на стр. 248).

[5] Речь идет о французской армии, которая, находясь в бедственном положении, одержала победу над австрийскими войсками во время итальянской кампании в 1795 году.

[6] События во Франции Герцен сравнивает с библейской легендой о пророчестве Даниила, предсказавшего гибель Вавилона. Во французской палате депутатов Демулен де Живре, критикуя правительство Июльской монархии, возглавляемое Гизо, заявил: «Что сделано в течение семи лет? Ничего, ничего, ничего».

[7] Речь идет о высказывании автора человеконенавистнической теории английского экономиста Т.-Р. Мальтуса, который в своей книге «Опыт о законе народонаселения» писал: «Человек, пришедший в занятый уже мир, если родители не в состоянии прокормить его или если общество не в состоянии воспользоваться его трудом, не имеет ни малейшего права требовать какого бы то ни было пропитания, и в действительности — он лишний на земле. На великом жизненном пиру нет для него места».

[8] *Мальтюс* (Мальтус) Томас Роберт (1766—1834) — английский экономист, автор антинаучного учения мальтузианства.

[9] *Сей* Жан Батист (1767—1832) — французский экономист, один из представителей вульгарной политической экономии, стремившийся затушевать эксплуатацию трудящихся капиталистами.

[10] *Менильмонт* — предместье Парижа, где в 1832 году была организована община, которая вела пропаганду сен-симонистских идей. Проповедь этих идей сен-симонисты вели также в Лионе, где восставшие ткачи написали на своем знамени лозунг: «Жить, работая, или умереть, сражаясь».

[11] *Гора* — революционно-демократическое крыло Конвента, высшего законодательного и исполнительного органа Первой французской революции (1792—1795).

[12] *Жиронда* — правое крыло Конвента, отстаивавшее интересы торгово-промышленной и земледельческой буржуазии.

[13] *Людовик XVIII* (1755—1824) — французский король, занявший престол после падения Наполеона I в 1814 году. В период Великой французской революции один из руководителей контрреволюционной эмиграции.

[14] *Карл X* (1757—1836) — французский король с 1824 года.

[15] *Сен-Симон* Клод Анри де Рувруа (1760—1825) — французский мыслитель, социалист-утопист.

[16] *Фурье* Шарль (1772—1837) — французский социалист-утопист, выступал с критикой буржуазного общества, утверждал необходимость создания государства, состоящего из объединений свободных людей (фаланги), в которых каждый человек имеет право на труд.

[17] На площади Революции 21 января 1793 года был казнен король Людовик XVI. После этой казни началась массовая эмиграция дворян из Франции.

Н. А. Некрасов. Заметки о журналах за июль месяц 1855 года

(Стр. 73)

Впервые опубликовано в «Современнике», 1855, № 8. Без подписи. Печатается в сокращении по кн.: Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. IX, М., 1950.

[1] Речь идет о В. Г. Белинском, имя которого было запрещено упоминать в печати.

[2] Некрасов имеет в виду Крымскую войну (1854—1855) и оборону Севастополя.

[3] Некрасов подразумевает прежде всего писателя Алексея Феофилактовича Писемского (1821—1881).

[4] *Лукин* В. В.— юрист 1840—1850-х годов. Некрасов цитирует его статью «Об опеке и попечительстве для опекунов и попечителей».

[5] По всей вероятности, здесь идет речь о французском императоре Наполеоне III (Луи-Наполеон, 1808—1873), для деятельности которого был характерен беспринципный авантюризм.

[6] *Кудрявцев* Петр Николаевич (1816—1858) — русский писатель и историк.

[7] Ср. у Н. Г. Чернышевского: «Искусство для искусства» — мысль такая же странная в наше время, как «богатство для богатства», «наука для науки» и т. д. (ст. «О поэзии, соч. Аристотеля», опубликованная в журнале «Отечественные записки», в 1854 году, № 9).

И. И. Панаев. Галерная гавань

(Стр. 83)

Впервые опубликовано в «Современнике», 1856, № 10 в отделе «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта». Печатается в сокращении по кн.: И. И. Панаев. Избранные произведения, М., 1956.

Н. Г. Чернышевский. Не начало ли перемены?

(Стр. 92)

Впервые опубликовано в «Современнике», 1861, № 11. Без подписи. Печатается в сокращении по кн.: Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в 15-ти томах, т. VII, М., 1950.

[1] *Успенский* Николай Васильевич (1837—1889) — писатель-демократ, автор рассказов и очерков о жизни крестьян.

[2] *Акакий Акакиевич* — герой повести Н. В. Гоголя «Шинель».

[3] *«Русский вестник»* — литературный и политический журнал, издававшийся в Москве М. Н. Катковым (1818—1887) с 1856 года. Сначала являлся органом умеренного дворянского либерализма. В начале 1860-х годов повел ожесточенную борьбу против прогрессивных течений в общественном движении и в литературе, выступал против Чернышевского, Добролюбова, Герцена.

[4] *«Отечественные записки»* — учено-литературный журнал, издававшийся в Петербурге с 1839 по 1884 год, сначала под редакцией А. А. Краевского, а с 1868 года под редакцией Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина и Г. З. Елисеева. В конце 1850-х и в начале 1860-х годов стоял на либеральных позициях, вел полемику с «Современником» и «Русским словом».

[5] *Занд* (Санд) Жорж (настоящее имя Аврора Дюпен) (1804—1876) — французская писательница, автор многих романов, в которых проповедовались идеи освобождения личности и равенства.

[6] Чернышевский имеет в виду выступления писателя и критика Николая

Алексеевича Полевого (1796—1846), который обвинял Н. В. Гоголя в отсутствии патриотизма.

[7] Цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Коробейники».

[8] *«Эдда»* — сборник древнеисландских мифологических и героических песен, бытовавших среди германских народов.

[9] Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт».

[10] *Шиллер* Иоганн Фридрих (1759—1805) — великий немецкий поэт, драматург, историк, теоретик искусства. Его трагедия «Вильгельм Телль» воспевает национально-освободительную борьбу.

[11] *Нельсон* Горацио (1758—1805) — английский адмирал, разбивший французский флот при Трафальгаре.

[12] *Руссо* Жан Жак (1712—1778) — выдающийся французский мыслитель, писатель, философ, поставивший в своих трудах проблемы общества и личности, народа и культуры.

Н. А. Добролюбов. О значении авторитета в воспитании

(Стр. 120)

Впервые опубликовано в «Современнике», 1857, № 5 под названием «Несколько слов о воспитании по поводу «Вопросов жизни» г. Пирогова». Подпись Н. Л. Печатается в сокращении по кн.: Н. А. Добролюбов. Сочинения в 3-х томах, т. I, М., 1950.

[1] *Пирогов* Николай Иванович (1810—1881) — великий русский хирург, педагог и общественный деятель.

[2] Добролюбов имеет в виду «Журнал для воспитания» и «Русский педагогический вестник», которые начали выходить в 1857 г.

[3] *Зедергольм* Карл Альбертович (1789—1867) — философ, педагог, переводчик, автор учебников.

[4] *Песталоцци* Иоганн Генрих (1746—1827) — швейцарский педагог-демократ, основоположник теории начального обучения.

[5] *Сталь* Анна Луиза Жермена де (1766—1817) — французская писательница, теоретик литературы, по своим взглядам была близка французским просветителям, отстаивала свободу чувств, мнений и действий.

[6] Цитата из книги А. Сталь «О Германии».

М. Л. Михайлов. Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе

(Стр. 145)

Впервые опубликовано в «Современнике», 1860, № 4, 5, 8. Подпись: М. Л. Михайлов. Печатается в сокращении по кн.: М. Л. Михайлов. Сочинения в 3-х томах, т. 3, М., 1958.

[1] *Сийес* Эммануэль Жозеф (1748—1836) — французский публицист и политический деятель. Автор брошюры «Что такое третье сословие?».

[2] *Агассиз* Луи (1807—1873) — швейцарский естествоиспытатель.

[3] *Мишле* Жюль (1798—1874) — французский историк и социолог, автор книг «Любовь» и «Женщина».

[4] *Сталь* — см. примеч. на стр. 250.

[5] *Фарнгаген* фон Энзе Рахель (1771—1833) — друг и популяризатор Гете, хозяйка известного литературного салона в Германии (конец XVIII — начало XIX века).

[6] *Санд* Жорж — см. примеч. на стр. 249.

[7] *Бэкон* Фрэнсис (1561—1626) — английский философ-материалист и естествоиспытатель.

[8] *Гумбольдт* Александр Фридрих (1769—1859) — немецкий путешественник и естествоиспытатель.

[9] *Лаплас* Пьер Симон (1749—1827) — французский физик, математик и астроном.

[10] *Данте* Алигьери (1265—1321) — великий итальянский поэт позднего средневековья. Автор «Божественной комедии».

[11] *Рафаэль* Санти (1483—1520) — великий итальянский живописец и архитектор Позднего Возрождения.

[12] *Моцарт* Вольфганг Амадей (1756—1791) — великий австрийский композитор и дирижер, автор многих выдающихся музыкальных произведений.

[13] Речь идет о Людвиге Фейербахе (1804—1872) — немецком философе-материалисте.

[14] *Джаядева* — индийский поэт XI века.

[15] *Подолинский* Андрей Иванович (1806—1886) — поэт-романтик.

[16] *Туманский* Василий Иванович (1800—1860) — поэт-романтик.

Г. З. Елисеев. Внутреннее обозрение

(стр. 169)

Впервые опубликовано в «Современнике», 1863, № 1—2. Без подписи. Печатается с сокращениями по первоисточнику.

[1] *Фукидид* (ок. 460—400 гг. до н. э.) — древнегреческий историк. Автор «Истории» (в 8-ми книгах), посвященной Пелопонесской войне (до 411 гг. до н. э.).

[2] *Геродот* (между 490—480 — ок. 425 гг. до н. э.) — древнегреческий историк, автор сочинений, посвященных описанию греко-персидских войн, жизни и быта скифов и др.

[3] *Гераклит* Эфесский (кон. VI — нач. V вв. до н. э.) — древнегреческий философ-диалектик, высказавший идею о непрерывном изменении и становлении, происходящем в мире («все течет»).

[4] *Гегель* Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий объективный философ-идеалист, создавший теорию диалектики.

[5] *«Северная пчела»* — политическая и литературная газета ярко выраженного монархического направления, выходила в Петербурге с 1825 по 1864 год под редакцией Ф. В. Булгарина (см. примеч. на стр. 253). и Н. И. Греча (см. примеч. на стр. 253). В период проведения крестьянской реформы отстаивала правительственную программу освобождения крестьян.

[6] *Мельников* Павел Иванович (псевдоним — Андрей Печерский). (1818—1891) — русский писатель, автор эпопеи из жизни старообрядцев «В лесах» и «На горах».

[7] *«Время»* — литературный и политический журнал, издававшийся братьями М. М. и Ф. М. Достоевскими в 1861—1863 гг. в Петербурге.

[8] *Аксаков* Иван Сергеевич (1823—1886) — поэт и публицист, один из идеологов славянофильства.

[9] *Григорьев* Аполлон Александрович (1822—1864) — поэт-романтик, литературный критик близкий по своему мировоззрению к славянофилам.

[10] *«Северная почта»* — газета Министерства внутренних дел, издавалась в Петербурге с 1862 по 1868 год, пропагандировала и защищала правительственные реформы, вела полемику с прогрессивными органами печати.

[11] *«Наше время»* — политическая и литературная газета, выходила в Москве с 1860 по 1863 год под редакцией Н. Ф. Павлова (см. примеч. на стр. 252). Сначала отстаивала умеренно либеральные взгляды, а с 1862 года стала органом реакции.

[12] *«Русский вестник»* — (см. примеч. на стр. 249).

[13] *Лавров* Петр Лаврович (1823—1900) — философ, социолог и публицист, участник революционного движения 1860-х годов, один из идеологов революционного народничества.

[14] *Юркевич* Памфил Данилович (1826—1874) — реакционный философ, разработал учение о «сердце» как духовном сосредоточении человека. Воззрения Юркевича критиковали Н. Г. Чернышевский и М. А. Антонович.

[15] *Василий Заочный* — псевдоним реакционного публициста Владимира Константиновича Ржевского (1811—1885).

[16] *«Искра»* — сатирический журнал революционно-демократического направления, выходил в Петербурге с 1859 по 1873 год под редакцией известного поэта-демократа и переводчика Василия Степановича Курочкина (1831—1875).

[17] *Чичерин* Борис Николаевич (1828—1904) — юрист, историк, философ-идеалист, публицист, сторонник конституционной монархии.

[18] *«Современная летопись»* — реакционная газета, выходила в Москве с 1861 по 1871 год сначала как приложение к журналу «Русский вестник», а с 1863 года — к газете «Московские ведомости». Редактор-издатель М. Н. Катков (см. примеч. на стр. 249).

[19] *Платон* (428 или 427—348 или 347 г. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист.

[20] *Аристотель* (384—322 гг. до н. э.) — великий древнегреческий ученый и философ, основоположник формальной логики, создатель учения об основных принципах бытия. Колебался между материализмом и идеализмом.

[21] *Павлов* Николай Филиппович (1803—1864) — писатель и журналист, редактор газет «Наше время» (см. примеч. на стр. 252) и «Русские ведомости» (1863—1864), полемизировавших с «Современником».

[22] *«Московские ведомости»* — газета, выходившая в Москве с 1756 по 1917 год. С 1863 по 1887 год газету издавал и редактировал М. Н. Катков (см. примеч. на стр. 249). В этот период газета стояла на реакционных позициях.

[23] *Громека* Степан Степанович (1823—1877) — либеральный публицист, бывший жандармский офицер. Выступал против революционно-демократической печати.

[24] *Скарятин* Владимир Дмитриевич — реакционный публицист 1860-х годов, сотрудник газеты «С.-Петербургские ведомости».

М. А. Антонович. Литературный кризис

(Стр. 189)

Впервые опубликовано в «Современнике», 1863, № 1—2 под названием «Краткий обзор журналов за истекшие восемь месяцев». Без подписи. Печатается в сокращении по кн.: М. А. Антонович. Литературно-критические статьи. М.-Л., 1961.

1 *Апраксин двор* — торговые ряды в Петербурге на Садовой улице. Назван по имени владельца графа Апраксина.

2 Речь идет о газетах «Московские ведомости» (см. примеч. на стр. 252) и «Голос», начавший выходить в 1863 году под редакцией либерального журналиста Андрея Александровича Краевского (1810—1889).

3 *Греч* Николай Иванович (1787—1867) — писатель, филолог, журналист реакционного направления.

4 *Булгарин* Фаддей Венедиктович (1789—1859) — реакционный писатель и журналист. Издавал совместно с Н. И. Гречем газету «Северная пчела» и журнал «Сын отечества».

5 Имеется в виду газета «Северная пчела», которую с 1860 года издавал П. Усов. Стояла на либеральных позициях.

6 *Самарин* Юрий Федорович (1819—1876) — философ, историк, публицист, общественный деятель. Один из идеологов славянофильства. Участник подготовки крестьянской реформы 1861 года.

7 *«Атеней»* (1858—1859) — умеренно-либеральный журнал, издававшийся в Москве под редакцией Е. Ф. Корша (1810—1897).

8 *«Русская речь»* (1861—1862) — газета без четко выраженного направления, издававшаяся в Москве. Вела полемику против «Современника».

9 *Павлов* Н. Ф.— см. примеч. на стр. 252.

10 *Чичерин* Б. Н.— см. примеч. на стр. 252.

11 *Ржевский* В. Н.— см. примеч. на стр. 252.

12 *Громека* С. С.— см. примеч. на стр. 252.

13 *Скарятин* В. Д.— см. примеч. на стр. 252.

14 *Розенгейм* Михаил Павлович (1820—1887) — поэт и журналист, автор стихов так называемого обличительного направления.

15 Цитата из сатирического стихотворения Н. А. Добролюбова «Наш демон», в котором «Современник» иронически изображен в виде «демона», отрицающего все «возвышенное» в русской литературе и журналистике.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Наша общественная жизнь

(Стр. 204)

Впервые опубликовано в «Современнике», 1864, № 3. Без подписи. Печатается в сокращении по кн.: М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в 20-ти томах, т. 6, М., 1968.

1 *Драбанты* — телохранители при высших особах. У Салтыкова — бюрократы, стоящие на страже существующего порядка.

2 *Московские публицисты* — имеются в виду публицисты журнала «Русский вестник» (см. примеч. на стр. 249) и газеты «Московские ведомости» (см. примеч. на стр. 252).

[3] *Чубиков* Вася — сатирический собирательный образ «молодого драбанта», эволюционировавшего от либеральных фраз к откровенной реакции.

[4] *...солнце не померкло от стыда... завеса не разодралась...* — перифраза из евангельского рассказа о смерти Иисуса Христа.

[5] Речь идет об открывшихся в конце 1850-х годов множестве танцклассов и кафешантанов, где танцевали модный тогда канкан. В данном случае Салтыков иронизирует над «либерализмом» администрации, который не простирался дальше предоставления свободы канканировать.

[6] *1862 год совершил многое...* — Салтыков имеет в виду поражение революционно-демократического движения и наступление реакции: арест Чернышевского, Писарева, Серно-Соловьевича и других революционеров, а также прекращение на восемь месяцев выпуска журналов «Современник» и «Русское слово».

[7] Омар и гомар.— Речь идет, вероятно, о разнице между арабским халифом VII в. Омаром и омарами (homards), которыми любил лакомиться Вася и которые ему были хорошо известны.

[8] *Катков* М. Н.— см. примеч. на стр. 249.

[9] *...эта история с гласными...* Речь идет о полемике, возникшей между группой гласных — дворян Московской распорядительной думы и редакцией газеты «Московские ведомости» по поводу недостатков в деятельности думы. Вася отнесся неодобрительно к действиям редактора «Московских ведомостей» М. Н. Каткова, справедливо полагая, что спорить-то в сущности было не о чем, так как те и другие преследовали одну цель.

[10] *...о прошлогодних поджигателях...* — Салтыков случайно ошибся. Он хотел сказать о майских пожарах 1862 года, виновниками которых реакция объявила революционеров.

[11] *Клаверов* — молодой преуспевающий чиновник, герой пьесы Салтыкова «Тени», при жизни писателя не публиковавшейся.

[12] *Итальянская опера* — спектакли итальянской оперы в Мариинском театре посещали преимущественно высшие слои петербургского общества.

[13] *...в ихнию Александрию...* — Речь идет об Александринском театре, который посещали более демократические слои общества.

В. А. Слепцов. Письма об Осташкове

(Стр. 223)

Впервые опубликовано в «Современнике», 1862, № 5, 1863, № 1—2; 4, 6. Подпись: В. А. Слепцов. Печатается в сокращении по кн.: В. А. Слепцов. Сочинения в 2-х томах, т. 2, М., 1957.

[1] *Пинетти* Джузеппе — итальянский фокусник конца XVIII века.

[2] *«Московские ведомости»* — см. примеч. на стр. 252.

[3] *...в гильдию записываются во избежание рекрутской повинности...* — С 1783 года купечество было освобождено от рекрутской повинности при условии внесения 500 рублей за каждого рекрута.

[4] *Кокошник* — старинный русский головной убор замужней женщины.

[5] *Понизь* — жемчужная или бисерная сетка на женском головном уборе.

[6] *Новоторы* — жители станции Новоторжской.

СОДЕРЖАНИЕ

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

ПУБЛИЦИСТЫ «СОВРЕМЕННИКА»

Сборник

ИБ 6023

Ответственный редактор
Н. В. Белякова
Художественный редактор
И. Г. Найденова
Технический редактор
И. П. Савенкова
Корректоры
Л. И. Дмитрюк и Е. А. Сукясян

Сдано в набор 16.07.84. Подписано к печати 20.03.85. А03647. Формат 84×108[1]/[32]. Бум. типогр. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 14,28. Усл. кр.-отт. 16,28. Уч.-изд. л. 14,84 + 8 вкл. = 15,26. Тираж 100 000 экз. Заказ № 5709. Цена 75 коп.
Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.



